

А. Коптеева

ФАРТ



✓
AHT

Q

89535

✓

CO

✓
АНТОНИНА КОПТЯЕВА

-54к-

P2
K65

ФАРТ

Роман

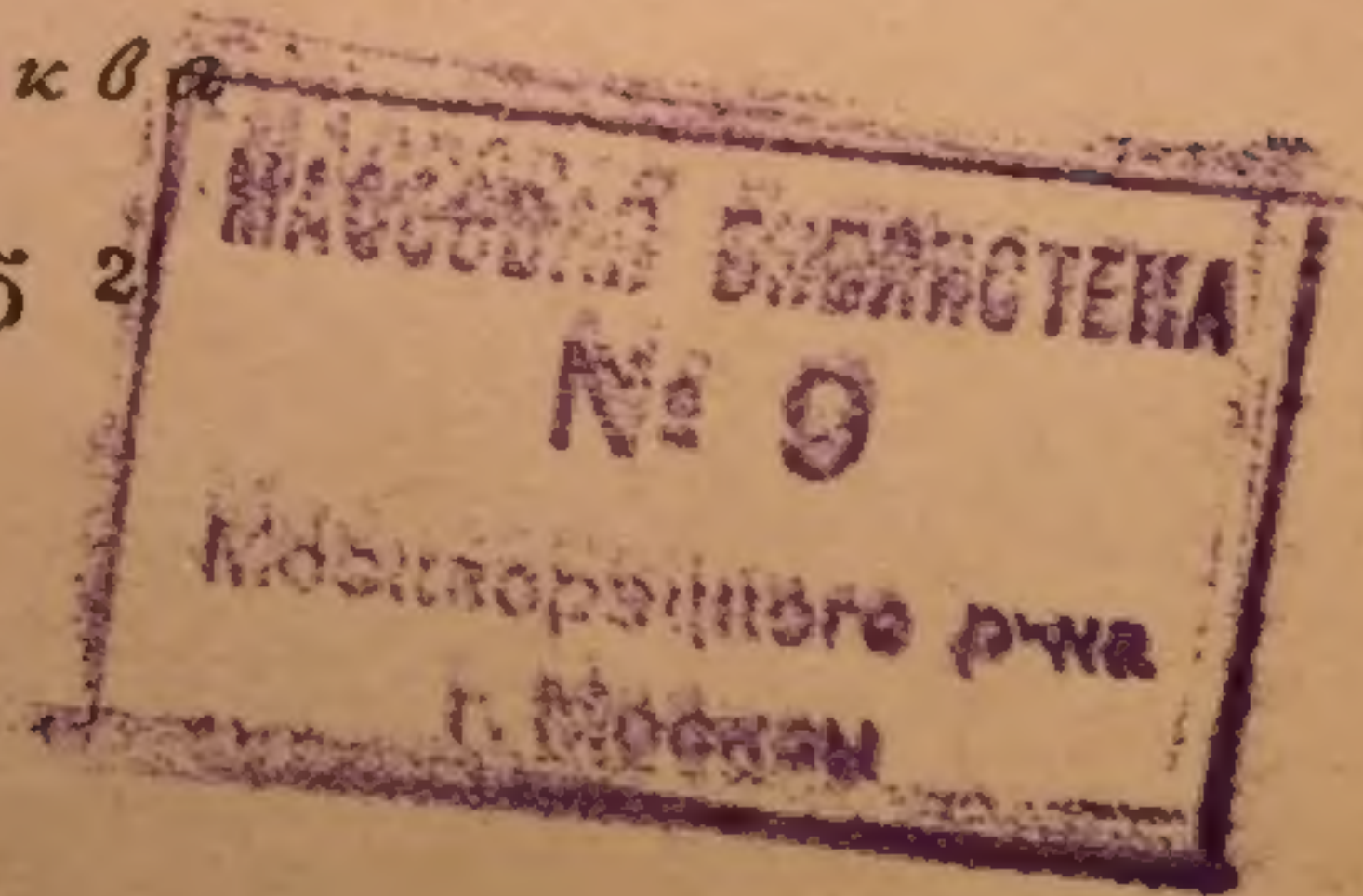


89535

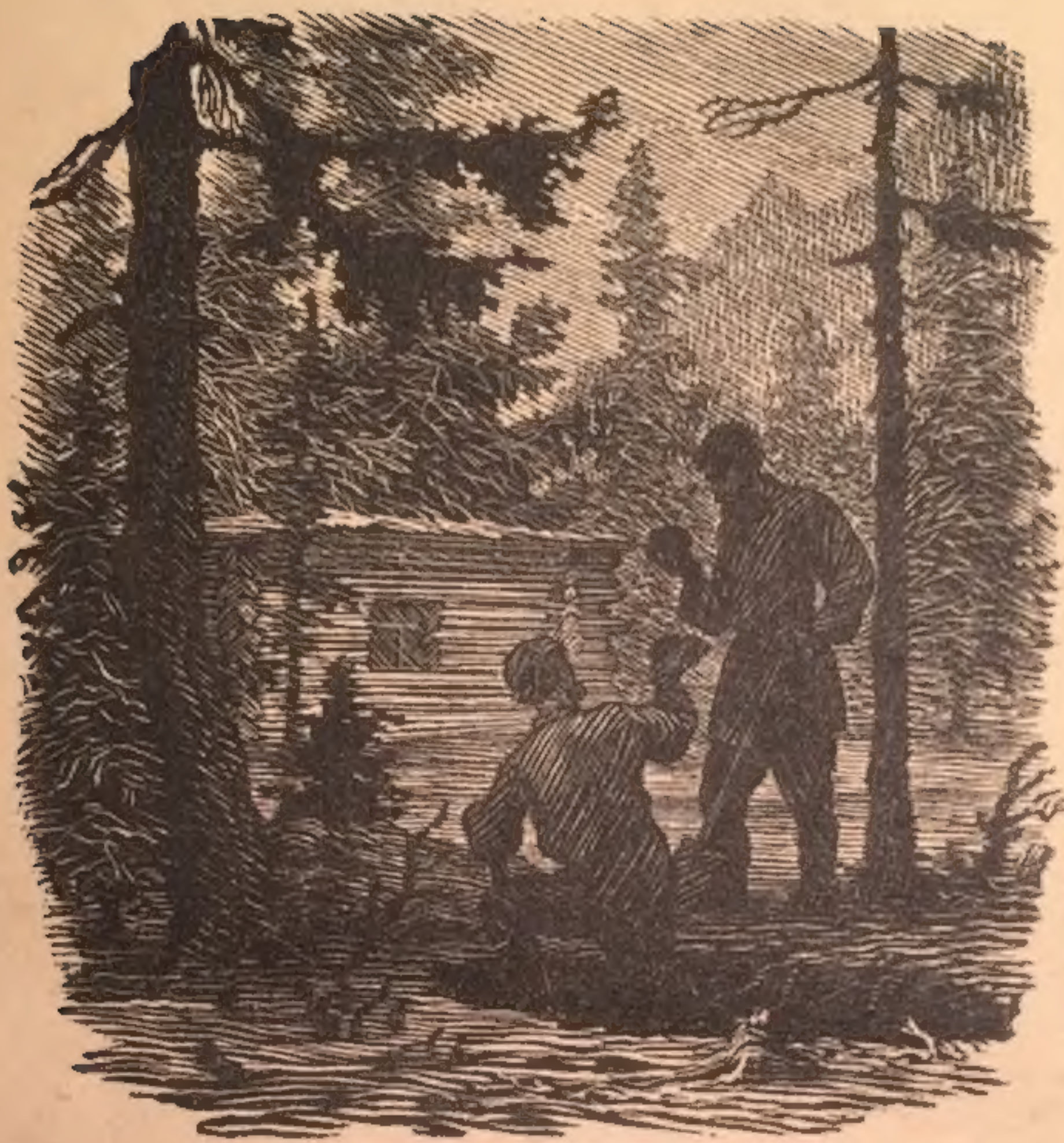
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Москва

1952



K-65



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

с ва
пле
гор.
нов
чей
раз

упи
раз
ста
ше
лис
мо
отв

Ры
про
пат
мы
бы
еж
Кр
но
по
на
Х
ко

Рыжков выбрался из канавы штрека, отряхнул с ватника землю и облегченно расправил натруженные плечи. Небо, светлеющее над зубчатыми вершинами гор, показалось ему после подземных сумерек необыкновенно просторным. Он оглянул знакомую до мелочей картину прииска и грузно зашагал к избушкам, разбросанным по увалу.

Огромная лежала перед ним долина Пролетарки, упираясь черным от леса верховьем в гольцовые водоразделы, и вся она была изрыта и перевернута руками старателей. Везде по руслу ключа голубели запорошенные снегом провалы шурфов, около которых высились — то белыми курганами, то словно тысячи могил — много раз перелопаченные, перебуторенные отвалы.

«Этакая масса труда сюда вложена! — подумал Рыжков. — Сколько тут сил угроблено, сколько поту пролито! Миллионы кубометров подняты горбом и лопатой. Да если бы нагрузить поезда той породой, что мы, старатели, переворочали, чай, шар земной хватило бы опоясать и не однажды! — Горделивая мысль таежника была, однако, сдобрена немалой горечью: — Кровавых мозолей на своем веку набил предостаточно, но вот дело пошло уже на шестой десяток, здоровье поистратилось, а с чем стал на делянку лет тридцать назад, с тем и живу, и никто из дружков не озолотел. Хитрый он, фарт, скользкий, не удержишь его...» Рыжков шевельнул растопыренными пальцами, словно

хотел ухватить что-то, но рука, похожая на грабли от вечной работы, сжалась не вдруг. — «Не удержишь... Вот здесь же, на Пролетарке...»

Рыжков, уколотый воспоминанием, опять осмотрелся. Вон за тем увальчиком в самый разгар золотой лихорадки намыл он одиннадцать фунтов золота, да пожадничал: начал искать дальше, бить новые шурфы за свой риск и страх и так «закопал» в землю весь фартовый заработок. С той поры и не прекращаются его поиски. Погоня за фартом — та же картежная игра. И другие ищут: бурыми пятнами выделялись среди мертвого хаоса недавно нарезанные делянки, яркие на снежной белизне желтые следы тянулись от них к приисковой дорожке.

Проходя мимо, Рыжков принюхивался к терпкому дымку пожаров, косил глазом на бахрому инея, выросшего над зияющим зевом бортовой штоленки — орты. Из недр подземелья слабо сочилась вода и собиралась у входа в озерко, отдающее паром; на краях водоема, схваченных морозом, тоже вырастали хрупкие белые цветы.

«Не унывает народишко: роют и роют! Бывают и удачи. Как-то мы нынче отличимся?! С каждым годом риск становится тяжелее: жену на этом деле прежде времени состарил, дочка на черном куске живет. В который уж раз начинаю все сизнова! — Глубокая тревога охватила Рыжкова. — Что-то скажет нам наша деляна?»

На участке одной богатой артели Рыжков невольно замедлил шаг: над промывальными ямами стояла прожженная, еще дымящаяся печка. Вода в ямах была мутной от недавней промывки.

— Моют, — завистливо проворчал старатель. — Верно говорится: кто моет, а кто воет. У нас-то еще не меньше года уйдет на подготовку, а там бог знает. В долг по уши влезем — вот это наверняка.

Он почесал заросший затылок и двинулся было дальше.

— Афанасий Лаврентьич! погоди минутку! — окликнул его молодой старатель Егор Нестеров. — Прикурить есть у тебя?

— Как не быть? — молвил Рыжков и похлопал по карману шаровар, потом по другому. — Как не быть? — повторил он, доставая спички.

Егор закурил и пошел рядом, поглядывая на Рыжкова из-под густых ресниц.

— Плохо двигаемся! — сказал Рыжков. — Вчера в забое погону было сорок сантиметров, сегодня совсем ничего. Протянуть штрек в полторы тысячи метров при неустойчивом грунте — немалая подготовка! Канаву-то мы скорее провели, а теперь подземная проходка трудней будет, придется просить в управлении, чтобы добавили кредиту.

Егор недовольно пыхнул дымом.

— Мы и так за год много забрали.

— Ну и что ж! Пить-есть надо. Вчера смотритель сказывал: больно, мол, интересуются нашей работой в тресте — вторая только артель такая во всем районе. — Рыжков кивнул на другой берег ключа, где бугрились отвалы соседней артели имени Свердлова, тоже уходившие к речке Ортосале. — Вот кабы нам попасть на устье Орочена, мы бы там наворочали делов! — добавил он мечтательно.

— Там без нас найдется кому ворочать делами, — сказал Егор. — Старателей туда не пустят.

— То есть как же это?

— Да очень просто. Хозяйские¹ открывают. Но на подготовку всех будут принимать. Богатое, говорят, золото открылось.

— Слышал... про золото, — негромко, раздумчиво отозвался Рыжков. — Как это мы его раньше проморгали?... Весь Орочен изрыли, а до устья не добрались. Или там ортосалинская струя вышла? В таком разе свердловцы как раз на нее сели.

Рыжков, снова охваченный волнением, долго вглядывался в берег речки Ортосалы, поросший редким лесом. Канавка артели «Труд» впадала в нее возле самого устья Пролетарки. Немного выше, с правой же стороны, впадал в Ортосалу ключ Орочен. Егор тоже

¹ Хозяйскими на приисках назывались крупные работы, организуемые предприятием (раньше — хозяином).

с волнением смотрел туда. Золото, возможно, притаилось там. Мелкая крупа... гнезда самородков, матово-желтых, неровно отлитых, желанных... Плотно набитые тяжелые тулуны... Пьянящий хмель удачи...

— Великая сила — вода! — восхищенно заговорил Рыжков. — Малую трещинку в камне найдет вода-то и пошла год от году камень этот разъедать. А в мороз она скалу, как динамитом, рвет. Гляди, на гольцах словно после боя наворочено. Скала на скале, глыба на глыбе. И все это вниз ползет. По пути встретится рудная жилка с золотом — и ту поволочет за собой. Пока вся грудка до русла дотащится, времени сколько пройдет! А речка сама породу рушит не хуже жерновов и все дальше ее толкает, окатывает, гладит. Был гранит — станет глина, вместо кварца — песок, только золото так и остается золотом. Зато и спрячет его вода поглубже, на дно, на каменную постель, — поди-ка ищи! Ты замечай: после долгого пути самородок гладко отерт, а близ выхода — угловатый. — Рыжков взглянул на Егора и добавил тихо и серьезно: — А говорили — слабое золото на Орочене, ничего, мол, не выйдет, кроме дражных работ. А теперь, видишь, нашли...

— А ежели оно, Афанасий Лаврентьич, на Ортосале, тогда у нас может и не оказаться — мы ведь выше свердловцев будем мыть. Наша-то доля по ключу отведена.

Рыжков даже зажмурился, испугавшись мысли, высказанной Егором.

— Разведка ведь сделана! — почти крикнул он. — Нет, не должно того быть. Зря бы такую прорву работы не допустили. А на Пролетарке золота раньше тоже много было, фунтили в двадцать четвертом году, — вспоминал он, уже успокаиваясь. — По несколько фунтов в день намывали... Может, и нам богатство осталось, без порядку ведь работали. Я к тому сказал про ортосалинское золото, что пока только в двух местах оно найдено по речке, а места-то оба на устьях: и на Орочене и на Пролетарке. Может, эти россыпи с ключей тянутся, а может, самая главная россыпь Ортосалой идет. И так и этак думать можно.

На небе, постепенно темнеющем с востока, уже прорезался тонкий месяц, когда старатели подошли к жилью. Лес в вершине ключа стал мрачнее. Зажелтели среди увалов мутные пятна окон, над крышами бойко повалил искристый дым. Многие бараки до прихода хозяев оставались пустыми, с подпертыми поленом дверями: воров на прииске не водилось, да и воровать было нечего. Только у семейных имелись кое-какие вещи, а одиночки при переходах весь свой багаж укладывали в котомку.

Барак, в котором жил Рыжков, — бревенчатая хижина со снеговым сугробом вместо крыши — был выстроен недалеко от дороги, ведущей с Орочена на Незаметный. Около барака торчали два изломанных деревца, и между ними на веревке висело мерзлое, неподвижное даже на ветру, белье.

Под навесом у дверей старатели оставляли инструмент и входили в барак, внося запах мороза и сырой глины. Их помещалось здесь двенадцать человек. С ними жили три женщины: жена и дочь Рыжкова и жена Василия Забродина — миловидная, тихая женщина лет тридцати пяти.

Сам Забродин был ленив и вздорен, и артель приняла его в пай неохотно. Что-то хищное сквозило в его белозубой ухмылке, в широко поставленных карих глазах. Пьяный, он сдирал с себя рубаху, обнажая мускулистое тело, буйствовал и хулиганил. Куражливую злобу срывал на жене. С нею он ссорился главным образом из-за денег. Все, что она зарабатывала как «мамка», он отбирал и прогуливал.

В этом бараке «сынков» у нее было семеро, за остальными «ходила» Анна Акимовна — жена Рыжкова. Женщины стирали старателям-сынкам белье, пекли хлеб, варили обед, получая в месяц по десять рублей с человека. Шитье шло за особую плату.

Теперь, когда артель вела подготовительные работы, жалованья мамкам не платили, и, в ожидании денег, они дорожили каждым тривенником. При такой «прижималовке» Забродин совсем извелся.

Сейчас, придя с работы раньше всех, он сидел на скамейке в своем углу и, стаскивая промокшую обувь, сквозь зубы бормотал ругательства.

— Давай, Вася, я пособлю, — сказала, подходя, Надежда.

Светлокудрая голова жены с тяжелым узлом на затылке и ее чистое, ловко сшитое платье раздражали Забродина. Чем она занимается без него? Он покосился на старателей, с трудом удерживаясь от желания пнуть ее ногой.

— Вот кабы тебе вместо меня на канаву-то ходить!

— Ну, давай поменяемся, — ответила Надежда, пряча улыбку. — Стирай мужикам портки, а я пойду на деляну.

— Я тебе постираю, — прикрикнул Василий, угадав по ее голосу, что она улыбается. — Ишь, на деляну она пойдет... Знаю, чего там будешь делать! Хотя мне не жалко было бы, кабы ты меня деньжонками ссужала за мое попустительство, — прибавил он и посмотрел на свою ногу, еще закутанную портянками. — Чего стала? Сымай портянки!

— Досталась дураку добрая баба, так он еще издевается над ней! — донесся из дальнего угла вызывающе громкий голос Егора.

Забродин оглянулся и тихо проговорил, обращаясь к жене:

— После ужина пойдем со мной за ключ.

— Это зачем еще? — спросила Надежда, удивленно взглянув на него.

— Затем... отлуплю тебя там — и чтобы никто не помешал. Да-авно у меня руки чешутся! — деловито пояснил Забродин.

Привыкшая ко всяким его выходкам, Надежда на этот раз опешила.

— Али я тебя огорчила? — спросила она покорно, но голубые глаза ее потемнели от сдерживаемого гнева.

— А то нет? — вскричал Забродин. — Ни прибыли от тебя, ни душевного расположения. Живешь со мной голько из одного страха. Думаешь, не вижу? Вот и должен я тебя бить, чтобы ты пуще боялась.

— Тогда отпусти меня лучше, чем зря тревожиться, — сказала Надежда.

— А это видала? — ответил Забродин, показывая ей кукиш. — Я тебе за эти слова еще добавлю, — пригрозил он, поднимаясь, но она проворно увернулась от толчка и, вымыв руки, начала собирать на стол. И все время не выходили у нее из головы слова мужа. Сказал он правду: Надежда давно начала тяготиться своим неудачным сожителем.

«Ах ты, сатана бесстыжая! — думала она скорбно. — Можно ли так издеваться над человеком!»

Ставя на стол миску супа, Надежда нечаянно коснулась плеча Егора, вспыхнула, как девушка, но сразу посуровела лицом и отошла в сторонку.

Забродин, занятый едой, сидел за столом, широко расставив локти, и громко чавкал, прижмуривая выпуклые, бессмысленно блестящие глаза.

— Подбери грабли! — внушительно сказал ему сосед, старик Зуев, темнолицый в белизне седины, сухощавый и сильный. — Не один за столом сидишь!

Забродин покосился на него недружелюбно, но локти со стола убрал. Зуев был известен среди старателей как старый хищник и каторжник. Каторгу он отбывал в Охотске за убийство в ссоре богатого купца.

3

Анна Акимовна, пожилая женщина с черными, еще густыми волосами, закрученными в шишку, перемывала посуду. Акимовна была в темном платье, застегнутом на пуговицы, как мужская косоворотка, и в старых, подшитых валенках.

Она убрала посуду, смела со стола в ладонь хлебные крошки и задумалась.

Росла когда-то остроглазая девчонка в строгой староверской семье. Отменные от других стояли высокие стены не по-сибирски крытого двора. Бородатые мужики жгли и корчевали тайгу. Женщины, одетые по старинке в широкие сбористые сарафаны, с тугими кичками на волосах, отбивали по лестовкам молитвен-

ные поклоны, вспоминали на досуге о далеких дорогах, о кандалном перезвоне этапов.

Выморочная Даурская сторона! Когда сопки покрывались пестрыми осенними красками, ревели сохатые в медно-рыжих, перестоявшихся, в рост человека луговых травах. Медведи и рыси забредали в поселочек, приютившийся под гигантскими лиственницами. В черные ночи громко раздавался яростный и пугливый собачий лай, гложу, срываясь на визг, под крыльцом жилья — зверь шатался по улицам.

Золото открылось в верховьях зейских притоков, и на глазах Анны заселялась Зей-пристань. Склады и побеленные бараки Верхнеамурской золотопромышленной компании вытянулись на лесистом берегу. Партиями прибывали вербованные рабочие, нагрязнули сибиряки, и старые поселенцы бросали сохи на тасжных заимках. Погоня за самородками вихрем завивала, кружила людей.

Трудно было в этой беспокойной жизни сохранять прежние обычаи. Строже и фанатичнее делались старухи, а молодежь сдавала: разбаловались мужики, ходившие на прииски, непривычно бойкими становились их жены и дочери. Так и Анна слюбилась с молодым бобылем Афанасием, выбегала к нему на стук, на призывной свист, мела широким подолом выскобленные добела ступеньки крыльца.

Старухи только головами качали:

— Ах, ах! Оглашенная! Ишь, как воротами-то торкнула. Ну и девушка, бесстыдница!

Так и ушла, непокорная, с родного двора. Увез ее Афанасий Рыжков на глухой прииск, где работал он старателем у мелкого хозяйчика.

Страшным показалось сначала Анне Акимовне таежное житье: драки, пьянство, поножовщина. Всюду озоровали хунхузы. И у себя в бараке не было покоя: одинокие мужики засматривались на красивую жену Афанасия. Приставал и сам хозяин. После неудачного ухаживания выгнал он Рыжковых с прииска, и начали они скитаться по тайге. У железных печей, над кислым корытом со старательским бельем рано поблекла красота Акимовны.

Плохая была жизнь, но Рыжков и слышать не хотел о другой. Он отходил душой и молодел, попадая на новые места, и от большой любви к мужу незаметно привыкла Анна к тайге. Из девяти детей выжила у них только одна дочка, Маруся. Берегли ее и жалели. Имя она получила от бродячего попа старой веры.

«Игривая, чисто котенок, господь с ней, — думала Акимовна о дочери. — Совсем еще дитя, а, скажи на милость, сколько у ней всяких забот! То работа, то заседают... Хоть бы ей жизнь выпала поласковее».

Акимовна вздохнула, ссыпала крошки в миску и просияла лицом: за стеной барака слышались звонкие на снегу, быстрые шаги.

Заскрипела дверь, вместе с облаком белого холодного пара будто не вошла, а влетела невысокая девушка, закутанная серым полушалком, обмела метелкой валенки и скрылась за занавеской, отделявшей угол ее семьи от остального барака.

Егор сидел у стола, близко к лампе, шевелил губами над потрепанной книгой. Темные волосы, отливая от света маслянистым блеском, непокорно вихрились над широким лбом. Исподлобья, омраченно посмотрел он вслед Марусе — не поздоровалась, а утром он не видел ее, потому что ушел на работу, когда она еще спала. Поймав сторожкий взгляд Акимовны, Егор покраснел, нахмурился и ниже опустил голову, чтобы не видеть пестрой занавески. По ночам, когда все затихало, а повернутая лампа едва мигала желтым коротеньким язычком, он смотрел со своих нар на эти пестрые цветы и узоры, думал о девушке, безмятежно спящей за ними, и тоска неотступно грызла его.

Маруся прошла к рукомойнику, пошептала у печки с Надеждой. Стояла она, слегка подбоченясь, блестя черными глазами и светлозубой улыбкой. Русые косы отягощали круглую головку, и оттого несколько приподнятое лицо ее казалось гордым. Сатиновое платье в мелкую клеточку было ей узковато и коротко.

Когда женщины сели за стол ужинать, Егор отодвинулся с книгой подальше от лампы. Теперь глаза его блуждали по страницам рассеянно.

— Ты бы поговорил с нами, Егор! — с затаенной

лаской обратилась к нему Надежда, довольная тем, что Забродин сразу после ужина ушел с каким-то чужим старателем.

— Об чем мне с вами толковать? — сказал Егор с невольной досадой.

— Это ты матери так отвечаешь? — шутя укорила Надежда. — За такие слова я тебя могу и за волосы натрепать.

Егор вздохнул.

— Мамка еще не мать. А за волосы треплите, ежели охота. От женской руки могу стерпеть.

— Видали, какой! — сказала Надежда и со смехом потерела Егора за жесткий вихор. Она обращалась с ним, как старшая подруга, будучи поверенной его неудачной любви. — Где это ты научился такие слова говорить?

Развеселясь, она даже шлепнула его по крепкой щеке, но вдруг вспомнила угрозы мужа и сразу притихла.

— Его, наверное, Фетистов научил, — заметила Маруся, чуть усмехаясь уголками губ, — у них дружба.

— А верно, Егор, чего ты со стариком связался? — спросил Рыжков. — Парень ты красивый, тебе надо за девушками ухаживать.

Егор опустил глаза, в груди у него стеснило.

— Нужен я девушкам! Их здесь мало, а ухажеров много найдется. Такие мы малограмотные да неарядные, с нами хорошей барышне и пройтись совестно.

— Зачем тебе обязательно барышню? — сказала Маруся, явно придираясь. — Ухаживай за рабочей девушкой.

— Не все одно! Раз не девчонка — значит барышня.

Маруся торопливо закончила ужин, снова оделась и ушла. Без нее сразу стало пусто и неуютно в бараке.

Егор закрыл книгу, после небольшого раздумья решил побриться. Он долго и старательно брился перед зеркальцем Надежды, потом огладил ладонью щеки, почерпнул воды в обмерзлой кадке, стоявшей у самой

двери, и умылся, обжигаясь колкими ледяными иголочками.

Отдавая зеркало Надежде, Егор задержался взглядом на ее точеной белой шее, на волосах, пышно выющихся на висках.

— Красивая ты! — сказал он ей просто.

Надежда так и просияла, зарумянилась всем лицом, ответила певуче:

— Не на радость только.

— А ты сделай так, чтобы радостно было...

Она смотрела на него выжидающе, ресницы ее вздрагивали.

— Как сделать-то?

— Полюби кого-нибудь.

— Кого бы это?..

— Ну, мало ли хороших ребят. Не один твой Забродин дикошарый! На тебя охотников много найдется.

Глаза Надежды посветлели, и вся она как-то побледнела, подобралась.

— Ты вот полюбил... Много радости нашел?

— У меня другое дело, — погрузнев, отвечал Егор. — Мной никто не интересуется.

— Откуда ты знаешь?

— Да уж знаю. Не смотрит она на меня совсем.

Надежда отошла от Егора, мельком взглянула в зеркальце и, вздохнув, подумала: «Полюбить!.. Куда уж теперь, когда морщины под глазами?»

Егор надел чистую рубаху, почтенную Надеждой, причесал волосы.

«Куда это наряжается?» — думала Надежда, с ласковой насмешкой наблюдая за парнем.

А тот походил, походил из угла в угол и лег на нары.

«Итти или не итти? — в который уже раз загадывал он. — Почему это я должен на отшибе жить? Или у меня голова хуже варит, чем у любого комсомольца? Пойду, скажу Черепанову: дайте мне общественную нагрузку. Скучно мне одному! Все-таки пользу принесу и сам стану поразвитее».

Егор сел было на нарах, но посмотрел на свои ичиги и снова лег.

«Подумаешь, какой ты... гордый, Егор Григорьевич! — с раздражением сказал он себе. — И чего стесняться? Хотя они и некрасивые (тут он еще раз внимательно посмотрел на широкие носки ичиг), хотя и некрасивые, зато сразу видно — рабочая обувь. Прямо из забоя. Не какие-нибудь городские остроноски, в которых лодыри шмыгают».

Придя к такому выводу, Егор поднялся, пошарив под нарами, достал пыльные сапоги, но они были изношены на совесть, и он, осмотрев, швырнул их обратно, оделся и вышел из барака.

В синем небе искристо светились звезды, полосой белого тумана стелился Млечный Путь. Внизу, беспомощно запрокинувшись на спинку, лежал молодой, налитый золотом месяц. В долине густо дымили затерянные в голубоватом сумраке избушки старателей. К ночи подморозило крепко.

Издаലെка сквозь редкий лес тускло мерцали огоньки — это был стан Орочена. Туда бегала Маруся по два раза в день во всякую погоду: утром на работу, вечером на репетиции и собрания. Там начиналось строительство нового прииска.

Егор прислонился плечом к столбу навеса, долго смотрел в сторону стана, потом взял топор и подошел к груде наваленного сушняка. «Надо помочь мамкам», — решил он.

Он сначала усердно, а потом и ожесточенно бухал топором по листовенничным жердям, сбросал нарубленное в кучу, хотел идти в барак, но раздумал и, положив топор в сени, двинулся по тропе к Орочену.

4

Секретарь партийной организации прииска Черепанов, совсем еще молодой, очень подвижный человек, пришел на Алдан вместе с первыми его открывателями.

— Тогда здесь стоял сплошной лес — дикая тайга, — говорил он, легкими шагами расхаживая по

комнате. — Ты помнишь, Ли Фун-чи? Ты ведь тоже пришел сюда осенью двадцать третьего года?

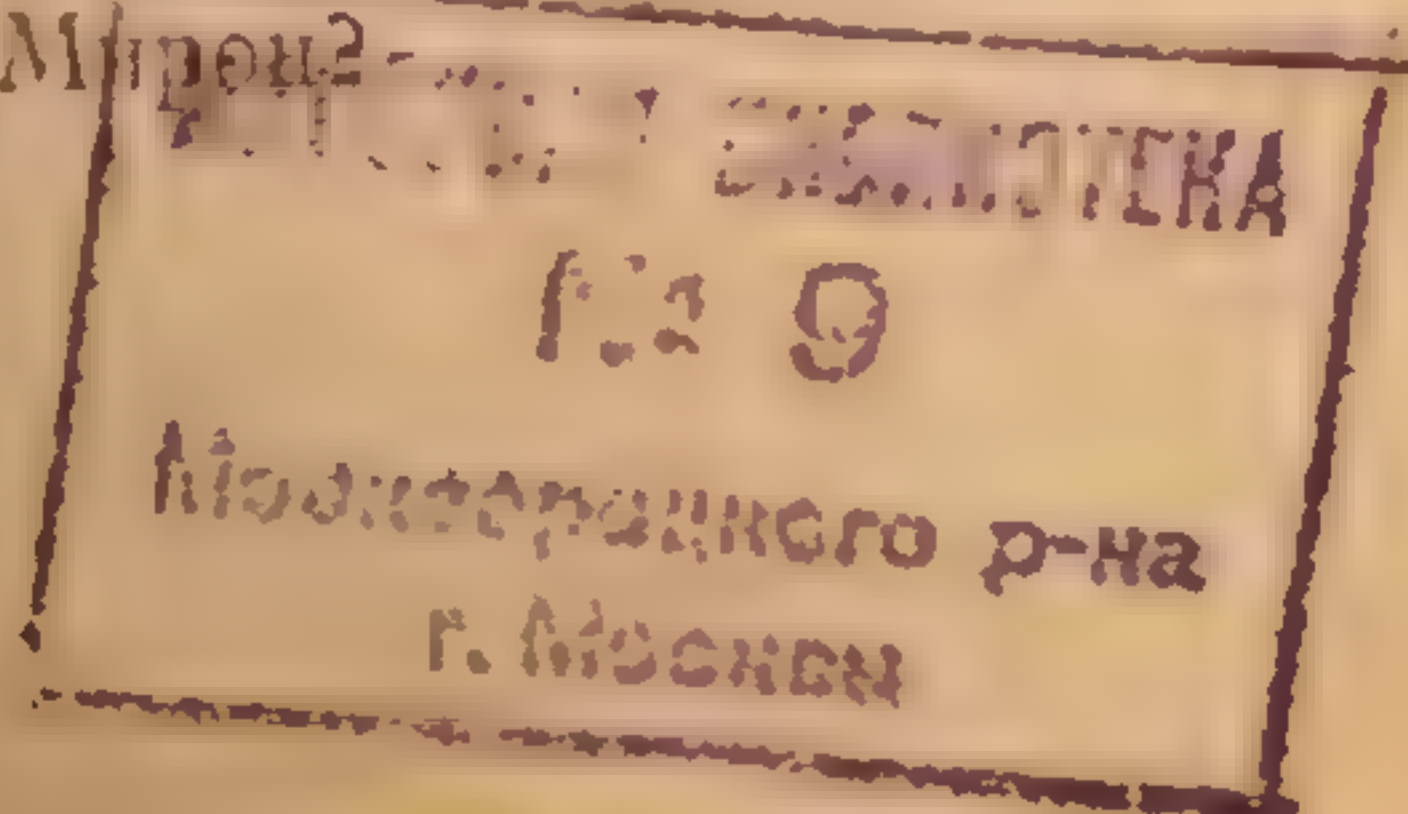
— Нет, я пришел зимой в двадцать четвертом, — с мягким акцентом возразил тот. — Тогда здесь, на Орочене, рубили лес. Стояли немножко бараки. Стояли палатки. Нам нечего было кушать... Мы шли с Невера сорок дней. Последние дни все шатались, как пьяные...

Ли Фун-чи помолчал, скуластое лицо его, оживленное воспоминаниями, стало красивым: блестели чуть раскосые в разрезе монгольские глаза, юношески полные губы, раздвинутые улыбкой, обнажали ослепительную белизну зубов. Среднего роста, крепкий, как свежий лиственничный пенек, он в каждом движении обнаруживал силу и жизнерадостность. Трудности, о которых он вспоминал, казались ему теперь совершенно необходимыми и даже приятными.

— Мы добрались тогда до Незаметного, нашли земляков-китайцев, и они нас накормили... Я ел, и мне было обидно, прямо до слез, что мало дают кушать. Потом я еще целый месяц хотел есть, пока мои кости не обросли мясом. А как мы работали! Воды на промывку песков не хватало. Мы возили ее в деревянных ящиках километра за два... Но после тяжелой жизни в Китае мне здесь очень понравилось. Я готов был работать с утра до ночи... Однако сразу поссорился со старшинкой. Помнишь, Мирон, как мы с тобой встретились? Ты здорово помог мне тогда...

— Помню, — с улыбкой сказал Черепанов, представляя свою работу старателем на деле и первый разговор с Ли Фун-чи, разговор, состоящий главным образом из жестов, междометий и мимики, приправленный несколькими русскими словами. — Как ты обрадовался, когда я заговорил с тобой по-китайски! Помнишь? — в свою очередь спросил Черепанов. — Помнишь, как я агитировал тебя вступить в комсомол?

— Конечно! Ты меня за уши тащил, пока я барахтался, старался встать на ноги. И вытащил! Я часто думаю: встреча с тобой — самое большое событие в моей жизни. Но самое главное — что я попал сюда. Правда? Ты не обижаешься, Мирон?



— Нет! Если бы не я, нашелся бы другой товарищ, который помог тебе. Но все-таки мне приятно, что это я дал тебе первый толчок. Если ты не зазнаешься, из тебя выйдет толк.

— Я постараюсь не зазнаваться. Когда у меня становится слишком гладко и спокойно на душе, я вспоминаю свое тяжелое прошлое. Оно как старая рана. Заност — и сразу почувствуешь, как ты еще слаб... У нас в Китае гнет и произвол страшные. В каждой провинции свои порядки, налоги, свои чиновники. В нашей деревне налоги были взяты за сто лет вперед... Когда я переходил русскую границу, то радовался, точно птица, выпущенная на волю. Не знал, как буду жить в России, но ушел от такой кабалы, — хуже не придумаешь.

— А если бы у тебя была дома семья? — спросил Черепанов.

Ли Фун-чи задумался, милостивое лицо его, с наморщенными над низким переносьем темными бровями, выразило сдержанную грусть.

— Мне жаль свою маму и папу. Бабушку очень жалко. Они работают у помещика... Руки у них, как земля в засуху, темные, жесткие, в трещинах. Невозможно представить, сколько вытерпит человек, когда его каждый день погоняет голод! Они так и умрут на чужой полосе, подобно загнанным лошадям. Неграмотные, темные... Я удивляюсь: пришел я сюда такой смешной чужак. И вот научился грамоте. Окончил курсы профработников. Стал председателем прииска! Сам себе не верю. Одно только хорошо, что я был дома нищий: мне не купили жену. Я все равно бы ушел... Но я бы не мог так радостно жениться на Луше.

Лицо Ли Фун-чи снова расцвело в улыбке, и он с такой признательностью посмотрел на своего товарища, точно Мирон Черепанов и устроил все его счастье.

Обоих взволновало письмо райкома о развертывании массовой работы в связи с открытием механизированного шахтового производства. Поэтому и вспомнили они о прошлом, о том, с чего начинали в районе сами.

— Пойдем туда, на устье, посмотрим! — сказал Черепанов.

— Пойдем! — весело согласился Ли Фун-чи. — Сейчас я скажу Луше, что ужинать будем позже. Пусть пока позанимается.

Ли Фун-чи вышел в другую комнату. Весь барак состоял из двух комнат и кухоньки с железной печью, где хозяйничала сейчас Луша, маленькая, очень смуглая женщина, похожая на цыганку. Мирон, мальчик лет трех — живой портрет Ли Фун-чи, — играл на покрытом лоскутным одеялом топчане, где спала конторская уборщица Татьяна. Все обитатели барака жили одной «коммуной», вкладывая по шестьдесят рублей в месяц на человека в общую кассу. Готовили по очереди Луша и Татьяна, им часто помогал Ли Фун-чи, особенно когда стряпали пельмени или делали лапшу. Черепанов участвовал в заготовке дров и покупке продуктов, хаживал и за водой, когда приисковый водовоз не успевал с доставкой. Жили дружно и весело. Обе женщины учились в вечерней школе для взрослых.

— Уходите? — сразу догадалась Луша, откладывая посуду, которую она вытирала суровым полотенцем. — А мы с Татьяной пирог затеяли.

Она подошла к мужу мягкой походкой беременной: белый передник не скрывал округлости ее живота, особенно оттеняя приятную смуглоту ее маленького лица, обрамленного венком черных кос, и полных рук, открытых по локоть.

— Значит, шахты будут? — спросила она, подавая Ли Фун-чи шапку-ушанку. — Как хорошо, правда? Большое строительство будет?

— Очень большое! — сказал Ли Фун-чи серьезно.

Он потрепал жену по плечу, погладил сынишку и вышел вслед за Черепановым.

Приятеля шли по дороге-улице, гладко укатанной вдоль подножья горы, отделявшей Орочен от Пролетарки. То справа, то слева попадались бараки, разделенные снежными пустырями. Ни палисадника, ни сарайчика, вдоль долины бугры да ямы — обычный приисковый вид, вызывающий тоскливое чувство у

непривычного горожанина, но дорогой сердцу закоренелого таежника.

— А вот что будет здесь года через два! — мечтательно сказал Черепанов. — Посмотри-ка, Ли Фун-чи!

Оба остановились и несколько минут наблюдали, как возились старатели на участке деляны, расположенной вплотную к дороге. Один стоял на воротке, установленном над черным колодцем шурфа, выкручивал желтую от глины веревку, другие работали у промывальных ям, прикрытых шалашом из корья, где топилась железная печка.

— Так и восемь лет назад! — сказал Ли Фун-чи.

— Так и пятьдесят лет назад! — отозвался Черепанов, глядя на убогое оборудование делянки. — Сегодня моют, завтра воют. Как ты думаешь насчет наших показательных артелей «Труд» и имени Свердлова?

— Очень крупные артели! — ответил Ли Фун-чи.

— Больше людей, но работают так же, — сказал Черепанов, отходя от старательской делянки. — Горбатая ручная работа, а на одной лопате далеко не уедешь. В артели Свердлова золото хорошее — народ глядит веселее. Но ведь и на маленькой делянке веселятся, когда золото есть. А в артели «Труд» тяжело живется. Можно приветствовать такие крупные артели только потому, что они приучают старателей к плановой отработке, к организованности.

Ли Фун-чи задумался.

— Да, это правда, — согласился он. — Я не учел: народу больше, а методы работы те же. Верно! И там очень плохо женщинам. Только Маруся Рыжкова не унывает. Она комсомолка, она на производстве работает. Другим — мамкам — плохо. А я заметил: где плохо женщинам, там советский закон еще не вошел в жизнь. Ты знаешь, Мирон, мы с Лушей подружились сидя за букварем: «бабы не рабы». Сейчас очень сложно — ждем второго ребенка. Я хочу помогать ей во всем, чтобы она не была рабой. Конечно, я не самый хороший, но хочу быть хорошим. Нельзя обманывать

партию и советский строй. Надо, чтобы каждый рабочий, у которого есть жена, не обижал ее.

— А кто обижает? — спросил Черепанов.

— Васька Забродин. Я просил его жену пожаловаться тебе, или мне, или в поссовет. Не соглашается: «Нас, говорит, бог рассудит». А что может рассудить бог, если он сам — выдумка?!

5

Долина Орочена сходила к долине Ортосалы широкими, очень отлогими склонами, среди которых почти незаметно было русло ключа.

— Площадка для строительства замечательная! — весело сказал Черепанов, осматривая местность, которую он знал как свои пять пальцев, но которая представлялась ему теперь совсем в другом свете. — Гляди, Ли Фун-чи: вон там, по нагорью, пойдет русло-отводная канава. На днях придут сюда экскаваторы... Мать честная! Экскаваторы! Ли Фун-чи, ты-то хорошо понимаешь, что это значит! Народ уже раскладывает пожоги... Айда к ним, посмотрим...

Черепанов вдруг с волнением вспомнил, как он сам, совсем юнцом, проходил по этой местности осенью двадцать третьего года. Сын учителя, он окончил семь классов гимназии в Благовещенске-на-Амуре, с детства изучил китайский язык, работал переводчиком в таможене, но мечтал о больших делах, о путешествиях, хотел поступить в китобои... Когда его родственник собирался в Томмот, как тогда назывался Алданский приисковый район, Мирон увязался за ним. Месяца полтора шли они артелью, с котомками, по бездорожью безлюдной тайги. Переходили через быстроводные реки, плутали в горах, увязали в талых еще болотах, обильные северные снегопады устилали их путь пуховой порошей по колено.

И вот Незаметный. Лихорадка разыгравшихся страстей... Прииск, похожий на дорожный лагерь... И свежие ямы по долине ключа, как свежие раны... И золото. Золото. Золото. Артели «фунтили» почти сплошь.

Здесь было поистине золотое дно. Люди заработали за летний сезон по семи фунтов на душу, по одиннадцати, а которым особенно пофартило — намыли до двадцати фунтов. Замшевые мешочки — «тулуны», набитые до отказа чистым самородным металлом, оттягивали карманы старательских шаровар. Открывались прииски рядом, по соседним ключам: Верхне-Незаметный, Золотой, Орочен, Пролетарка, Томмот, Джеконда, Куронах, Турук... Было от чего закружиться голове... В сырых, наспех поставленных бараках, крытых корьем, с ситцевыми окнами, с земляными полами, копились груды золота. Старательские мамки, заменявшие кассиров, хранили под своими матрацами пуды артельной казны. Сказочное богатство это поразило Мирона, но не увлекло. Он подружился с бывшим партизаном-большевиком, с маленькой горсткой людей, которые с огромным трудом старались овладеть человеческой стихией. Только четыре месяца пробыл Черепанов на старании и перешел на профсоюзную работу. Жизнь на прииске обернулась ему другой стороной: он увидел хищников, привлеченных возможностью легкой наживы, — спиртоносов, картежников-шулеров, контрабандистов — скупщиков металла, бывших людей и уголовников, идущих по стопам старателей. Он увидел и тех, кого обманывала золотая лихорадка, случайно попавших на прииски, никогда не державших в руках ни кайла, ни лопаты; узнал и полюбил настоящих приискателей с душой нараспашку в дни фарта, двужильных, угрюмых, работающих в полосе неудач.

Черепанов пожалел тогда о расхищении природных и человеческих богатств, которое совершалось на его глазах.

«Ведь это же богатство принадлежит советскому государству, которому всего-то шесть лет от роду. Оно еще не окрепло по-настоящему, и вот его грабят. Грабят не копачи, а людская накипь, которая бьется около них. Тащат по кубышкам, за границу тащат...» И Черепанов всей душой отдался работе молодого советского аппарата, только что созданного в районе... Он и Ли Фун-чи потянул за собой... Ведь среди стара-

телей была масса китайских рабочих, обираемых паучками-старшинками, которые верховодили в артелях. В трудолюбивом Ли Фун-чи тоже билась жилка общественика...

«Что произошло на приисках за эти годы? — подумал Черепанов и посмотрел на старый стан Орочена, приткнувшийся к подножью водораздела с Пролетаркой. — Богатое золото взято хищнически — все изрыто. Хорошо то, что в районе работает сейчас несколько драг — заберут все, что осталось на испорченных площадях... Но еще лучше то, что старатели не успели добраться до богатейших россыпей на самой Ортосале и на реке Куронахе, где создается Сталинское приискское управление. Теперь и по Куронаху и по Ортосале будет поставлено механизированное шахтовое производство».

— Ли Фун-чи! — сказал Черепанов, видя, как осматривается его приятель, тоже думавший о завтрашнем дне прииска. — Нам с тобой предстоит теперь очень большая работа. Приедут вербованные с Невера... Ведь это не кадровые горняки, а самая разнородная сырая масса... Хозяйственники строят бараки, бани, столовые. И нам надо позаботиться о встрече, значит о тех же столовых в первую очередь... С постройкой нового клуба надо поторапливаться.

6

— Нет... что же это получается? — рассуждал старый столяр Фетистов. — Выходит, пьющий человек — пропащий? А? Я вот тоже пью... Да разве я... Ах ты боже мой! Сорок лет рабочего стажу и столяр первой руки. Бывало в Москве, в Малом театре, как начнем декорации передвигать... Полное земли и неба вращение!

Старик делал рамы для клубной сцены. Рубанок торопливо шмыгал по доске, стружки взвихривались, прилипали к рубанку столяра, шурша, путались под ногами.

Он топтал их, отбрасывал в сторону и гово-

рил, говорил, не выпуская рубанка из проворных рук.

— Разве это порядок? А ты, Мишка, того, не расстраивайся. Дай срок, они тебя обратно примут.

— А я и не расстраиваюсь, — отозвался сипловатым тенорком Мишка Никитин, молодой старатель, сидевший на куче дров у железной печки. Пламя гудело в ней, огненные язычки плясали в прорези постукивающей дверки. — Можно жить и беспартийному. Только знаешь, Фетистов, скажу откровенно: жалко мне от ребят отставать. Привык уж я. Теперь совсем сопьюсь.

— Этак, милочка, не годится. Ты бери меня для примера: выпить люблю, а не спиваюсь. Мысли даже нет, что вот, мол, негодный я человек. А ты молодой и цены себе не знаешь. Характер у тебя, Мишка, неопределенный, вот беда!

Исключение из комсомола Никитина, за которым, кроме выпивки, никаких грехов не водилось, Фетистов принимал близко к сердцу, видя в этом прямой укор своей собственной слабости к винишку.

Некоторое время старик работал молча, и Мишке даже завидно стало смотреть на его ладную работу. Дело у Фетистова спорилось: он размеривал, опиливал, постукивал молотком, и все с таким увлечением, словно не было на свете ничего важнее вот этих брусков и дощечек. Крохотное морщинистое лицо столяра выражало полное довольство собой.

— Ты, Фетистов, сам чудной человек, — заговорил наконец Мишка. — Живешь бобылем, одет плохо, а все похваляешься. Про другого сказал бы — хвастун, а ты, видно, и вправду всем доволен.

Фетистов удивленно приподнял реденькие брови.

— Похвальба моя не от пустого места идет! Первое дело — я столяр и столяр хороший. Значит, настоящий рабочий человек. Значит, человек стоящий. И вот эта стоимость завсегда меня держит на ногах твердо. — Старик заметил усмешку на лице Никитина и, сам усмехнувшись, добавил: — Когда трезвое состояние имею, понятно! А ты и трезвый шатаешься хуже пьяного. Какое есть твоё положение? Ты себя никуда

еще не определил. — Он обернулся на скрип дверей, увидел входящего Егора и крикнул, просияв морщинистым лицом: — Егор, здравствуй! Проходи, садись на лавку.

Егор угрюмо посмотрел на составленные у стены скамьи, на пол, покрытый стружкой и сухими сосновыми иглами.

— Работаете? — равнодушно спросил он, прислушиваясь к голосам на сцене.

Там было шумно. Громче всех говорили двое: тенорок, нетерпеливый и поучающий, и густой бас, иногда прерывающийся глухим, утробным кашлем. Потом спор прекратился и начали дружно передвигать что-то тяжелое — не то стол, не то шкаф. Синий сатиновый занавес, просвечивающий желтизной там, где горели лампы, колыхнулся от происходящей на сцене суетни. Неожиданно в наступившей тишине прозвучал свежий голосок Маруси. Егор даже вздрогнул, услышав его, и, волнуясь, посмотрел на Фетистова.

— Нору играет, — одобрительно сказал старик.

И все трое прислушались. Она говорила слова, полные горькой и тневной укоризны, потом сбилась и неожиданно рассмеялась. Кто-то зашикал, хлопал в ладоши — отставить!

Отпахнув край занавеса в зал, со сцены спрыгнул черноволосый человек. Подошел к Фетистову, по пути осмотрел Егора пытливыми глазами.

— Здорово, Фетистов!

— Здравствуй, Мирон Устиныч! Я уж думал — не придешь нынче. Два раза к завхозу бегал насчет тесу-то. Ничего, добреньких плашек дали.

Черепанов посмотрел на «плашки», на веселый беспорядок вокруг столяра, повидимому остался доволен и сам начал хлопотать, выдвигая из угла рамы, уже обтянутые холстом.

— Ну, Фетистов, начнем теперь разворачиваться, только держись! На одну руслоотводную канаву триста человек поставили.

— Старателей поставили на канаву-то? — озабоченно и ревниво спросил Фетистов.

— Пока на подготовке обойдемся старателями, а для шахтовых прием вербованных с Невера.

— Или своих не хватит?

— Не хватит, Фетистов. Старатели в приискоме у Ли Фун-чи весь порог обили, целый день идут, а разговор все об одном — отдали бы участок под старание. — Черепанов помолчал, посмотрел на Егора и спросил: — Пошел бы ты на хозяйские?

— А чего я там не видал?

Черепанов подошел поближе.

«Простой, видать, — решил Егор, разглядывая его открытое смуглое лицо с крупным носом и резко очерченными бровями. — Но и характерный, пожалуй, с ним не поспоришь!»

Егор видел Черепанова и раньше, но разговаривать им не приходилось.

— Большое производство будет, механизированное. Вся жизнь на прииске по-другому повернется...

— Посмотрим, — угрюмо сказал Егор.

— Экий ты... — заметил Черепанов и отступил, удивляясь. — Молодой, а диловатый.

— Какой есть, весь тут.

Черепанов рассмеялся, и так весело заблестели его черные глаза и неровные белые зубы, что Егор тоже, сам не зная чему, застенчиво усмехнулся. Черепанов достал из ящика в углу банки с краской, принес кисти, воду в котелке. Егор наблюдал за ним с недоверчивым любопытством.

А Мишка долго возился у печки, с таким рассеянным, независимым видом подбрасывая в нее мелкую щепу, точно он и вовсе не заметил появления Черепанова.

«Какой интерес секретарю партийного комитета заниматься малеваньем декораций? Не парнишка-комсомолец... человек в годах, серьезный», — думал Егор. А тот, переговариваясь с Фетистовым, мазал да мазал по натянутому холсту то черным, то коричневым. И получалась-то всего-навсего стена избы да окошко; но, глядя на Черепанова, Егор невольно позавидовал ему, как завидовал только что Мишка, глядя на работу Фетистова.

— Почему не участвуешь в общественной работе? — неожиданно спросил Черепанов, обращившись к Егору так дружелюбно, словно они и не прерывали разговора.

— Работа у нас своя тяжелая. Сами знаете, какая подготовка: круглые сутки пластаемся.

— Это верно. — Черепанов вспомнил слова Ли Фун-чи о большой артели, подумал: «Да, без механизации мало что меняется и в крупной артели!» Вслух сказал: — Я ведь тоже на старании раньше работал. Знаю. А время все-таки можно выбрать. Я, когда старателем был, от общественности не отставал, а позже меня в совпартшколу отправили. Это с Перебуторного прииска, слышал о таком?

— Слышал, — ответил Егор и улыбнулся. Он хотел сказать еще что-то, но смолк и начал торопливо искать по карманам кисет с махоркой: совсем рядом, за его спиной, засмеялась Маруся.

— Уж ты выдумаешь! — сказала она Фетистову и, оживленная, сияя глазами, подошла к Черепанову. — Устиныч, нам тебя нужно. Мы так поспорили, что скоро раздеремся.

— погоди, — сказал Черепанов и, потрепав ее по плечу, так ласково посмотрел на нее, что у Егора сердце перевернулось, и он застыл с кисетом в руках, глядя на их улыбающиеся лица.

«Ишь ты, какой пряткий! — неприязненно подумал он о Черепанове. Возникшее было расположение к нему сразу исчезло. — Видный парень да еще образованный, куда мне против него!»

7

Лыжи эвенка, подбитые шкурой с оленьих ног, скрипявая, прокладывали путь по рыхлому снегу. Эвенк вел в поводу пару оленей, за которыми тяжело волоклась почти пустая нарта. Вторая упряжка с грузом устало тянулась за первой. На третьей сидел китаец в рысьей шапке и туго опоясанном полушубке. Сверху внапашку была надета собачья доха. Из-под

мехового козырька, запорошенного снегом, поблескивали такие же узкие, как у проводника, глаза; губы, выпяченные над оскалом желтых зубов, и плоский нос с вывернутыми поздравиями придавали лицу плутовато-хищное выражение.

— Гаврюшка! — негромко крикнул китаец, поднимаясь на нарте и надевая доху в рукава. — Тебе хорошо посмотри. Надо вершинка ходи, низа попадай — плохо буди.

Эвенк полуобернулся, на ходу выслушал или сделал вид, что выслушал (он сам был человеком опытным), кивнул головой и уверенно двинулся дальше, зорко вглядываясь в кипящую мглу. Поднялись на крутой перевал. На обнаженном ветрами склоне высохшие кусты стланика перегородили путь. Эвенк свернул левее, ближе к дороге, которая шла в распадке. Кусты можжевельника и ерника поднимались из-под разбитого оленями снега, цеплялись за нарты. Как башни, вставали среди молодой поросли темные ели. В белесом сумраке кружился над ними ветер, и они гудели сдержанным, мощным гулом.

Внизу было тише. Контрабандисты долго путались среди высоких деревьев, потом поехали берегом речки. Лес постепенно мельчал, и метель как будто стихала, даже мутное пятно месяца зажелтело на мглистом небе.

Низкое длинное зимовье в два сруба стояло на берегу речушки. Черная банька прилепилась сбоку. Заведя оленей в густой ельничек, Гаврюшка привязал передовых к нарте. Китаец сидел неподвижно, засунув руки в рукава, спрятав лицо в поднятый, обросший инеем, воротник дохи.

Над плоской крышей курился дым, но в зимовье было темно, только в подслеповатом окошке прируба брезжил огонек. Эвенк обошел кругом. Санная дорога, проходившая мимо зимовья с Незаметного на Невер, была переметена метелью и исчезла под волнистыми сугробами. Десятка два груженных саней с поднятыми оглоблями виднелись на широкой поляне с подветренной стороны; там же, возле заслона из сосновых ветвей, стояли выбеленные снегом лошади.

Между баней и стеной зимовья лежал верблюд. Он медленно повернул выгнутую шею на шум шагов, на тощих боках его смерзлась клочковатая шерсть.

Гаврюшка все примечал, готовый каждую минуту прижаться к завалине, укрыться за сугробом, исчезнуть за стволами ближних деревьев. Но все было тихо, ничто не внушало опасений.

Ветер шевелил лохмотья дверной обивки; на стене под навесом крыши похрустывали связки веников. Заглянув в освещенное окошко, эвенк постучал, потом отошел и посмотрел назад, в метельную ночь. Неприютно шелестели вихри по сыпучим сугробам, но Гаврюшка был привычный таежный человек — если нужно, он мог ночевать в тайге в любую погоду.

Дверь открыл пожилой длиннорукий мужик. Всмотрелся и пропустил в тепло.

— Народ-то есть?

— Спят. (Из темной половины слышалось храпение возчиков, пережидавших в зимовье непогоду.) Обоз с товарами Якутторга, — пояснил зимовщик, почесывая шею под редкой рыжеватой бородашкой, потом прибавил огня в лампешке. — Один, что ли?

— Двое, Санька ждет. Погреться надо бы, однако.

Зимовщик прикрыл дверь в другую половину. Сказал негромко:

— Иди, зови. Гепеушники вчера проезжали. Сегодня по такой дороге черти не понесут. — Не надевая шапки и полушубка, он вышел следом за эвенком, набил снегом чайный котел. От ветра рубаха на его спине вздулась торбом, и суеверный Гаврюшка невольно забоялся, глянув на нескладную, черную на снегу фигуру зимовщика...

Присев на пол у порога, Санька снял унты, потом закурил крохотную трубочку на длинном чубуке, сказал хозяину:

— Тебе, Быков, мало-мало бери. Четыре банчок можно оставить.

Зимовщик, грея спину у пылающей печки, угрюмо посмотрел на Саньку зеленоватыми косыми глазами.

— Я бы и шесть взял, да у меня сейчас денег нет.

— Хо, — хитро ухмыльнулся Санька: «Деньга нету, значит золото покупай». Но вслух этого не высказал: каждый делает свои дела для себя и не обязан говорить о них другим. — Люди знакомый. Моя скоро обратно ходи, тогда могу получай.

— Почем?

— Тридцати рубли бутылка.

— Тю, леший! Спятил. В «Союззолото», знаешь, почем?

— Это наша не касайся, меньше не могу, — сказал китаец и, захватив мешок с продуктами, полез за стол. Над левой бровью его, наискось по смугло-желтому лбу, блеснул сизый рубец. — Магазины шибко дешево, моя дороже, тебе совсем шкурка долой. Деньги можно ожидай — знакомый люди. Наша посчитай всегда как раза Степаноза.

Санька в молодости работал у одного мелкого хозяйчика Степановского. Тогда он был еще новичком на приисках и вместе с другими восточными рабочими страдал от хитрости золотопромышленника. Они брали у него в амбаре продукты. При расчетах он обычно заявлял: «Ваша бери товара столько (называлась сумма), золото сдавала столько, положение плати столько... Золото дорого покупать не могу. Теперь ваша посмотри». Костяшки счетов быстро бегали под ловкими пальцами хозяина, пока на левой стороне почти ничего не оставалось. «Ваша платить не надо, моя платить не надо — как раза вышло».

Тогда старшинка артели доставал из-за пазухи свои крошечные счета и долго гонял их колесики, но результат получался тот же — «как раза».

Китайцы прозвали Степановского «как раза Степаноза», и, видно, крепко запомнилось Саньке его мошенничество, если он до сих пор уже беззлобно, но часто вспоминал это прозвище.

Быков положил перед ним кусок холодной вареной солонины, хлеб, поставил кружки. Санька вынул из своего мешка бутылку спирта, соленую кету, сахар и остаток свиного окорока.

Гаврюшка торопливо отхлебывал из блюдца горячий чай, обжигался и блаженно жмурился. Чай был

кирпичный, наплевший в ведре до черноты. Зимовщик сидел на краю нар на плоской подстилке с засаленной подушкой в изголовье и, зевая, разглядывал скуластые лица ночных гостей. Нужно было еще договориться о спирте.

— Так ты оставь мне шесть банчков, только по двадцать пять. Знакомый люди, — попросил он и заискивающе улыбнулся Саньке.

— Тридцати. Меньше не могу. Меньше убытка!

— Ладно уж, возьму, — сказал Быков и, пересев к столу, выпил стопку разведенного спирта, морщась понюхал хлебную корку. — Скоро прикрываю лавочку: все зимовья собираются отдавать Промсоюзу. Зимовщицкую артель организывают... Я от этих артелей из своей деревни сбежал. А теперь и в тайге то же самое, того и гляди, фукнут из насиженного гнезда.

Санька, не слушая зимовщика, думал о своем, морщил над бровями желтую кожу.

— Тебе, Быков, посылай знакомый люди на Пролетарка. Надо сказать Васька Забродина, пускай его встречает моя верху Орочена! Место его знает.

Быков хитро прищурился.

— Зачем сюда лишнего человека путать? Грейтесь покуда, а я лошадку у возчиков возьму... мигом сгоняю.

8

В одном из бараков в вершине Пролетарки шумели пьяные голоса. В густом махорочном дыму тускло горела семилинейная лампа, подвешенная на железной проволоке к потолку. Освещенные ее неровным светом, сидели за столом старатели. Тащили из мисок куски вареного мяса, чокались кружками с разведенным спиртом.

— Наш брат по маленькой пить не любит.

— Душа меру знает.

На появление Саньки и Забродина никто не обратил внимания, кроме Катерины, еще молодой бабы, с нагловатыми глазками, бойко блестящими на румя-

ном, толстощеком лице. Санька пошептался с нею у печки, подмигнул Забродину, и все трое, как ни в чем не бывало, втерлись в веселую компанию.

— Санька? — удивленно вскричал, увидев китайца, муж Катерины, кривой чернобородый Григорий. — Тебе как сюда попал, как раза Степаноза?

Китаец оскалил желтые лошадиные зубы, улыбочиво оглядел старателей и подсел ближе к Григорию.

— Гости ходи. Водочка таскай мало-мало. Ваша тут весело живи.

— Тебя только недоставало!

— Санька, ты бы мне подыскал бабушку лет двадцати, — обратился к китайцу подвыпивший Мишка Никитин. Глаза его пьяно блуждали. Светлые волосы неровными прядями спадали на высокий лоб. — Подыщи, Санька, а то скучно одному жить.

Толстые губы Саньки растянулись в широкой улыбке.

— Это я знай. Бога его шибко хитрый был: Адамушка и Еушка компания садика посади, когда земля делай. Бабушка тебе моя могу находити. Водка шибко пьет, а работать не хочу, адреса: Незаметный, барак верху базара. Манька-маньчжурка. Его русский, только наша китайский люди много полюби. Денежка побольше припасай. Ваша партийный люди... Ничего, не стесняйся, пожалуста, наша тоже давно в партия приглашай... — приврал он, неизвестно для чего. — Моя не хочу. Я вольный люди, — с этими словами Санька налил немножко водки, аккуратно выпил и закусил рыбой. — Шибко хорошо водочка!

— При таких морозах без сотки не выдержишь, а нынче мы и вовсе не работали, — сказал Григорий. — Ветрина! Все заслоны в разрезе опрокинуло. Прямо нутро стынет.

— Работа не медведь, в лес не уйдет, — угрюмо добавил Забродин. — Нас проклятая канава вовсе замордовала. Надели на себя петлю...

— Зато, уж ежели пофартит, сразу забогатеете, — насмешливо-утешающе сказал Григорий. — В шахте что зимой, что летом — все едино, на глубинке тепло.

Забродин подергал себя за ус и покосился карими глазами, беспокойными, точно у дикой лошади.

— Как бы не припекло! Сами-то полегче поровите!

— Нас из приискома тоже агитировали осенью на крупную артель, но мы промеж себя рассудили, что это дело рискованное. В мелких лучше: уплатил положение и фой. Главное, подготовки особой не требуется.

— Ли Фун-чи был? — спросил Забродин.

— Он самый. Не гляди, что портфельщик, а славный парень! И Черепанов был. Этот говорить мастак, только и мы себе на уме: послушать — с удовольствием, а насчет капитальной работы — катись подалее. У нас в артели Еланчиков тоже дока по части разговору. Хвалился, что он и по-немецкому и по-французскому маракует.

Никитин, шаливая из бутылки, перелил через край, согнал водку со стола ребром согнутой ладони и сказал, не глядя на Григория:

— Брежет твой Еланчиков!

— Да нет, не брежет, — возразил Григорий, — языков у него много.

— Чего же он с такими языками на долю пошел?

— Желает испытать своего фарту.

— А может, из бывших?

— Может, и из них, — согласился Григорий. — Вышла человеку ломаная линия в жизни, вот он и мечется.

— А Ли Фун-чи что на собрании сказал? — напомнил, пьяно усмехаясь, Мишка и тихо, но резко дохнув в ухо Григорию. — Выявлять, мол, таких надо.

Забродин приподнял опухшие веки, зло покосился и дернул плечом. Григорий задумался, но тут же махнул рукой:

— Не наше это дело. В тайге всем места хватит, не раздеремся, чай.

— Вот набьются сюда вербованные, тогда тесно покажется, — крикнул пышноусый, бритоголовый бо-дайбинiec Точильщиков, сидевший в обнимку с гар-

мошкой. — Проморгали счастье, прямо из-под носа уплыло.

— Дали маху, слов нет! — угрюмо отозвался Григорий. — Ходили по золоту. А оно лежало и не сказывалось. Баню на том месте поставили да зимовье, лучше-то ничего не придумали!

— Теперь все заберут подчистую, — сказал Никитин. — Бараков целую улицу заложили на левом увале. Шахтовые работы организуют. Людно будет.

— Дай срок, еще пролетят в трубу, — сказал Григорий. — Я бы так ни в жизнь не пошел на хозяйские. Там хоть определенный заработок, а интересу особого нету. Норма эта, как гиря на ноге, пусто или густо, знай свое — кубаж выгонять. У нас риск большой, зато вольно.

— Была воля, да вся вышла, — сказал Забродин.

Мишка, наскучив разговором, облапил подошедшую Катерину, ущипнул ее за круглый бок.

Григорий, услышав визг, нехотя обернулся.

— Мишка, ты с моей бабой не балуй!

Катерина только смешливо поморщилась:

— Жалко тебе, черту кривому? Пускай побалует.

Григорий покачал головой.

— Кривой... Ишь, чем попрекает! Не от баловства окривел. В шахте меня убило, вот глаз-то и кончился.

— У меня бы не попрекнула, — сказал Забродин и, медленно сжав пальцы, выразительно потрянул угловатым кулаком.

Шум у стола все усиливался. Катерина то и дело исчезала в своем углу и появлялась с новыми бутылками.

— Ничего, Мишка! — сказал Забродин, обнимая Никитина. — Исключили, говоришь? Плюнь и не обращай внимания. Комсомол и клубы эти самые нам совсем ни к чему. Старателю без них еще легче.

— Э-эх, ты-ы, чубук от старой трубки, — неожиданно послышался от двери слабенький тенорок Фетистова. — Клуб ты оставь. Это тебе не нужно. А я, ах ты, господи... я душу отдам. Бывало в Москве... в Ма-

лом театре, как начнем декорации передвигать... полное земли и неба вращение.

— Здорово, деревянный бог! — дружно откликнулись старатели.

— И ты, значит, приплелся? Вот старик: выпивку носом чует! — вскричал Мишка Никитин.

— Да ты никак уже клюнул?

Фетистов действительно был уже веселенький. Заношенный до лоска полушубок еле держался на его тощих плечах. Маленький, серый, сморщенный плотник нетвердо стоял на ногах, грозил пальцем Забродину и бормотал:

— Клуб — это же культур-ра.

За столом засмеялись.

— У нас своя культура... старательская! — хмуро сказал Забродин.

— Мишка! Никитин, выходи! — зашумели в несколько голосов старатели.

— Просим Никитина! Про-осим!

Точильщиков перекинул ремень на плечо, пробежал по ладам привычными пальцами.

Никитин хлопнул в ладоши и пошел отстукивать каблуками тяжелых коротеньких сапог. Крупная фигура его двигалась легко и плавно, вызывая у зрителей одобрительные улыбки. Он округло разводил и помахивал согнутыми в локтях руками, негромко выговаривал:

Не хотел я выходить,
Выходку показывать...
Вот и я, вот и я,
Вот и выходка моя!

Фетистов сидел на чарах, глядел на Никитина и, пытаясь восстановить в памяти что-то связанное с этим пляшущим парнем, бормотал невнятно:

— То-то я и говорю... беспорядок!

Тут же на краю нар играли в карты. Выйдя из-за стола, Санька подошел к играющим, тоненьким голосом замурлыкал песню:

Нынче ходя сытал в моде,
Сытал девушка полюби.

До Незаметного около пятнадцати километров, но завтра воскресенье, нерабочий день. Можно походить по лавкам, побывать в кино, посмотреть какую-нибудь заезжую труппу. Бывают такие счастливые случаи! Маруся еще ни разу в жизни не видела живого клоуна.

Пока она не работала, в семье на нее смотрели как на девчонку и никуда не отпускали. Теперь она стремилась наверстать упущенное и упрямо отстаивала свое право на самостоятельность.

— Что же, коли охота маяться, иди. Известно: дурная голова не даст ногам покою. Только ночуй непременно у Степановны, — наказывала мать, беспокойно поглядывая то на дочь, то на Егора, который собирался идти вместе с Марусей.

Акимовна надеялась на благоразумие дочери, но все же повеселела, узнав, что за ними зайдет Фетистов. Все-таки со стариком спокойнее отпустить, а то долго ли до греха. Уж больно страдает Егорка возле девки. «Известно, дело молодое, — тревожно думала она. — Не дай бог, начнут баловаться! Разве углядишь за ними — живем в лесу да в бараках, не на отдельном подворье».

Акимовна вспомнила свою молодость и вздохнула: за высокими жила стенами, под крепким надзором, а пришло время — не побоялась и материнского проклятия. Она посмотрела на дочь и еще подумала: «Ох, вострая девка! Небось, такая в подоле не принесет. Бойкие себя больше берегут, чем тихони, те бестолковее да податливей».

А Маруся, уже совсем одетая, в нескладном зимнем пальтишке, укутанная полушалком, нетерпеливо крутилась по бараку. Она то выглядывала в окошко, то выбегала на улицу.

— И где это запропастился старик? Прямо как маленький, будто не понимает, что опоздаем. — Отчаявшись в ожидании, она присела на нары и сказала с досадой: — Может, он вовсе не пойдет, а тут жди его!

Подошла Надежда:

— Если будут, купи мне, Марусенька, шпилек. Только роговых, а то от железных волоса больно секутся. — Она сунула молоденькой подружке три рубля, кивнула в сторону Егора: — Кавалер-то у тебя славный, только безденежный.

— Вот еще! — вскричала девушка и покраснела чуть не до слез. — Какой он мне кавалер? Просто знакомый, Егор Нестеров.

У Надежды в уголках губ шевельнулась сдержанная улыбка.

— Ну, неладно сказала, зачем же сердиться? Пускай будет не кавалер, а знакомый... Егорка.

— Я не нуждаюсь в его деньгах, да и в нем тоже! Идем вместе... Так не могу же я без попутчиков, а для компании Фетистов даже интереснее — с ним все-таки поговорить обо всем можно.

Егор не слышал жестоких Марусиных слов. В дальнем углу доставал он из своего деревянного сундучка сбереженные на всякий случай пятнадцать рублей. Маловато! Билеты в кино купить, пообедать надо будет... С сожалением посмотрел он на новую шапку: зря потратился, но опять же неудобно идти с такой хорошей девушкой в рваной шапке.

Фетистов, истощив окончательно Марусино терпение, пришел веселенький — успел перехватить стопочку, но сразу оправдался, сообщив, что на Незаметном выступают артисты.

— Гастролью они приехали через Якутск, — объяснил он уже дорогой. — Специально ходил к разводчикам расспросить. Будет драматическое представление и экцентрики.

— А что это такое?

— Экцентрики-то? — переспросил Фетистов, явно важничая, гордясь своей осведомленностью. — Тут тебе вся сложность циркаческого искусства: летающие обручи, всякие шары на палочках, хождение по канату и многое подобное.

У Маруси от любопытства глаза разгорались жаркими угольками.

— Вот бы посмотреть! А по канату — это высоко?

На нашей сцене, поди, и не выйдет. А что еще бывает в настоящем цирке?

Егор молча шел сзади Маруси. Когда она поворачивалась к идущему рядом старику, он видел ее профиль с приподнятым носиком и пухлыми яркими губами. На чистый лоб из-под платка выбивалась прядь светлых волос, и девушка то и дело прятала ее обратно, не снимая рукавички. И это нетерпеливое движение и смешная маленькая рукавичка были особенно милы Егору, как и все, что близко соприкасалось с Марусей. Он был счастлив, что идет за ней и может смотреть на нее и слушать, как она болтает со стариком. Ему хотелось самому пойти рядом, но он робел, когда она начинала «задирать нос» или спрашивать о таких вещах, в которых он сам не разбирался, поэтому он и шел сзади, не вмешиваясь в разговор. Целый вечер она будет с ним, и завтра они опять вместе пойдут домой.

На Незаметный они пришли уже в сумерки. Знаменитый прииск, расположенный возле огромной сопки, тянулся тремя улицами, огибавшими ее подножье. Группы построенных наспех бараков беспорядочно лепились к центральным улицам и со стороны нагорья и на устье ключа, впадавшего в Ортосалу, которая заметно расширилась на пути с Орочена. Местность была значительно ниже Ороченского нагорья, поэтому здесь казалось теплее, и ледок первых крохотных лужиц похрустывал под ногами. На улицахлюдно, шумно, весело.

Маруся только на минутку забежала к Степановне — оставить узелок, и вся компания торопливо направилась к клубу, где должны были выступить «экцентрики».

В маленьком, жарко натопленном помещении тесно. В нестерпимой духоте люди сидели в пальто и в полушубках. Кто не жалел одежды, подкладывал ее под себя. Маруся села на лавку между Егором и Фетистовым и так была довольна и счастлива предстоящим развлечением, что все засматривались на ее сияющее личико. Оба — и старик и молодой — невольно приосанились, гордясь своей хорошенькой соседкой и радостью, которую они ей доставили.

Но вот шум в зале стих. Занавес открылся. Маруся с полуоткрытым ртом уставилась на сцену. Ей так хотелось увидеть игру настоящих артистов! На сцене двигалась высокая стройная женщина, перед ней мелким бесом семенил франт во фраке. На женщине — яркорозовое платье с воланами ниже талии, очень длинное снизу и совсем открытое сверху. Не было ни воротника, ни рукавов — все держалось на узких блестящих ляпочках.

«Мне бы так!» — застенчиво и восхищенно подумала Маруся, глядя на обнаженные, в браслетах руки артистки.

Костюмы пышные, суфлера совсем не слышать, но героиня говорила таким крикливым голосом и так ворочала глазами, что Марусе стало неловко. Она взглянула на Фетистова. Его скучливо-недовольное лицо не удивило ее: артисты оказались ненастоящие.

Егор с тревогой наблюдал за Марусей. Только что она сидела такая радостная, и вдруг ее словно подменили: она присмирела, стала грустная.

«На меня рассердилась, — подумал Егор. — Или пьеска не нравится? Вот же какой я неудачливый!»

Пьеса наконец закончилась.

Маруся вяло похлопала ладошками и повернулась к Егору.

— Понравилась артистка? — спросила она сухо.

— Это голая-то? Н-ничего...

Снова погас свет и снова плавно открылся занавес.

— Скажи пожалуйста! — раздумчиво прошептал Фетистов и, закинув голову, посмотрел вверх: — Занавес словно по маслу идет. Отчего ж это у нас заедает?

Старик поморщился, глядя на двух толстых балбесов-клоунов в пестро-полосатых костюмах. Никакого хождения по канату и никаких летающих обручей не было.

— Выбросили денежки зря! — сокрушался Фетистов, выходя из клуба. — Халтурщики проклятые, они думают, что здесь тайга, так и люди без понятия!

— А наши спектакли еще хуже бывают, — напомнила Маруся с каким-то раздражением.

— Сравнила! — сердито сказал Фетистов. — Мы ведь любители, от всего чистого сердца стараемся. А эти в артисты лезут! Артист — звание высокое. Я ведь с самым Федором Ивановичем Шаляпиным разговор имел. «Как, спрашивает, здорово я пел сегодня?» — «Очень даже, говорю, здорово!» Вы, мол, завсегда при голосе находитесь. Только и разговору было, а интерес для меня пребольшой. Можно сказать — персона!..

— Давай еще в кино сходим? — не слушая Фетистова, предложил Егор. Ему хотелось развеселить девушку.

То, что он купил билеты на дрянную постановку, подействовало на него так, словно он сам участвовал в мошенничестве. Егор презирал недобросовестную работу и был бы рад загладить неприятное впечатление, оставшееся от клуба.

— В кино? — переспросила Маруся. — А не поздно? Конечно, хорошо бы посмотреть...

Теперь уже Егор шел с девушкой, а Фетистов, деликатно покашливая, брел сзади.

— Вы идите погуляйте, — посоветовал он, — хоть в кино, хоть куда, а я пойду к дружку. Завтра когда пойдете обратно? Ну и ладно, я к тому времени управлюсь. Ты, Егор, почевать-то где будешь?

Егор посмотрел на него и задумался.

— Пойду на зимовье, ребята знакомые тут есть, а где живут, не знаю.

— Почуй у Степановны, у нее большой барак, — спокойно предложила Маруся.

Егор даже вздрогнул и пытливо посмотрел на нее. Выражения ее лица не видно в сумерках, но он сразу понял, что сказала она это попросту. Одно дело провожать ее на другой прииск, а заночевать вместе — будут разговоры... Фетистов, однако, не дал ему времени для размышлений.

— Не пойдет такой номер, — заявил он решительно. — А что мне тогда твоя мамаша скажет? Я ведь теперь ответственный за всю компанию. На зимовье тебе, Егора, тоже нечего делать. Приходи к моему дружку: видал, где я даве показывал? Ну, где еще лесина

стоит возле окошка. Мы спать долго не ляжем — выпить надо будет. Ох, елки с палкой, давно я его не видал!

— Чудной старик, — сказала Маруся, глядя ему вслед, — а славный какой!

Егор ничего не ответил и неумело взял девушку под руку.

В клубе шел последний сеанс. Постояв в опустелом фойе перед ярко размалеванной афишей, Маруся с тяжелым вздохом направилась к выходу, где еще толпились ребята и девчонки. Но Егору не хотелось так быстро отпускать девушку.

— Давай погуляем. Ночь-то какая хорошая!

Маруся точно проснулась — осмотрелась кругом. Ночь действительно была хороша. Светила луна, и неровные улицы прииска лежали в изломах черных теней. Скользко укатанная дорога на взгорье стеклянно отсвечивала, блестел и сверкал подтаявший наст на увалах. Несмотря на поздний час, на улицах людно: звонко скрипели певучие полозья саней, то и дело прорывались песни и крики пьяных, играли гармошки.

— Я есть хочу, товарищ Нестеров, — созналась Маруся, — голос ее звучал устало. — Шли, шли, и оказалось зря.

— Тогда пойдем в столовую, — сказал Егор.

— Ну вот еще, деньги тратить! У меня с собой есть к чаю... Я тебе еще за билет отдать должна.

— Нет, это не полагается, — запротестовал он обиженно.

Маруся засмеялась тихонько.

— Я ведь не знаю, как полагается по части вежливостей, всяких там приличностей, — сказала она, помолчав. — Живу пока будто временно, а потом должно быть что-нибудь очень хорошее. Мне секретарь комсомольской ячейки велел больше читать, чтобы развиваться, чтобы понимать людей. Книг ведь написана такая уйма, а я еще ничего не читала. Ты вот, Егор, тоже... — промолвила она и нерешительно взглянула на него. Он шел невеселый, глядя себе под ноги. — Ты тоже многого не понимаешь. Ты большой индивидуалист, Егор!

Это недавно усвоенное слово она сказала так, словно подняла какую-то тяжесть и поставила перед ним, а он и не заметил, думая о том, что она не любит его и относится к нему как к старику Фетистову, который старше ее на целых сорок лет.

Возле барака Степановны — приземистой хижины — они остановились. Полосы желтого света падали из окон на грязный, истоптанный снег. Маруся уже хотела постучаться, как Егор вдруг схватил ее за руку и, волнуясь, заглянул ей в лицо.

— Ты вот мне говоришь... говоришь, а я все об одном думаю, — прошептал он, задыхаясь.

Марусе даже страшновато стало от его волнения.

— Имя у тебя некрасивое! — неожиданно для себя сказала она, оттолкнула парня и быстро, сильно постучала в окошко.

10

— Расскажи да расскажи! Нашла рассказчика, — промолвил Рыжков. Сбочив голову, он полюбовался на починенный им сапог, еще раз исследовал все залатанные места и вполне удовлетворился своей работой. С подсученными рукавами, бородатый и огромный, он был похож немножко на сказочного разбойника. Маруся сидела рядом на нарах и все еще ожидающе смотрела на него. — Что ты меня пытаешь, словно поп на исповеди? — спросил Рыжков и начал готовить дратву для другого сапога.

— И вовсе не исповедь, — тихо сказала Маруся. — Меня в комсомол принимают, мне надо автобиографию писать, а я даже не знаю, кто ты такой есть. Ведь ты же отец!

— Ну так что же! Пиши — рабочий, мол.

— Рабочие разные бывают.

— Знамо дело, на одной работе век не просидишь, — подтвердил Рыжков, меряя полоской бумаги широкий стоптанный каблук, подметку и еще раз прикидывая, как лучше использовать остаток кожи. — Об чем мне рассказывать? Не больно я весело жил... Об

моей жизни не шибко интересно слушать. Работал, да и все.

— Ну, вот и расскажи, как работал.

— Экая ты право! В кого это ты такая настырная уродилась? — Рыжков задумчиво почесал согнутым пальцем высокую переносицу, кашлянул и спросил: — Про Донбасс разве рассказать?

— Ну, хоть про Донбасс.

— До золота я, значит, на угле работал. — Рыжков помолчал, суровая лицом, потом стал рассказывать: — Четырнадцать лет мне исполнилось, когда я впервой спустился в шахту. Артельщик, дядя Зиновей, завербовал нас девятнадцать человек — все голытьба была, вроде меня. Собрались мы на жительство в Зиновеевом бараке. Рабочий день — двенадцать часов. Утром рано встанем — на столе корытца с едой. Буылки молока — это с собой взять. Вечером придешь — опять те же корытца со щами, с мясным борщом. Кормили сытно. Этот самый дядя Зиновей заботился обо всех наших нуждах. В воскресенье перед завтраком скажет бывало: «Санька, Митька, Васька, к девкам!» Этим водки уже не давали. После завтрака доставали им костюмы, даже часы с цепками и кусок мыла лицевого. Все это напрокат из сундука тети Химы — Зиновеевой мадамы. Ребята наряжались, как водится, а после шли в поселок Васильевский. Там спрашивали: — «Какой артели? — «Зиновеевской». — «Ну дать им по бабе и по бутылке пива». Если имелся за душой полтинник, можно было оставаться еще, а нет — срок прошел и выметайся.

— И зачем ты, Афоня, говоришь девчонке нивесть что? — вмешалась, не вытерпев, Акимовна. — Ах ты, бесстыдница! — покачала она головой, обращаясь к Марусе. — Девичье ли дело расспрашивать про этакое?

— Не мешай, мама, пожалуйста! Говори, тятя, не слушай ее.

— А на чем я остановился-то? Ну, ладно. Перед получкой приносит Зиновей расчетные книжки, показывает. «Вот столько-то тебе полагается, а с тебя причитается: тете Химе рупь — это раз, мне рупь — это два да за выпивку...» То да се, обязательно трешницу

засчитает. Сколько ни работай, все равно в долгу останешься. За неделю перед Рождеством начинают подъезжать к казармам возы. Привезут, к примеру, лаковые сапоги — это тогда модно было. Свалят. «Ну, — скажет дядя Зиновей, — примеряй, ребята!» Надел на ноги — значит твое. Бесплатно. Потом пиджаки бобриковые и прочее. Оденут с ног до головы. На празднике начинается гулянье, спасу нет! Три дня гуляем, а к рабочему дню остаемся опять в одних шахтерках. Пропивали — денег же у нас не водилось! Перед Пасхой снова идут возы с одеждой: ботинки на резинках, рубахи суриковые. А после праздника опять в шахтерках остаемся.

— А стирал кто — тетя Хима? — заинтересовалась Акимовна.

— Стирать нечего было. О белье мы понятия не имели. Рубаха парусиновая толстая да штаны — вот и вся одежда.

— А еще лаковые сапоги носили! — сказала Маруся.

— Ну, уж и носили! Они совсем новые обратно к артельщику переходили... Теперь на золоте тоже артельщиками называют тех, кого для порядку выбирают, так ведь это звание одно, а раньше они в артелях-то хозяевами были, а мы вроде батраков. Без выгоды Зиновей за нас не стал бы держаться. А то как-то шахта наша не работала, так он целый месяц нас кормил, а мы без делов возле шахты лежали. В это время я и подался в Новороссийск, нанялся кочегаром на морской пароход. Так и до Владивостока добрался, а уж попал на Дальний Восток, значит золота никак не миновать. Не успел еще на берег ступить, как завербовался на Зейские прииски. С той поры и стараюсь вот уж более тридцати лет.

— Ну, а хищником-то как ты сделался?

Рыжков нахмурился и недовольно засопел.

— Очень даже просто, нужда заставит. Вольничал да и все...

Такой ответ не удовлетворил Марусю, но, взглянув на отца, она поняла, что разговор надоел ему. Однако, помолчав, она спросила еще:

— А
том год
— Е
Рыжко
ели? Не
придется
случай
ведь лю
вать! —
ратную
я голода
перекати
века ест
гизанам
ли, корь
с дружко
тунгусы
бескорм
силе. Мне
дал бы —
этого... —
пили у н
Марусей
больше н
больше! —
чурбан, н
веску, ун
Марус
перед сам
посмотрел
и с плаче
— До
кой, пров
девушки.
— В д
пела Аким
обидно, ч
стыдница,
Коза

— А когда вы на Алдан шли в двадцать четвертом году, это правда, что людей ели?

— Еще новое дело! — уже раздраженно сказал Рыжков. — То Расскажи про работу, то как людей ели? Не приходилось мне еще видеть такое да и не придется, думаю. Может, и правда был какой один случай (мало ли мертвяков-то валялось у тропы), так ведь людей-то тысячи шло! Есть об чем разговаривать! — Рыжков забрал в кулак широкую, почти квадратную бороду, сердито потеревил ее. — Ты думаешь, я голода не видал? Ты, девка, еще ягода зеленая, а я перекати-полем полсвета прошел! Когда человек человека ест — это уже полоумство. Я больше года с партизанами по Зее ходил... Без хлеба по неделе сживали, корье ели и мох варили. В девятом году мы с дружкой Перфильичем в Тинтоне хищничали, нас тунгусы бесчувственных подобрали. Чуть не сдохли от бескормицы, а Перфильич супротив меня дите был по силе. Мне бы его дагнуть да и только, и никто не видал бы — тайга! А у меня мысли даже не доходили до этого... — Рыжков задохнулся от гнева, и слезы выступили у него на глазах. Он потряс перед испуганной Марусей огромным кулачищем и крикнул: — Чтоб я больше не слыхал этого! И не спрашивай ни об чем больше! — Он до того осердился, что даже пнул ногой чурбан, на котором только что сидел, и ушел за занавеску, унося на рубахе прилипший вар.

Маруся чуть не обмерла со страха, когда увидела перед самым своим носом узловатые козанки¹ отца, посмотрела ему вслед изумленно открытыми глазами и с плачем ткнулась лицом в грудь Надежды.

— Договорились, — сказала та с грустной улыбкой, проводя рукой по гладко причесанным волосам девушки.

— В другой раз не будешь привязываться! — шепела Акимовна. Ей и Марусю было жалко и за мужа обидно, что его девчонка так разволновала. — Бесстыдница, до чего довела отца!

¹ Козанки — суставы пальцев.

— А кто его доводи-ил? — едва выговорила Маруся сквозь слезы и заплакала еще горше.

Слезы дочери поразили Рыжкова, она плакала редко, и он сам ее никогда не обижал. Хотел было выйти, сказать что-нибудь шутливое, но упрямое чувство оскорбленного человека пересилило, он лег на кровать и закрыл голову подушкой.

11

Костер высоко дымил возле борта канавы; буйно играли языки пламени --- как будто рыжие петухи метались в смертельной схватке, трепеща перьями. Не пожалел Забродин хворосту, благо не сам припас: сухие сучья так и лопались от жары, обрызгивали старателей дождем светящихся и гаснущих искр.

— Заставь дурака богу молиться, он лоб разобьет! — проворчал Зуев, сминая в ладони затлевшую полу ватника, и добавил уже мечтательно, невольно любуясь летящими искрами: — Вот кабы золото так посыпалось, я бы и рот открыл.

— На горячее не открыл бы...

— Небось не посыплется.

— Каждый день пробы берем, а кроме знаков нет ничего.

— Не подвела бы буровая-то разведка, -- враз заговорили старатели, растревоженные заветным словом.

Они сидели у костра на бревнах, привезенных для крепления, жевали черный хлеб, прихлебывая из кружек чай, отдающий дымом. Немного ниже, на канаве, горел второй костер, и дружная группа китайцев из этой же артели окружила, сидя на корточках, котелок с лапшой — китайцы предпочитали хлеб вареное тесто.

— Лопату не успели взять, а сразу озолотеть хотите, — сказал Рыжков, подвигая на угли ведро с кипятком. — Потатусев ведь ставил на работу-то. Знающий человек: на приисках у Титова даже за управляющего одно время ходил. Хозяин, он тебе зряшного человека держать не стал бы.

— Так что ж из этого? — возразил Зуев. — У Петра Петровича папаша в Чите рыбную торговлю имел — не на медную денежку его обучали, да не об нем речь — мы насчет буровой разведки сомневаемся. Кабы шурфовка — тогда другое дело. В шурфе как на ладошке и грунты и проба, а скважина — дело темное.

— Слепому все темно, — не унимался Рыжков.

— Ты больно зрячий! — обиделся Зуев. — У Титова, прежде чем работу начать, сколько шурфов удаляли?

— Сравни-ил! Титов один себе хозяин был, он всякое дело производил с расчетом. Рабочих до двух тысяч держивал. Бывало, как пудовую съемку сделают, так из пушки палили. Это в день-то пуд! — повысив голос, сказал Рыжков и с наивным торжеством оглядел усталых старателей. — Во-от жили!

— Жили, да не все, — сказал Егор и нерешительно добавил: — Я вот дивлюсь на тебя, Афанасий Лаврентьич. Говорят, ты в партизанах ходил, а хозяев выхваляешь.

Рыжков покосился на него синим глазом и, поперхнувшись чаем, закашлялся.

— Я никого не выхваляю, — проговорил он, все еще багровый не то от кашля, не то от упрека. — Но слова из песни не выкинешь — умный мужик, про то и толкую. Что же, раз время было такое: всяк про себя разумел, а других в сторону отпихивал. В политике я не понимаю до сих пор. Для политики у меня мозга толстая, непроворотная. А в партизанах ходил, там понятное дело. Пока свои со своими схватились, я в стороне стоял. Кто их разберет, кому чего нужно. Ну, а япошки ввязались, оно вроде и прояснело. — Рыжков даже улыбнулся и продолжал, вспоминая: — Я раз пошел насчет продуктов в поселок да на четырех напоролся. Пьяные все. Стал меня старшой допрашивать. Я не понимаю, а он сердится. Такой сморчок, и с кулаками налетает. Стою, смотрю, что с него будет. Он приказывает солдатам, те меня подхватили и тянут за руки, чтобы я сел — начальнику ударить сподручнее. Ударил он меня в одно ухо, в другое... Озлился и я, ка-ак схвачу у крайнего винтовку и по-

шел молотить прикладом, спасу нет! У старшого паган был — ему первому. Разбодал всех, да сам на улицу, да в ихние же сани — и тягу!

— Значит, ты против японцев воевал? — спросил с хмурой усмешкой Зуев.

Рыжков посмотрел на него удивленно и просто-душно.

— Знамо дело, против них и против белых тоже, раз они заодно держались. Только я уж к самому концу прispел. Попятили их с Амура — чего же еще надо? — я и пошел обратно на делянку.

— Чудной ты! — сказал бодайбинец Точильщиков. — Партизанил, а против хозяев злости в тебе не слышать. Жи-или, говоришь! На Лене тоже жили, а нас гнильем кормили да еще свинцовыми бобами угостили в двенадцатом году. Вспомнить их, гадов, не могу...

— Закрой курятник! — злобно выкрикнул Забродин. — Ели люди хлеб и другим давали.

— А сейчас кто его тебе не дает? — презрительно спросил Егор. — Ежели так пить, как ты пьешь, весь заработок на горло уйдет. «Хлеб давали!» Пробовал ты ихний хлеб? Тебя раньше опояска кормила. Спиртос ты, варнак зейский! А теперь за бабьей спиной сидишь...

— А тебе какая печаль о моей бабе? — крикнул Забродин и, проворно сбросив рукав рваного пиджака, сжав синеватый литой кулак, подступил к Егору. Серьезного намерения драться у него не было: он хорошо знал, что у Егора найдутся сторонники, да, кроме того, заводить драку в трезвом виде казалось неудобно. Но чтобы не подумали, что он струсил, Василий продолжал наступать, приговаривая: — Чего тебе далась моя опояска?

— Бросьте, ребята! — строго прикрикнул Рыжков. — Зачем зря шуметь!

Забродин отошел от Егора, но несорванная досада кипела в нем, и, опуская на валке в темное «окно» штрека короткие бревна, он изливал ее в самой грубой ругани.

— Что за жизнь распроклятая! День-деньской рой-

ся в потемках, как крыса, — говорил он. — Дернула же меня нечистая сила связаться с крупной артелью. Плановая отработка... Да провались она совсем! Давно надо было уйти...

— Куда уйдешь? — сказал со вздохом старик Зуев, ухватывая деревянную бадью, показавшуюся над отверстием окна. Он вывалил из нее породу, и снова заскрипел валок, разматывая толстую веревку. — Куда ни уйди, пить-есть везде надо. Эх, кабы не вода... остер у ней нос — везде пробьется! На шахтах, рассказывают, моторы поставят, чтобы откачивать ее... воду-то. Большое дело затевают на Орочене. Шахты с моторами... Ишь ты!

Забродин не слушал его. Рассеянно поглядывал он по сторонам и морщился, словно один вид этих примелькавшихся мест вызывал у него боль и тоску.

— Уйду я! — повторял он упрямо. — Каторжный я, что ли? Завтра опять в забой лезть. Спецовки доброй нет. Сгниешь на этой мокроте!

Подождали с минуту. В колодце тихо. Лесотаски отвязали и унесли бревна для крепления, но откатчики что-то замешкались. Забродин облокотился на валок, сплевывал вниз и, наклонив голову, слушал, когда долетит плевков.

— Балуй, черт! Лодырь! — донесся снизу голос Егора.

Тачка, стукнув о бадью, затарахтела обратно.

На стенах штрека, похожего на длинный коридор, дрожали под железками пугливые огоньки свечей. Бессильные разогнать подземный мрак, они только разреживали его мутными пятнами неверного колеблющегося света, в котором возникали вдруг то взметнувшаяся лопата, то бревно на плече идущего горняка. Голоса людей звучали глухо: с потолка сеял настоящий дождь, и в холодном сумраке стоял непрерывный унылый шорох булькающей воды. Егор ежился под частой капелью, торопливо трусил с тачкой к забою.

Огромная фигура Рыжкова в тесноте подземелья казалась еще крупнее — потолок был у него над самой головой.

— Следующий! Следующий! Бей — не зевай! — покрикивал он крепильщику. — Еще ударь! Еще! Пробивай под камни!

— Расколотилась!.. — отвечал крепильщик: балдушка глухо стучала о размочаленный конец жерди.

Набирали очередной ряд «палей» между земляной кровлей и поперечно завешанными огнивами¹.

— Пошла! Давай еще раз! Следующий, следующий!

Из-под пробитых концов палей шлепала вниз тяжелая грязь, брызгая на людей. Падали мелкие камни.

Егор взял широкую вогнутую лопату и начал бросать эту грязь в тачку.

— Совсем слабый грунт пошел! — крикнул ему Рыжков. — Смотритель был, велел подхватов добавить. Не закумполило² бы, ишь как хлещет!

— Теперь только успевай держать, вода сама кайлит, — сказал Егор и помог Рыжкову закрыть тяжелой доской углубившийся лоб забоя.

Крепили сплошь «в ящик». Разжиженная водой порода выпирала из каждой щели. Чтобы удержать ее, за боковые стойки подсовывали пучки, связанные из веток кедрового стланика...

Рубаха под мокрым ватником противно холодила тело. Ноги в разбухших ичигах хлюпали по воде, скользили по грязным доскам выкатов. Егор крепче сжимал зубы, толкая перед собой тачку, сердито смотрел, как колышется в ней земляная масса.

Дразня воспоминанием, мелькала перед ним ярко освещенная рампа, женщина в розовом платье и совсем рядом, чуть повернуть голову, — она... Марусенька! Но только темные бревна стоек и подхватов движутся по сторонам навстречу Егору. Тускнеет, расплывается в сырой полутьме милый образ.

Натруженные мускулы поют, кажется — сделай сейчас резкое движение, и лопнут они, стянутые усталостью, а голова словно распухла, отупела.

¹ Огнива — бревна потолочного крепления.

² «Кумпол» — обвал кровли.

«От сырости это», — думает Егор и сразу ощущает, что пропитан он ею до самых костей.

Как в погребе, как в могиле... А наверху уже весна, солнышко, птицы звенят...

12

Приняв пилу, Егор отошел в сторону. Его спарщик подтолкнул накренившееся дерево. Оно хрустнуло и медленно, качнувшись обнаженными ветвями, повалилось на сырой мох, на остатки снежных сугробов. Выше и ниже по горе пилили лес еще два спарка из артели. Другие обрубали сучья и волокли серые стволы лиственниц под гору, туда, где на высоких козлах над желтыми буграми опилок работали распиловщики.

Старатели не имели лошадей и таскали крепежник на себе — где на санках, где волоком. Лесотаски избороздили все склоны ближайших к прииску гор, и сейчас, когда снег уже сходил, мутные потоки устремились вниз по вырытым дорожкам. Пила торопливо плевалась опилками, хищно вгрызаясь острыми, поблескивающими на солнце зубцами в ствол лиственницы, на которой уже побурели прошлогодние молодые побеги.

Красноголовый дятел застучал на соседней сосне, зацепился коготками за неровность коры, повис, глянул на людей и снова задолбил крепким клювом, осыпая тонкие коринки, выгоняя из щелей толстокрылых жучков, рыжих короедов и долгоносиков.

Косая тень скользнула по дереву. Это родственница дятла — черная большая желна пролетела над лесом, направляясь в дальний распадок. Весна! Радуюсь первому теплу, начинает звенеть вся лесная мелкота: цинкают синицы, стаи чечеток серебристыми брызгами рассыпаются по кустам, и даже угрюмые горные воробьи охорашиваются перед своими воробьями. Огромная полярная сова, выпятив белоснежную грудь, греет на солнышке пестро-серую спину, вертит круглой кошачьей головой, поводит янтарными глазами. Вот уже ночью она проверит, кто чем занимается, а сейчас

хорошо и на суку посидеть, щурясь на ослепительно яркий свет дня.

Кедровка насмешливо крикнула над совиным ухом свое хриплое: крэк-кэрр! — села на метелку стланика, согнув ее так, что задрожали зеленые иглы, для равновесия растопырила пестрые крылья, уселась поудобнее, почистила длинный клюв: она только что поймала и съела землеройку, и тонкий рыжеватый пушок прилип к роговице.

Шумно в тайге весной, не то что летом, когда прячется по гнездам все пернатое население. Скоро, через какие-нибудь пять-шесть дней, оденется земля травой; зацветут кусты белоголовника и жимолости; лесные поляны и луга покроются незабудками, фиолетовыми колокольчиками, бледножелтыми пышными букетами рододендронов.

Все свои цветы разбрасает по таежным просторам северная весна, и нигде не бывает она так желанна и радостна. И как зовет в эти солнечные дни голубая даль! Тяжело переступая натруженными ногами, поднимется на водораздел старый таежник, снимет шапку и, сжимая ее руками, долго будет глядеть на зеленые долины и горы. Еще раз встречает он весну в тайге, и такой же ветер, как двадцать — тридцать лет назад, перебирает его уже поседевшие волосы.

...Егор распрямил усталую спину и посмотрел в ту сторону, где на устье Орочена развertyвалось строительство нового прииска. А старый стан не виден был из-за горы.

Маруся еще там, а потом прямо с работы побежит на какое-нибудь заседание. «Совсем отбилась от дома», — подумал Егор.

Старатели подобрали спеленный лес и присели покурить:

— Хватит на сегодня.

— На делянах тоже кончают.

Из лесу подтягивались остальные и тоже усаживались на бревнах, отдыхали, овеянные свежей тишиной угасающего дня. Легчайший ветерок задевал мягким

крылом их загорелые, обросшие щетиной лица; в воздухе пахло прелью прошлогодней хвои и затоптанными смолистыми сучьями.

— Хорошо! — вздохнул кто-то. — Весной везде жить можно.

— Верно. Живешь, и умирать не хочется, — сказал большеглазый и темнолицый, похожий на филина, старик Зуев. — При старом режиме пришлось мне, ребята, в тюрьме сидеть. Весь год ничего, терпишь, а только пойдут по небу дождевые облака да обдует землю весенним ветром... али увидишь, как птицы стаями полетят, тоска возьмет! Так бы и улетел следом.

— Это когда за купца сидел? — спросил Егор.

— За собаку, — строго поправил Зуев и неожиданно стал рассказывать: — Жил я тогда, братцы мои, на приволье, на Охотском побережье, денежку, заработанную на рыбалке, прогуливал. И на исходе своего гулянья, в лютую зиму, подобрал там брошенного каюрами больного кобеля. Был он из молодых, еще недоросток, а такой худой да паршивый — смотреть нехорошо. Попался он мне под пьяную руку, я и посочувствовал: «Вот, говорю, моя предстоящая участь, этак же буду валяться на дороге». Взял его и потащил к себе в барак. И не знаю, откуда нашла на меня такая печаль-забота, только выхаживал я этого пса, невзирая ни на какие трудности. Одних попреков за него перенес, как за отца родного: кому тоже интересно больную собаку в избе держать! И он понимал: бывало увидит меня — визжит: радуюсь, мол, только подняться, извините, не в силах. Однако мало-помалу начал ходить. Шерсть на нем новая объявилась, так и блестит, а старая слезла клочьями. И что вы думаете: как снегу сходить, поправился он совсем. Из себя стал рослый, белогрудый, уши торчком, как у волка, — я его и называл Серым. Стали мы жить вдвоем и до чего же дружно: то есть он от меня ни на шаг. Я — в лодку, и он — в лодку. Я — в кабак, и он туда же, не нахальничает, но от дверей отогнать невозможно. Бывало дело — уснешь на припеке, так он сидит рядом, хоть целый день не евши, и муху не подпустит, не то

что человека. И в упряжке вожакom ходил отменно. Много желающих находилось отбить его, деньги боль-
шие мне давали: все равно, мол, он тебе ни к чему. А того не понимали, что я его не за талант уважал, а за преданность. И вот раз украли его, и только через пять дней (мне они за год показались) он вывернулся — припалил, тощий и злой, как черт. После и привяжись ко мне один купец из Петропавловска. Был он прирожденный камчадал и до собак большой охотник. Долго он меня охаживал: продай да продай Серого. Потом вздумал спавать. Зазвал к себе в горницу, а я уж боюсь, как бы моего пса опять не увели, — затащил его с собой. Он этак вытянулся в сторонке, морду на лапы положил. Лежит, на меня посматривает. Ну, выпили. Купец опять свое. Сперва миром ладил, кошельком потряхивал, а потом озлился. «Вот, говорит, надо было мне Серого твоего прикончить сразу. Он у меня двух работников испортил». — «Ах ты, говорю, сволочь, собачий вор!» Он, не долго думая, раз меня по зубам. Я только было вскочил, а Серый уж лапами у него на груди: за горло норовит. Купец его и полосни финским ножом под брюхо... Упал Серый и не то вздохнул, не то застонал, прямо как человек, да и лапы на сторону. Где ж тут было стерпеть... Не пришлось купцу выйти из горницы...

Старик замолчал. И долго еще сидели старатели в раздумье, глядя на убогие избушки, разбросанные в долине среди кустарников, потом нехотя поднялись и гуськом зашлепали вниз по сырой, мшистой земле.

Егор брел последним. Рассказ Зуева нагнал на него тоску. Вот и весна, и сам он такой молодой, здоровый, а зачем все это, если над ним тяготеет одиночество? Не о ком ему, Егору, заботиться, и он никому не нужен.

Жалобно тенькала лила, задевая о ветки деревьев, вздрагивала на плече, словно живая. Впереди кто-то из молодых ребят упомянул имя Маруси. Егор прислушался.

— Бойкая девка... На днях, слышал я, говорит матери: «Поеду в город». В кино хочет сниматься.

«И уедет, очень даже просто», — с тревогой подумал Егор.

— Чудно мне, — продолжал тот же голос. — Как ей отец во всем потакает? Я думал, выгонит он ее, когда начала она вечерами по собраниям пропадать, а он ничего. И сейчас: она чудит, а он будто сердится, но все видимость одна.

В бараке после ужина Егор завалился на нары. Обидно ему стало и на Рыжкова, и на его дочь, и на весь белый свет. Почему это обделили его удачей и, уйдя постылым пасынком из родного угла, не встречает он на своем пути ни любви, ни участия? Обидно ему на Марусю, но не может он выбросить из головы думы о ней. Пока она сидела возле матери, он даже радовался этому «страданию»: так ярко осветило оно его жизнь с первой же встречи, когда вошел он в барак со своим деревянным сундучком, такой прекрасной показалась ему смуглая кареглазая девушка. Но с тех пор как она стала пропадать на Орочене, любовь превратилась в пытку. Сколько там хороших ребят, — конечно, ей после них даже смотреть на него, Егора, неинтересно. И что он может предложить ей сейчас? Разделить пополам кусок черного хлеба? Ни надеть, ни обуть ему нечего, только то, что на себе, да пара залатанного белья в сундучке. Нельзя без денег жениться, а пока до золота дойдут, к ней и не подступиться будет. Раньше хоть разговаривала, смеялась, а сейчас будто и нет его совсем.

«Имя, видишь ты, не понравилось! Что бы такое сделать?.. Как бы стать видным человеком? Пусть бы спохватилась, раскаялась, сама стала меня преследовать, а я и внимания не обращал бы на ее приставания. Заплакала бы небось, кабы ей пришлось страдать! Потом, конечно, пожалел бы ее. Но пусть бы, пусть пострадала».

Так думалось... Однако, когда увидел ее однажды во сне всю в слезах, и сам заплакал от жалости. А наяву стоит ей подойти близко, он уже сам не свой: и робеет, и приласкаться к ней хочется, и из сильного, ловкого парня превращается он в растяпу.

Маруся зажмурила глаза и глубоко вздохнула. Пахло свежестью ночного дождя и травами, нагретыми солнцем. Девушка лениво приоткрыла веки, сорвала веточку тмина, прикусила ее белыми некрупными зубами. Летом день длинный, светло почти круглые сутки, поэтому, возвращаясь с работы, она не спешила, радуясь безотчетно, как птица, свободным минутам, зелени и ясной погоде.

Она поднялась с камня, отряхнула черную юбочку и пошла к дороге сквозь цветущие высокие травы.

В мелком, изрытом старателями русле булькал, болтал непонятное приисковый ключ, вода в нем была мутная от промывки: на делянах еще работали. Артели перешли теперь на открытые летние работы. Неподвижно торчали над зимними ямами жерди журавлей.

Везде, куда Маруся с матерью перекочевывали вслед за отцом, было одинаково: горы и лес, неуютные бараки, одни и те же разговоры о золоте, о делянах, усталый отец, удачи и разгулы, а чаще лишения — все это не изменилось с тех пор, как она себя помнит. И выпивают старатели попрежнему и в карты играют. Шагая по тропинке, Маруся вспомнила о своем знакомстве с Забродным.

Она возвращалась тогда домой с репетиции. Ночь была морозная, Маруся очень торопилась, снег так и повизгивал под ее валенками. И вдруг на повороте дорожки она наскочила на пьяного. Он лежал на снегу без шапки и без рукавиц. Кругом тишина, реденький лесок, опущенный белым инеем, и совсем далеко тусклые огоньки бараков. На минуту Маруся опешила, ей стало боязно, и она побежала во весь дух. Но неожиданно подумала, что человек на дороге может замерзнуть... Она еще не преодолела страха, а ноги уже неслабо обратились. Человек лежал неподвижно... Маруся боязливо потрогала его: «А вдруг он зарезанный?..» Но он был теплый, и она начала трясти его. Наконец он замычал что-то невнятное.

— Вставайте, дяденька, вы замерзнете, — сказала девушка, приподнимая его подмышки.

— А я и не хочу! — закуражился «дяденька».

— А вон милиционер идет... — постращала Маруся. — Во-от он тебе задаст!

— Ну и пущай идет!

— Пущай!.. Эх, ты! Да вставай же — нельзя лежать на улице, — уже совсем осмелев, потребовала она.

Кое-как поставив его на ноги и крепко поддерживая, она вела его с километр, то уговаривая, то ругая. Возле жилья он опять свалился. Маруся разбудила отца, и он затащил пьяного в барак. Все это было неудивительно, но после, лежа в постели, девушка расплакалась, сожалея о некрасивой жизни старателей.

«Дяденька», проспавшись, осипшим голосом попросил «чайку» и выпил кружек пять, устало жмуря выпуклые диковатые глаза.

— Настоящий бирюк! — определила Акимовна и пожурила дочь за позднее хождение.

Во второй раз «бирюк» пришел сам с чистенько одетой, расторопной женщиной, и тогда старатели заинтересовались им и помогли ему определиться в артель.

В летнее время барак, где жили Рыжковы, казался еще невзрачнее. На плоской крыше горбилось корье, придавленное жердями. Кое-где между коринами зеленели кусты полыни и лебеды. Бревна сруба, не опиленные на углах, торчали неровно, и на них висело сырое тряпье.

Маруся посмотрела на свое жилище: удивленная его неприглядностью, обошла кругом, недоуменно размышляя, как это она раньше не замечала, что жила в таком вороньем гнезде. Сени, заслоненные с боков высохшими сосновыми лапами, придавали бараку особенно беспорядочный вид. Неподалеку в кустах чернела закопченным челом печь, сделанная из дикого камня на бревенчатом срубе, к ней вела чисто разметенная тропинка. По приискскому обычаю, хлеб пекли на улице в любое время года. В сенях было тоже выметено, и у дверей лежала плетенка из прутьев.

Маруся потянула деревянный гвоздь, открыла скрипучую дверь и шагнула за порог. Рабочие еще не приходили. Надежда сидела на низком чурбаке у окошка, положив голову на колени Акимовны. Забегающий ветерок шевелил завитки ее просвеченных солнцем волос. Тяжелые волны их, отливая золотом, спадали на пол. И снова бросилась Марусе в глаза нищенски убогая обстановка барака. Мох торчит из пазов, на железной печке ржавчина, бока у нее дырявые, и стоит она на земляном возвышении, как живое свидетельство таежной неустроенности. Единственное красивое во всем бараке — это распущенные волосы Надежды.

— Вот еще бабья привычка! Что же вы чистым ножиком ищетесь? — сказала девушка и по-отцовски сурово пошевелила русыми бровями.

— А голова-то поганая разве? — спросила Надежда и, подняв лицо, затененное спутанными прядями, улыбнулась Марусе. — Я страсть люблю, когда мне ищут, так славно дремлет. — И она снова сонно ткнулась в колени Акимовны.

— Чего ты опять за книжку? — сказала Акимовна, встревоженно поглядывая на дочь. — На службе измучаешься и дома не отдохнешь. Солнышко, теплынь, погуляла бы.

— Ну да, только у меня и дела, что гулять, — озабоченно возразила Маруся и начала читать, беззвучно шевеля пухлыми губами.

— А ты возьми книжку да пойдешь на улке почитай, нельзя же целый день в помещении сидеть, — посоветовала Надежда, причесываясь у порога. — Лучше вечером позанималась бы.

— Вечером кино будет. Передвижку привезли с Незаметного, — сообщила Маруся и задумалась. — Трудно мне дается эта политучеба.

Мать сочувственно покивала головой, вздохнула, скрестив руки под тощей грудью.

— Молода еще. Успеешь, научишься.

— Молода! — повторила Маруся с досадой. — Это не от молодости, а потому, что вы родили меня

бестолковой. Сейчас только и учиться, пока мозги свежие. Я, может, в город поеду...

Мать хотела обидеться, но тут же спросила с беспокойством:

— Почто в город-то собираешься?

— А по то... не век же мне на отвале сидеть. Я же говорила тебе... Мохом обрастешь с такой жизнью!

Ответ был настолько дерзкий, что Акимовна обиделась, поджала тонкие губы, потом сказала:

— Мы-то не обросли. Служишь, и слава богу, чего тебе еще?

— Я тоже думала — слава богу, а теперь, что ни день, у меня покою меньше. — Девушка подобрала на скамейку ноги в туго натянутых чулках, перебросила за спину пепельно-русые косы и заговорила, мечтательно улыбаясь набежавшим мыслям: — Поговоришь с человеком, который везде бывал, голова закружится — до чего всяких замечательных городов много. А в кино посмотришь: пароходы плывут, поезда по линии идут, на автомобилях люди катаются — обидно делается, ничего-то я такого не видала! А дома какие! Хоть бы одним глазком взаправду взглянуть. Поеду в кино... в Москву. Меня возьмут — я ведь красивая. Буду летать на аэроплане в самых опасных ролях. — Глаза и щеки у Маруси разгорелись, похоже было, что она бредила.

— Глупости одни, — сердито сказала мать. — Ничего там хорошего нет. Ходила я на Незаметный с отцом. Он меня затащил на эти картины. И сам-то никогда не бывал, да ведь надо передо мной погордиться.

— А что вы там видели? Хорошая была картина?

— Страсть хорошая, век бы не видать. Сперва в потемках сидели, потом затрещало... Бабенки какие-то беспутные запрыгали. Юбки до того кургузые: видно, откуда ноги растут. В глазах у меня так и замельтешило. Зажмурюсь, потом погляжу, а они все еще подсакивают — смотреть совестно.

— А отцу понравилось?

— Да ему что? Известно, мужик, — сидит, уставил бороду.

Надежда вышла из своего угла с ворохом починки. Присела к столу, звякая ножницами, отрезала заплату.

Маруся ласково заглянула в ее наклоненное лицо.

— Ли Фун-чи опять про тебя спрашивал. Нам в контору уборщицу надо. Пойдешь? С Васенькой своим развязалась бы...

Надежда тяжело вздохнула, ответила не сразу:

— Ушла бы, да боюсь. И жаловаться боюсь. Одно у него слово — убью. Здесь мне от него уйти никак невозможно. Вот, даст бог, начнут мужики промывку, тогда мы с твоей матерью разом с них деньги получим. Тогда уеду.

— Получишь деньги, он и заберет опять! — вскричала Маруся и негодуя всплеснула руками. — Что же это такое? Протестовать надо, защищать свое право жить по-людски.

— Пробовала я... протестовать-то. — Голос Надежды прозвучал необычно звонко и сразу перешел на глухой шепот. Слезы брызнули из-под ее прижмуренных век на выцветший сатин мужской рубахи. Она провела по лицу огрубелой ладонью, жалко усмехнулась Марусе мокрыми синими глазами и сказала: — Обломал он меня... руки-то у него железные!

— Глядя на вас, противно даже думать о семейной жизни, — тихо возразила Маруся, расстроенная слезами Надежды, а особенно жалкой ее усмешкой. — Нет, я замуж долго не пойду.

— Все девки так говорят, — печально сказала Надежда и, вдев нитку в ушко иглки, посмотрела на взволнованно нахмуренное лицо Маруси. — Не все ведь плохо живут замужем. Мой-то, он сроду бешеный был. Такие, слава богу, редко встречаются. Нельзя всех под одно равнять. Ты бы пожалела Егора-то: совсем извелся парень. Хоть бы немножко поласковес с ним обходилась. На днях он печалился: «Мне, говорит, от нее ничего не надо, сватать сейчас не собираюсь, а у меня, говорит, сердце переворачивается глядеть, как за ней в клубе служащие стреляют». Свихнется, мол, она.

Маруся слушала внимательно, но при последних словах Надежды у нее не только лицо, но и шея до

выреза полосатой ситцевой кофточки стремительно покрывались ярким румянцем.

— Не его забота! Мне бы он такое сказать попробовал! — сказала она и сердито стукнула по столу крепким кулачком.

Словно ураганом, смело лес на левом берегу Ортосалы. Бойкий перестук плотничьих топоров непрерывно раздавался над площадкой будущего поселка. Рабочие, набранные на строительство из местных старателей, помещались пока в бараках старого Орочена и в палатках «ситцевого города». Приисковое управление готовилось к приему целой армии вербованных с Дальнего Востока и из Сибири.

Ли Фун-чи воспринимал создание нового механизированного производства не только как огромное событие для района и для всей Якутии, но и как серьезнейший экзамен для него — рядового профсоюзного работника.

— Ты понимаешь, Луша, — говорил он жене, блестя чернущими, косо прорезанными глазами. — Боюсь я отстать от событий... Сначала мне казалось — хорошо: весь народ работает, все сытые, одетые. Снабжение неплохо налажено: в магазинах и продукты и мануфактура. Правда, вроде весело?.. На первый взгляд — очень хорошо живется на Алдане. Я люблю, мне нравится здесь жить. С самого начала понравилось. Сытно. Заработать можно. Белая мука для пампушек... кожаные сапоги... жирная соленая рыба. Когда сюда попал, даже не верилось — счастье какое! А вот пожил несколько лет и вижу: не все хорошо.

— Заелся! — весело пошутила Луша, складывая руки с шитьем на высоком животе и любовно вглядываясь на мужа; она шила приданое для будущего ребенка.

— Разговаривал с Черепановым, — продолжал Ли Фун-чи, не обращая внимания на реплику Луши. — Предприятие боевое — золото. Прииски богатые. Как не быть снабжению! Но работаем по-кустарному. Народ приходит, уходит. Старатели бегают с прииска на

прииск, ищут, где побогаче делянки... Я люблю Алдан, мне обидно, когда сюда приезжают только заработать. Хочется, чтобы была настоящая жизнь, интересная, чтобы люди оставались здесь надолго, учились, семьи сюда привозили. — Ли Фун-чи, коренастый крепыш с иссиня-черной стриженной головой, прошелся по комнате, подхватил на руки трехлетнего сына. — Вот Мирошка вырастет патриотом Алдана. Тогда здесь жизнь будет другая, совсем замечательная. Построим большие шахты с машинами... Ты понимаешь?.. Стану разве я работать как кустарь-одиночка в яме с ручной помпой да с лопатой, когда могу быть кадровым рабочим на производстве? Разница огромная? Правда? Но я не все сам продумал, мне Мирон Черепанов подсказал. Он правильно подсказал. Другое производство — и люди будут другие, вырастут, и руководить ими надо будет иначе. Сложнее, труднее, интереснее. Мирон предложил мне прочесть речь Сталина на совещании хозяйственников. Разобраться в ней. В прошлом году он мне ее читал. Теперь я сам разобрал ее от строчки до строчки и увидел: она как будто для нас написана, для меня... Я сегодня весь день о ней думаю и о Сталине. Спасибо Мирону! Вот он научил меня ходить, и до сих пор я, как ребенок за няньку, хватаюсь за него в трудных случаях. И всегда он меня поддержит и посоветует что-нибудь хорошее. Я его благодарю, а он усмехается, говорит: «Если бы не я, другой бы тебе это же подсказал». А мне такая помощь очень важна, понимаешь? Вот речь Сталина на совещании хозяйственников — «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства». Он выдвигает перед хозяйственниками шесть условий... — Ли Фун-чи остановился, покачивая прильнувшего к нему сынишку, но глядя куда-то через его головку, забыв и о жене, не сводившей с него взгляда. — Шесть условий... Первое — это механизировать труд, организовано набирать рабочую силу. У нас в приисковой среде еще много самотека. Второе — ликвидировать текучесть рабочей силы, уничтожить уравниловку, правильно организовать зарплату, улучшить бытовые условия. Он сказал: «Нельзя терпеть, чтобы машинист на железнодорожном

иранско
А у нас
артелях
столько
необход
вий... —
сынишку
большую
вая ее н
паем теп
требуем
работы,
громадн
ния Сов
няет их
ствляя т
свою оч
тельств
и культу
жествую
старател
леко. Лу
сказал —
и наскво
ми на п
— Т
— Т
организа
предпри
час про
данную
сто и а
«добить
свои со
лигенци
старым
и забот
подняти
Вот
Ведь к
обойти

транспорте получал столько же, сколько переписчик». А у нас сплошная уравниловка! Вот даже в крупных артелях на Пролетарке опытный забойщик получает столько же, сколько новичок на лесотаске. Он сказал: необходимо улучшение снабжения и жилищных условий... — Ли Фун-чи, вдруг разволновавшись, опустил сынишку, пошел в комнатку Черепанова и вынес небольшую брошюру. — Вот! — говорил он, перелистывая ее на ходу. — «Не забывайте, что мы сами выступаем теперь с известными требованиями к рабочему, — требуем от него трудовой дисциплины, напряженной работы, соревнования, ударничества. Не забывайте, что громадное большинство рабочих приняло эти требования Советской власти с большим подъемом и выполняет их героически. Не удивляйтесь поэтому, что, осуществляя требования Советской власти, рабочие будут в свою очередь требовать от нее выполнения ее обязательств по дальнейшему улучшению материального и культурного положения рабочих». Вот как! — торжественно воскликнул Ли Фун-чи. — Пока с мелкими старательскими артелями нам до всего этого очень далеко. Лучше, конечно, чем лет пять назад. Но Сталин сказал — не надо оглядываться назад: «Только гнилые и насквозь протухшие люди могут утешаться ссылками на прошлое».

— Ты говорил: шесть условий, — напомнила Луша.

— Третье — ликвидировать обезличку, улучшить организацию труда, правильно расставить силы на предприятии. У нас на горных работах обезличка сейчас просто свирепствует: никакой ответственности за данную работу. За все отвечает артель целиком. А часто и артель не отвечает! Потом четвертое условие: «добиться того, чтобы у рабочего класса СССР была своя собственная производственно-техническая интеллигенция». Пятое условие — изменить отношение к старым спецам, проявлять к ним побольше внимания и заботы, и шестое — «внедрить и укрепить хозрасчет, поднять внутрипромышленное накопление».

Вот боевая программа для нас сейчас, женушка! Ведь как тут здорово сказано: «Думать, что можно обойтись без механизации при наших темпах работы

и масштабах производства, — значит надеяться на то, что можно вычерпать море ложкой». У нас здесь золотое море и сначала его вычерпывали ложками все, кому не лень... Мы били ловкачей по рукам, дрались за каждый золотник. Но это все было тоже кустарничество. Как дальше быть? Вот ответ: «Реальность нашей программы — это живые люди, это мы с вами, наша воля к труду, наша готовность работать по-новому, наша решимость выполнить план». Понимаешь, дорогая? Ты обязательно прочитай эту речь. Ты счастливая: закончишь вечернюю школу, поступишь на курсы, потом на производство. Правда ведь?

Ли Фун-чи сам занимался вечерами: готовился к дальнейшей учебе.

— А сейчас мы пойдем вместе с Мироном на Пролетарку, — сказал он. — Надо проверить, как идут дела в трудовой артели. Пока невесело они там идут.

15

Ли Фун-чи зашел в партком, помещавшийся в клубной пристройке. Давно надо было иметь парткому отдельное помещение. Завклубом уже несколько раз жаловался Ли Фун-чи на тесноту — и намекал, и прямо говорил, что площадь клуба не должны занимать посторонние организации.

Ли Фун-чи это и сам знал. Но... как можно было называть партком посторонней организацией?! Помимо личной симпатии председателя прииска к секретарю партийной организации, казалось немыслимым посягнуть на выселение ее комитета, и Ли Фун-чи не проявлял здесь свойственной ему напористости. Теперь, когда началось строительство нового прииска, строился и новый дом для парткома на левом берегу речки, откуда будет вид на всю просторную долину...

— Ну что, Мирон, пошли? — спросил Ли Фун-чи, подсаживаясь к рабочему столу приятеля.

С затылка смуглый и черноволосый Черепанов мало отличался от китайца, и это тоже нравилось Ли Фун-чи.

— Сейчас придет заведующий старательским сектором Потатуев, тогда и пойдем.

— Старый спец! — промолвил Ли Фун-чи, припоминая пятое условие из речи Сталина. — Как ты думаешь про него, Мирон?

— Работяга. И горное дело любит.

— Думаешь — лойяльный?

— Да. А ты разве иначе думаешь? — в свою очередь спросил Черепанов, сразу отрываясь от бумаги.

— Во всяком случае не больше, чем нейтральный, — сказал Ли Фун-чи, сильно выделяя необычные слова. — Когда подходишь к нему, сразу чувствуешь — стенка. Не могу с ним, как с другими. Грубый, но не простой. Сталин сказал: год-два назад вредительство составляло своего рода моду. А говорят: на далекие окраины мода доходит с опозданием и меняется тоже позже.

— Слушай, друг, — серьезно спросил Черепанов, — у тебя что, подозрения какие есть?

— Нет, но я его не люблю.

— Хм! — буркнул Черепанов с сердитой усмешкой, покосившись на Ли Фун-чи. — Хорошенький довод для обвинения человека: не люблю! Я в него тоже не влюблен. Мало ли кого не любишь? Это не критерий для оценки — личные симпатии и антипатии. Конечно, спокойнее на душе, когда имеешь дело с человеком, в котором уверен. Но ведь нас с тобой поставили на работу не ради нашего спокойствия. Товарищ Сталин говорил о старых спецах, повернувших в сторону советской власти... Это верно: чтобы полностью использовать их опыт, надо проявить к ним побольше внимания, заботу оказать. Однако спецы есть разные. И товарищ Сталин определенно сказал, что хотя начался уже поворот среди старой технической интеллигенции, но это не значит, что у нас нет больше вредителей. И подчеркнул даже: «Нет, не значит. Вредители есть и будут, пока есть у нас классы, пока имеется капиталистическое окружение». Поэтому зоркости глаза терять нельзя. Я бы тоже не прочь иметь вместо Потатуева специалиста из рабочих, но нам пока не хватает своих, советских кадров. А ведь программу-то по золо-

ту мы должны выполнить. Это прямая наша задача. Значит, надо и Потатueвых привлекать к работе, но помнить предостережение товарища Сталина и глаза с них не спускать.

...Через несколько минут Черепанов, Ли Фун-чи и Потатueв шли по прииску.

Потатueв, пожилой и грузный человек, шагал вразвалку, зорко поглядывая вокруг карими глазами. Обветренное лицо его с сивыми вислыми усами было кирпично-красным от постоянного загара.

— Не беги, Мирон Устинович, успеем, — попросил он Черепанова, едва справляясь с одышкой. — Ладно вам, молодым да легким на ногу, а во мне без малого шесть пудов.

Черепанов пошел тише. Ли Фун-чи тоже сбавил ходу, искоса взглянув на плотного Потатueва, сказал:

— Нам до собрания надо посмотреть, как идет проходка штрека в трудовой артели.

— И посмотрим. Я там вчера был. За сутки недалеко ушли. Интересный народ эти старатели! На черном хлебе сейчас сидят, а упорство какое!.. Попробуй-ка их на хозяйских так содержать, сбегут сразу, а тут держатся. Затягивает золотишко... — Потатueв занулся о что-то, побряхтывая, поднял новенькую подкову и произнес с коротким смешком: — К счастью, говорят, — опустил подкову в карман, добавил серьезно: — Здесь подкову поднимаешь, там ручку от валка, все экономия.

«Нашел чем похвалиться!» — подумал Черепанов, но кивнул одобрительно.

Он ценил Потатueва за его любовь к горному делу: не считаясь со своим возрастом, мотался по приискам с утра до ночи.

— Вчера утром вызвали меня срочно на конный двор, — говорил Потатueв. — Характер у меня беспокойный: если вижу неладно, обязательно вмешаюсь хотя бы и в чужое дело. А тут моего Вороного опоили, теперь придется на водовозку ставить. Накричал я на конюхов, поволновался, потом зашел в шорную, то

да се. Проваландался часов до девяти, забыл и про завтрак. Пошел было в контору, да вдруг озяб, прямо в дрожь кинуло, тогда только сообразил, что пальто надел прямо на нижнее белье. Как ты думаешь, Мирон Устинович, понравился бы я нашим барышням в конторе?

Потатуев рассмеялся так весело, что Черепанов тоже улыбнулся, усмехнулся и Ли Фун-чи.

— Испугали бы.

— Я тоже так думаю. Секретарша у нас особа слабонервная. Сегодня пакет со всей почтой затащила в архив, искали, с ног сбились.

У конторы управления толпились старатели, пришедшие сдавать золото, сидели и на низкой щебенистой завалине, покуривали. Водовоз проехал с Ортосалы, расплескивая из бочки студеную воду.

— Эх, попил бы! — сказал кривой Григорий, глядя, как взлетают над бочкой сверкающие хрустальные брызги. — Попил бы, да подыматься неохота.

— Ишь, лень-то как его одолела! — откликнулся старик Зуев, подошедший от магазина, и засмеялся, показывая голые десны.

— Небось день навозишься, так к вечеру и одолсет. Ты вот зубы уж начисто съел, даже корешков не оставил, а над людьми ровно младенец ощеряешься.

Беззубая улыбка на коричнево-смуглом лице Зуева стала еще шире:

— Не я съел, цынга съела.

— Я этого старика давно знаю... лет двадцать, — сказал Потатуев, когда они проходили мимо конторы. — Из старых хищников. У-у, бродяга! Такими раньше и гремела тайга. Теперь он не тот... обломался. Я тоже большой любитель природы, тайгу ни на какой юг не сменяю. Уж если умирать, так только под елкой. А ты как, Мирон Устинович?

— Умирать не собираюсь, а елки люблю, особенно зимой, в снегу. В лесу тишина, и на душе тихо становится. Вы вот сказали: гремела тайга... хищниками. Пусть она лучше молчит, чем так греметь! Землю грабили и людей грабили. Взять вот этого старика. Вы говорите — обломался он, старость его одолела. А вы

знаете, пришел он ко мне на днях и говорит: «Говариш Черепанов, пошлите меня по линии общественности на ликбез. Самому мне стыдно пойти — засмеют, а охота, говорит, обучиться грамоте».

— Грамоте? — переспросил Потатуев изумленно и захохотал. — Ему же умирать пора.

Черепанов посмотрел на него.

— Опять вы о смерти? Это всегда успеется, а тут такой отрадный факт. Пробудился у человека интерес ко всему, и даже деньги копит. Сбережничка у него.

— Пропьет, — равнодушно сказал Потатуев. — Эти старые таежники продувные бестии. Наверно, хочет подсыпаться к вам с просьбой вот и выдумывает всякую ерунду.

— Он ничего не просил, — сухо возразил Черепанов.

Там, где кончались постройки прииска, они встретили Марусю. С красной косынкой на плечах, в ситцевом платьишке она казалась совсем девчонкой.

— Вы к нам идете? — спросила Маруся, оживленно улыбаясь. — Тогда пойдемте вместе.

— Чем ты занимаешься в свободное время? — спросил ее Потатуев. — Беллетристику почитываешь?

Маруся вспыхнула — она не знала, что такое беллетристика. Не отвечая, потянула косынку за оба конца.

— Романы, повести... — подсказал Черепанов, догадываясь о причине ее молчания.

— Романы... Я читала про Пугачева и, кажется, Дубровцева. Но это давно уже.

— А какого автора? — допытывался Потатуев, любясь ее раскрасневшимся лицом.

— Автора я не помню, — чистосердечно призналась Маруся. Ей стало стыдно за свое невежество. «Вот какой противный», — подумала она о Потатуеве и до самой Пролетарки шла молча.

Первый, кого они увидели в поселке, был Рыжков, коловший дрова у своего барака. Черепанов, Ли Фунчи и Потатуев пошли прямо к нему. Маруся же осталась.

— Как дела? — спросил Ли Фун-чи, присев на чурбан.

— Да как сказать... проходим помалу. Плывун долит, спасу нет. Опробованье делаем каждый день, но плохо. Ой, как плохо! Другой раз и знаков нет.

— Москва не сразу строилась, — пробормотал Потатуев и оглянулся через плечо, заслышав звонкий смех Маруси.

Она разговаривала с женщиной в белом платье и в мужских сапогах. Что-то рассмешило их, и они от души хохотали, глядя друг на друга.

— Дочь-то у тебя, Афанасий Лаврентьевич, как смеется! Легкие, должно быть, здоровые, — сказал Потатуев.

— Ну, легкие! — промолвил Рыжков, и теплые усмешливые лучики легли на его висках. — Дури много, вот и хохочет.

— Зря бранишь. Девушка хорошая.

— Ничего. От недохвала порчи не бывает, — сказал Рыжков и снова заговорил о наболевшем: — Не знаю, как дальше пробиваться будем. Обессилел народишко.

— Может, выделите несколько человек на добавочное старание? — предложил Ли Фун-чи. — Все-таки поддержка будет. Как вы думаете, товарищ Потатуев?

— Если артель найдет это возможным — пожалуйста. Пусть выделяют, но только чтобы не получилось срыва подготовительных.

— Зачем же срывать? Нам это вовсе неинтересно.

Из барака выскочила Надежда с полным тазом настиранного белья, прошла мимо, не здороваясь. Синие глаза ее заметно припухли, лицо было в пятнах, розоватое круглое плечо сквозило в прорехе продранной кофтенки.

— Симпатичная шельма! — заметил Потатуев и поглядел ей вслед. — Прямо как у Некрасова: «с красивою силой в движеньях...» А ты посмотри, Мирон Устинович, какие у нее ноги!

Черепанов покраснел:

— Сердитая она...

— Нет, она не сердитая, а несчастная, — сказал Ли Фун-чи. — Мне Луша говорила о ней...

— С мужиком не ладят, — пояснил Рыжков и, бросив топор на дрова, тоже обернулся в сторону женщины, уходящей к речке. — Баба — золото, а жизнь у нее, правда, никуда не годится.

— Что ж так? — спросил Черепанов.

— Да кто их разберет! Сегодня ссорятся, завтра мирятся. Он ее поколачивает, а она терпит, голубушка. Мужичонка у нее вздорный, но у нашего брата мнение такое: если не бьет, стало быть не любит.

— А ты свою тоже бьешь?

Рыжков сконфузился.

— Не приходилось. Я в молодости осерчал раз по пьяному делу и одного дружка схватил за руку. И что ты думаешь? Сломалась рука-то. Прямо на удивленье. С той поры зарекся. Ну, пойдем к артельщику... Он вас проведет по нашей палестине и все обскажет по порядку.

Часа через полтора, когда уже наступил белесый вечер, какие бывают только на севере в первой половине лета, они подходили к барaku, где было назначено собрание. Старатели, по-домашнему распоясанные, толпились у открытых дверей, курили, лениво переговаривались. Китайцы сидели на корточках вдоль завадины и тоже курили. Старик в распушенной поверхмятых шаровар розовой рубахе, осторожно ступая по траве босыми жилистыми ногами, нес с ключа ведро воды. Следом за ним шла женщина, прижимая к бедру таз с бельем. Это была Надежда. Черепанов пристально посмотрел на нее. Она показалась ему особенно милой и грустной, на щеке ее он разглядел ссадину, и странное чувство гнева и жалости охватило его.

Сидя на собрании, он никак не мог сосредоточиться, смотрел на озабоченные лица старателей, а в глубине души тоненько сверлила надоедая мысль: «Он ее поколачивает, а она терпит, голубушка!» Да, голубушка, такая сильная, цветущая, с добрым лицом. Но почему она терпит? Зачем это ей?» Сердясь на себя за непрошенные мысли, Черепанов посмотрел на Потатеева. Тот сидел на бревнах, опираясь руками на

колени, и глядел на говорившего старателя. Видно было, что слушал он внимательно.

«Экий ты несуразный! — мысленно упрекнул его Черепанов, теряясь перед необычностью чувств, охвативших его. — Подковки собираешь, экономию наводишь, а у женщины только и заметил, что ноги красивые! Терпит — значит любит», — решил он наконец и сам удивился, как больно кольнула его эта простая мысль.

16

Забродин с трудом приоткрыл опухшие от сна веки и шумно зевнул. В углу полутемно; ситцевая занавеска скупно пропускала утренний свет. По привычке Забродин чувствовал — пора вставать, но вставать не хотелось. Жены рядом уже не было. Подушка и набитый сеном матрац, хранившие вмятину от ее тела, давно остыли. Ей некогда разлеживаться на койке.

Василий закутался с головой в стеганое одеяло, раздраженно прислушался к говору проснувшихся старателей.

— Поспать бы еще часок!

Вчера вечером он «случайно» нашел в сундуке Надеждыны золотые сережки с камушками. Сняла она их из-за сломанной застежки. Вещичка дешевенькая, да и та куплена бабой за свои деньги — подарками ее муж не баловал, чтобы не зазнавалась; только в первый год сожителства подарил ей голубого китайского шелку на платье да две пары чулок, принесенных «с той стороны».

Сережки Забродин отнес Катерине и, прогуляв там до трех часов ночи, вернулся после проигрыша без копейки. Сначала у него в банке накопилось около сорока рублей, а под конец проиграл все.

«Сейчас только бы уснуть! — думал Василий. — Самый сон, а тут эта канава! Вот уж клад баба у Григория. Досталось добро кривому черту! С такой бабой я бы лежал да в потолок поплеывал».

Надежда подошла к постели, тронула мужа за плечо,

— Вася! Ребята уже все повставали.

— Поди ты! — прошипел он. — Слышишь, я спать хочу...

— Так ведь на работу надо идти! — звучал над ним голос Надежды, грудной, теплый, дрожащий от полноты звука.

Василий догадывался, что она не знает, как ей подступить к нему, и это возбудило в нем желание ударить, сделать больно, чтобы сорвать зло и лишний раз испытать свою власть и силу. Она помедлила, глядя на спину мужа, снова решительно протянула к нему руку, но отдернула ее и отошла от койки.

Василий прислушался к шагам жены, вспомнил, как отвернулась она от него ночью, когда он лег к ней под нагретое одеяло. «Винищем от нас стало разить... Погоди, ведьма косматая, я тебя проучу!»

— Ночь пропятится, а утром вставать мочи нет, — расслышал он в глубине барака голос Егора.

«Опять задирается!» — подумал Забродин и, сбросив с головы одеяло, сжал кулаки и прислушался.

— Гулять не устать, кормил бы кто да поил!

— С его профессией на делянке скучновато.

Смех перекатился от нар к столу. Старатели уже садились пить чай.

— И черт с вами и с вашей канавой! — пробормотал Забродин. Ему хотелось доказать старателям свое презрение к ним и их насмешкам, и он продолжал лежать, вздрагивая от бессильной ярости.

— Вася! — снова окликнула Надежда.

Он подождал, пока она зашла за занавеску, наклонилась над ним, и тогда сразу сверкнули перед ней его глаза. Встреченная ошеломляющим ударом в лицо, она откатнулась назад и свалилась на пол...

Маруся, розовая после сна, наливала из бочонка в рукомойник, услышала глухой стон Надежды, взглянула на странное трепыхание забродинской занавески и, упустив в воду ковш, бросилась к отцу:

— Тятенька! Василий опять дерется! Бьет он ее!

Забродин выскочил, словно подстегнутый этим криком, схватил у печки полено и снова кинулся к жене. Все за столом вскочили.

— Брось полено! — закричал Егор, налетая на Забродина.

— Ага, защитники нашлись! Вот оно что! С молотосами связалась! Бросить, говоришь, н-на, получай!

Егор едва успел отскочить. Полено, громыхнув по нарам, ударило Зуева в согнутую спину. Старик охнул и выронил сапог, который собирался обуть. Егор широко размахнулся... От свинцового его кулака у Василия искры замелькали перед глазами и разом вылетели остатки похмелья.

Сплюнув вместе с кровью два сломанных зуба, он, как бешеный волк, налетел на парня...

Егор был бледен. С прищуренными глазами, с твердо стиснутым ртом он казался странно спокойным и, принимая удары противника, отвечал ему такими увесистыми и частыми плюхами, что круглая голова Забродина моталась во все стороны. Егор бил человека, которого давно ненавидел за лень, за обиды, нанесенные Надежде. Раздраженный болью и азартом драки, он готов был убить Забродина.

Растаскивали их всей артелью. Окровавленные, в изодранных рубахах, они стояли, разъединенные толпой галдящих старателей, не в силах унять озлобление, дрожащими руками цеплялись за плечи товарищей, порываясь друг к другу.

— Ты вот что, Василий, — хмуро помаргивая, сказал Рыжков, — калечить женщину мы тебе не дадим. Драться поленом — это, брат, хулиганство! И изыряться в жилье, где народом набито, тоже непорядок. Не в городки играть!

— Чего с ним разговаривать? Пускай выметается из барака! — крикнул Зуев, стоявший сзади с размотанной портянкой на одной ноге. — Он мне чуть хребтину не перешиб. Может, я из-за него теперь инвалидство получу. Ночь где-то колобродит, а потом с опухшими шарами на людей кидается!

— Ясный факт! Он вон какой гладкий, а в забое еле двигается. И на верховых работах только для виду суется: у него бадья целый час ползет.

— Детинка с запинкой два века живет!

— Зато не надорвется!

— А Егорка-то наклал ему подходяво.

— Наткнулся Васька рылом на кулак.

Забродин затравленно осмотрелся.

— Все против меня? Ну и шут с вами! С легкостью от вас уйду и бабу свою здесь оставлю. На кой мне она такая, ежели каждый на нее права имеет!

Он встретился с взглядом Егора, повел плечом, отвернулся и пошел одеваться. Надежду увела в свой угол Акимовна. Слушая всхлипывания жены, неясно доносившиеся сквозь говор старателей, Забродин не испытывал удовлетворения. Он был несколько растерян. В первый раз в жизни его ни за что ни про что так жестоко избили. Ну, добро бы по пьяной лавочке или за мошенничество в картежной игре, а то за собственную бабу!

«Теперь уже непременно надо уходить, — подумал он. — Кому какое дело, как я с ней обращаюсь? Не артельное добро! Жила она с Егоркой, не иначе. За это следовало бы ей еще добавить». Надевая ичиг, он сплюнул кровью и выругался. «Зубов вот лишился. Останься с ними, и вовсе захлестнут».

Забродин хотел умыться, но над лоханью плескался Егор. Грустная Маруся поливала ему из ковшика на покрытые синяками и ссадинами плечи. На свободной руке ее висела купленная по случаю верхняя рубашка Рыжкова, которая оказалась для него маловатой. Акимовна достала ее Егорке — парню не во что было переодеться.

— Как ты работать-то будешь сегодня? — спрашивала Маруся, с состраданием глядя на распухшие пальцы Егора. Она любила его сейчас, благодарная за Надежду, и ей хотелось погладить его по мокрым темным вихрам.

— Ничего, обойдусь... — бормотал Егор, поеживаясь обнаженной спиной. Ему неудобно было стоять перед девушкой в таком истерзанном виде, но, застегивая воротник, он поймал ее сочувственный взгляд и, сразу повеселев, подумал: «Знать, жалеет она меня».

Когда старатели ушли на работу, Забродин смыл над лоханью кровь с лица и рук, сдернул лоскутья рубахи, вытерся ими и бросил их под порог. Гологрудый,

мягко ступая высоко подтянутыми ичигами, он прошел к своей койке, сорвал занавеску и начал искать другую рубаху.

Выдвинув на свет ящик Надежды, все еще плакавшей в углу Рыжковых, он сбил с него замок, и вытряхнул пожитки на пол. Поискав в куче тряпья, положил в карман золотое колечко и около тридцати рублей — Надеждины сбережения, потом разорвал ее почти новое шерстяное платье, ситцевые рубашонки, принес с улицы топор и начал долбить обухом по швейной машинке. Топор звонко звякал о железо, пока не сломались все тонкие части. В заключение Василий поставил на ребро деревянную подножку и расщепил ее вдрызг. Акимовна и Надежда только пугливо вздыхали за занавеской.

Забродин сделал из мешка котомку, уложил туда свое барахло и, перекинув ее на лямках за спину, подошел к углу Рыжковых.

— Слышь, Надежда, я ухожу. Счастье твое — Егор мою злобу на себя перехватил. Неохота мне сейчас больше тревожиться. — Он знал: Надежда радуется его уходу, и чтобы лишить ее этой радости и просто так, на всякий случай, добавил: — Ты тут без меня не больно прыгай, я свои права на тебя признаю по-старому. Просто тошно мне у вас оставаться — вот и ухожу, а как вздумаю вернуться, тогда берегись! Ежели хахаля заведешь, обоим гроб и могила.

Надежда вздрогнула, но заплаканное лицо ее, обезображенное багровым подтеком, осталось неподвижным. Тупо и устало смотрела она перед собой, опустив на колени вялые руки.

Выйдя из барака, Забродин сердито оглядел зеленую долину. Над кустами звенели птицы. Стадо мелких курчавых барашков нежно белело в синеве глубокого неба. Утро вставало в росе, теплое и сияющее.

Василий взял у поленницы палку и пошел, сбивая ею головки синих колокольчиков, над которыми деловито кружились мохнатые осы. На увале выбранная им тропа свернула на незаметниинскую дорогу. Он не

знал, как ему придется жить на Незаметном, но пока деньги у него имелись. Сегодня он будет сыт и свободен. Работа в артели осталась позади, как сброшенная ненавистная ноша.

— Афоня! Вставай, Афоня! — испуганно будила мужа полуодетая Акимовна. — Прибегал китаец из соседнего барака — в забое, слышь, не все ладно.

Рыжков вскочил с постели и начал торопливо одеваться. Руки у него дрожали, он не сумел навернуть портянки, плюнул с досады и один сапог надел на босую ногу. В бараке полным светом горела лампа, и темные тени старателей шевелились на занавеске. Скрипела дверь.

Акимовна догадалась наконец зажечь свечу, поставив ее на крохотный столик, стоявший около Марусиной койки. Девушка спокойно спала, положив под голову круглые руки; длинные косы свалились с подушки.

Женщина подала мужу пиджак, спецовку, растерянно спросила:

— Чего же теперь будет?

— Да хорошего не жди, — сказал Рыжков и, на ходу натягивая брезентовую куртку, протопал к двери.

Акимовна поправила на дочери одеялишко, подобрала ее свесившуюся прохладную косу и долго, горестно призадумавшись, смотрела на ее сонно-румяное лицо с густыми тенями ресниц.

— Бедная ты моя! Девка на возрасте, а ни платишка хорошенького, ни постели доброй. И чего это, матушки мои, поделалось там? Ишь ведь переполох какой! Надежда, ты не спишь? — спросила она, услышав шорох в дальнем углу. — Иди сюда, посидим. Чегой-то мне боязно! Мужики побежали, а у меня в груди так и захолонуло.

Надежда вошла, отмахнув рукой занавеску, босиком, в нижней полосатой юбчонке из пеньковой бязи, в накинутом на плечи байковом платке, села на кровать Акимовны, свесив полные ноги, зябко закуталась.

На лице у нее все еще темнел синяк и один глаз казался меньше другого.

— Плохо наше дело! — сказала Акимовна.

Надежда закусил губу и тихо заплакала.

— Невмоготу мне, Акимовна! — вырвалось у нее. — Чем же я хуже остальных баб?! У кого дети, у кого мужья ласковые, а я ведь точно проклятая. Девчонкой по людям мыкалась. Потом с паразитом связалась. Всю жизнь на колотушках. У меня уж все отбито, через это и родить не смогла! Первенького-то от побоев скинула... — Глаза ее мокро блестели, и она говорила, дрожа словно в лихорадке. — Я артельной промывки как праздника ждала. Только и надеялась заработать да уехать к сестре. Одна у меня думка была, да и та рухнула!

При виде чужого горя Акимовна приободрилась: вот человеку куда горше живется, а ей стыдно обижаться на свою судьбу.

— Может, еще и ничего. Зачем заране убиваться! Брось ты, право! — уговаривала она Надежду, поглаживая ее по спине горячей сухой ладонью.

— Нет, вправду... — говорила Надежда, вытирая концом шали заплаканные глаза. — Ты подумай, Акимовна, если бы я была вертушка вроде Катерины... да тут от мужиков отбою бы не было. А мне хочется по-хорошему, по-самостоятельному. Будь у меня рублей восемьсот денег, я сейчас бы собралась и на Невр. Сестра у меня под Томском в колхозе... Писала, что вступить можно. Я бы купила корову, внесла свои деньги и работала себе спокойно. Погоди, сколько выходит?.. Десять рублей да на семь, да на одиннадцать месяцев, да за шитье... Хватило бы! Мне ведь эти деньги позарез нужны. Прямо как дверка в другую жизнь!

Старатели тяжело топали по тропе к штреку. Холодная и светлая ночь копила в долинах туманы, четко вырисовывались на желтеющем с востока небе черные хребты гор. Приближалось утро.

Около двух последних окон штрека толпились темные фигуры горняков. Несколько человек с лопатами побежали к хвосту канавы.

— Ну, что там? — спросил Рыжков, положив на землю захваченный на всякий случай инструмент.

— Забой упустили, Афанасий Лаврентьич, — грустно сказал Егор и кивнул на Точильщикова: — Вот спроси его, он смену в забое работал.

— Чего уж теперь толковать? — неохотно отозвался забойщик, но его снова окружили плотным кольцом. Он сплюнул, вытер пушистые усы и начал рассказывать: — Грунт сегодня был — ну просто отступиться впору, так и плывет, и вода дуршиной хлещет. Мы часа три уж, однако, отработали. Теперь видим — у нас вода снизу все прибывает, а тут сбоку под кровлей валун оказался... Так себе, небольшой камушек — как раз на две пали вышел. Теперь я его легонько и ковырнул, оттуда и посыпало! Мы было придержать хотели — куда там! И из простенка еще закумпололо! Как на грех, мы одну подушку успели выбить, а вторая сама осела. Завалило весь забой верхней породой, а убирать вода не дает. Теперь ее там по колено и все прибывает.

— Наверное, черная вода пошла? — сказал неуверенно Егор.

— Может быть. Грунта кругом уже пооттаяли...

— Ну, как там? — спрашивал Рыжков поднимавшихся из окна старателей. Он еще не терял надежды на благополучный исход дела. Ну, затопило, ну, закумпололо — это все исправимо, должна же канава выносить излишек воды, иначе зачем они ее проводили?

Старатели поднимались злые, и голоса их звучали грубее обычного:

— Выходит, отработались.

— Либо бросать придется, либо заново переделывать.

Переждав последнего, Рыжков зажег свечу и начал спускаться по сырым и скользким ступенькам узкой лесенки. На первой площадке он прислушался: внизу словно живой кто-то вздыхал и ворочался. И чем ниже Рыжков опускался, тем яснее доносился этот шо-

рох, сильнее звенели струйки, льющиеся со стен колодца. И вот вода у него под ногами.

Ее набралось уже сантиметров на восемьдесят, и она заметно прибывала. Булькал дождь с кровли, и свеча в руке Рыжкова то и дело трещала, угрожая погаснуть, а он все стоял на лестнице, держась за ступеньку, и все глядел, как текла одолевшая их вода, как, насмешливо шурша, тащила она из черноты невидимого забоя доски, пучки стланика, обрушенные бревна огнив.

Рыжков был совершенно подавлен. Огорчение свое он выразил наконец тем, что, медленно подбирая слова, крепко выругался и швырнул в воду горящую свечу.

Когда он поднялся наверх, старатели угрюмо сидели на отвалах, пригретые лучами восходящего солнца.

— В передовых забоях аккуратность нужна, — говорил Зуев, обрезая на досуге складным ножом грязные твердые ногти.

— Теперь расшевелили верха, так при нарезке кумпола замучают. Хотя неизвестно еще, как дело обернется: может, начальство порешит приостановить нашу работу, а пока обсудят, придется валандаться бестолку.

— Ввалился я в эту артель, как сом в вершу! У меня от одного черного хлеба вон что делается, — сказал лежавший на пригреве Точильщиков и заголил на груди рубаху, показывая мощные ребра, обтянутые кожей. — Все кости на счету, скоро шкура прорвется. В двадцать четвертом здесь, на Пролетарке, мы куда лучше работали. Где взглянется, тут и яму бьешь.

— Вот вы все и взрыли, как свиньи, — сказал Егор. — Работали бы по порядку, так надолго хватило бы.

— Какой порядок может быть для старателей? — удивленно промолвил старик Зуев и, вытянув тонкую жилистую шею, уставил на парня острый клин белой бороденки. — Глупость одна! Самая мы выгода есть для государства, и не должно оно нас стеснять ни в чем. Ты как скажешь, Афоня?

Рыжков насупился.

— Порядок и для старателей не вредный, — сказал он и скупое усмехнулся. — Чтобы на дольше хватило — это верно. Много ведь нашего брата...

Егор лег на траву, положил подбородок на сплетенные пальцы. Черный слоник полз по тонкой былинке. Былинка гнулась, и жучок то и дело разводил сильные крылья, словно собирался взлететь. Егор бережно снял его с травинки, зажал в кулаке, прислушался к его щеkotному барахтанью.

— Чего нашел? — поинтересовался Рыжков.

— Да вот, — заговорил Егор, смущенно улыбаясь, и разжал ладонь, — жук. Цепкий такой.

— Слон это, — сказал Рыжков и придвинулся ближе.

— Ли Фун-чи идет! — крикнул кто-то из другой группы, и все старатели обернулись в сторону Ороцена.

Два человека шли к ним по тропинке между кустов. В одном действительно признали председателя прииска, в другом смотрителя Колабина... Сзади поспевал посыльный из артели.

Ли Фун-чи казался сердитым и взъерошенным. Колабин, голубоглазый красавчик, нерешительно переминался с ноги на ногу. Оживленные их приходом старатели теснились со всех сторон и наперебой рассказывали о происшедшем.

— Посмотреть надо, — сказал Ли Фун-чи и направился к окну. Он спустился первым, потом Колабин, следом артельный староста, и всем тоже захотелось спуститься, чтобы увидеть, какое впечатление произведет на пришедших затопление штрека. Один, другой уже полезли в окно, но третьему загородил дорогу Рыжков.

— Без тебя ахальщиков хватит! Друг дружке на шею сядете, что ли! Неровен час и лестница обломится.

Ли Фун-чи, поднявшись наверх, не скрывал своего огорчения.

— Плохо! — сказал он и посмотрел снизу вверх на Рыжкова. — Надо было мне в прошлый раз решительно настоять на присылке маркшейдера... Похоже, что уклон вам дали неверный.

— Хороша показательная артель! — ввернул с горькой усмешкой Точильщиков.

— Может, оно и богатое золото на делянке, только пока его возьмешь, замереть можно. Нет у нас сил для этого.

— Видит кот молоко, да рыло коротко...

— Земляная работа, она тяже-олая! Без мяса в забое не наробишь.

— Чего теперь делать будем? — спросил Зуев, выставляя свою бороду из-за плеча соседа.

Ли Фун-чи огляделся, покусывая губы. Лица старателей, освещенные ярким солнцем, показались ему особенно измученными. С грустью разглядывал он их острые скулы, запавшие глаза. Тяжелый труд и скудная пища подсушили горняков порядочно, но народ сплошь был здоровый, жилистый и ширококостный. Таким только бы дорваться до настоящего дела — горы перевернут.

Ли Фун-чи сам пришел на профсоюзную работу со старания и хорошо помнил вкус черного хлеба после тяжелого горняцкого труда. Неудача артели сильно взволновала его.

«Сказать им, чтобы шли на подготовительные хозяйские, нельзя, — размышлял он, хмуря брови. — Развалится крупный коллектив — показательное для старателей дело». Вслух произнес:

— Тут товарищи сказали, что разбежаться пора. Хорошенько подумайте, уйти недолго. Только обидно будет, если целый год работы у вас даром пропадет. Помоему, надо обождать. Пусть управление назначит комиссию, обследуют и скажут, как поправить дело. Плохо получилось. Очень плохо! Но не надо впадать в панику!

К обеду действительно приехали два инженера и маркшейдер из треста с Незаметного; пришли трое из ороченского управления; снова спускались в окно. Вода уже затопила штрек под самые огнива. Потом комиссия вместе с Ли Фун-чи и подоспевшим Черепановым отправилась, сопровождаемая толпой старателей, к хвосту канавы. Вода в канаве шла медленно, насыщенная илом и глиной, неохотно вливалась в светлые

струи Ортосалы и еще долго желтой отдельной полосой текла у правого берега.

Приезжие походили, посмотрели. Потом с Орочена явился топограф с инструментом, и снова начали что-то измерять и записывать.

— Один раз уже намеряли!

— Понасажали вас там, чертей, на нашу шею! — ругались старатели, прислушиваясь к спорам начальства.

— Тебе, товарища начальника, посуди, как наша люди работай будет. Еньга нету, мяса покупай не могу, сила совсем кончал, — пристал к смотрителю прииска оборванный кореец в фетровой шляпе. Вид у него был истощенный и жалкий. — Ваша русики начальник теперь надо хлопочи, пускай дает артели хороший дележка. — Кореец просительно засматривал в лицо Колабина.

Старатели обступили их оживленным кружком. Мысль корейца всем понравилась, но в это время подошел Потатув.

— Вам эту работу надо закончить, — сказал он, узнав, в чем дело. — Сколько вы задолжали управлению?

— Да тысяч около сорока... с гаком, — неохотно ответил Рыжков.

— Ну вот! — произнес Потатув, достал платок, встряхнул его и старательно высморкался. — Вам придется сначала долг отработать. Очистите штрек и мойте, а кто не хочет, может уйти, но управление составит списки ушедших должников и разошлет для вычета по всем приисковым группам. Платить так или иначе придется. А насчет новой дележки, да еще хорошей вряд ли что выйдет.

— А мы в союз обратимся...

— При чем же здесь союз? — поддержал Потатув Колабин. — Вы же знаете условия вашего договора с предприятием и нарушать его не имеете права. Вы проводите все подготовительные работы за свой счет. Предприятие отпустило вам кредит — ясно, что никто другой не станет его за вас поташать.

Он озабоченно взглянул на Потатуву, и оба пошли

к топографу, около которого собрались остальные члены комиссии. Горняки проводили их угрюмым молчанием. Старались, не жалея сил, и вот нажили по тысяче рублей долга и работу надо переделывать!

— Накачаем еще тысяч по пять, по крайности будет чем вспомнить, — невесело пошутил Егор.

19

Через несколько дней после затопления штрека Черепанов и Ли Фун-чи сидели со старателями возле барака Рыжкова. Старатели перекорялись между собой. Черепанов молчал, слушая, как в тени, под крышей, тоненько позванивали комары. Старатели все еще не начинали работать, а у Черепанова пропало желание их уговаривать, потому что он начал сомневаться в причинах затопления. Только ли артель была повинна в нем, как указывала в своем акте комиссия?

Сомнение возникло у Черепанова от нечаянно услышанных им слов Потатуева. «Теперь отобьет охоту!..» — сказал Потатуев трестовскому инженеру возле канавы. И вот уже четыре дня Черепанов ломал себе голову, стараясь разгадать: что хотел сказать Потатуев, к кому относились его слова.

Ли Фун-чи, тот, конечно, сразу ввязался бы в разговор спецов, он спросил бы, кому и в чем отобьет охоту? Черепанов взглянул на приятеля, пылкого и чистосердечного, неожиданно усмехнулся.

— Ты что? — спросил Ли Фун-чи.

— Ничего. Просто подумал, как ты далек от того, что называется китайской церемонностью.

— Сколько ни откладывай, а к работе приступать все равно надо, — сказал Рыжков, рассматривая подписи членов комиссии. Прочитать постановление он не мог по неграмотности. — Забрали кредит, теперь никуда не денешься. Да и жалко бросать, после покаемся, ежели там другие мыть начнут.

— Переделка большая, — сказал Зуев. — Надо очистку произвести. Надо доуглубку на метр делать. По скале, значит, с динамитом. На восемьдесят метров

протяжением. Да кабы только это, а то еще саму канаву удлинять на шестьдесят метров. Что там еще?

— Русло подчистить при выносе, — мрачно подсказал Егор.

— Ну, вот еще и русло!

Топот лошадиных копыт заставил всех обернуться. Со стороны Незаметного на соловой гладкой кобыле подъезжал Потатуев. Он грузно сполз с седла, привязал лошадь к суковатому обрубку дерева, шурша полами плаща по кустарнику, подошел к старателям и присел в холодке у стены, вытирая большим пестрым платком пот с лица.

— Что нового? — спросил Ли Фун-чи.

— Поругался в тресте, чуть меня не выгнали из маркшейдерского отдела. «Чего, говорят, вы раньше смотрели со своей канавой?» Я же и виноват остался! — Потатуев фыркнул, пожевал кончик сивого уса и продолжал сердито: — Нивелировку сделал ихний топограф, и проект дан из технического отдела. Я могу отвечать только за правильность производства работ, а за неправильный уклон штрека пусть отвечает маркбюро. — Потатуев посмотрел на Черепанова, на председателя прииска и добавил с нарастающим раздражением: — Они согласны признать, что уклон действительно дан неверный. Но ответственность сваливают на работников, которых давно уже нет в тресте. Выходит — ищи ветра в поле.

— Поздно теперь толковать об этом, — сказал Рыжков. — А ты вот что скажи нам, Петр Петрович: не промахнемся ли мы насчет содержания? Кабы знать наверняка, тогда не обидно и переделать.

Потатуев развел руками.

— Как же, голубчик мой, наверняка сказать? Ты сам старый горняк, знаешь, сколько риска в горном деле. Наша разведка частенько-таки ошибается, да и немудрено: пласт здесь неровный, золото кочковое — где пусто, где густо. Рассчитываем, что на вашем участке должно быть хорошее, это же отвод на богатом приiske, а не на новом ключе. Как вы думаете, Мирон Устинович?

Черепанов помедлил с ответом, и пытливый взор его показался Потатуеву странным. Так иногда смотрят таежники на рельеф какой-нибудь заманчивой лощинки, пытаясь разгадать ее золотоносность.

Ли Фун-чи тоже смотрел на Потатуева, потом перевел взгляд на Рыжкова и сказал, показывая в улыбке светлые зубы:

— Рискнем еще раз, что ли?

— И то стоит! — в тон ему усмешливо ответил Рыжков.

Старатели оживились, заулыбались, зашумели. Риском их не удивишь! Разведка? Да они сроду ей не доверяли. Если она скажет «пусто», значит — «может быть», а уж если показала наличие золота, должно быть обязательно.

— До сих пор Алдан держался на старателе! — с гордостью сказал старик Зуев. — Все прииска скрозь нами разведаны. Теперь разведка по нашим следам идет.

— А я все-таки уйду! — сказал Точильщиков. — Лучше пойду на хозяйское производство. Там на бодайбинцев большой спрос. Пусть невеликий заработок, да верный. Надоело мне за фунтами гоняться.

— И я уйду.

— И я.

— И я.

— Ну, и уходите. А мы останемся. Охотников на ваше место много найдется.

— Ройте, коли охота. Земли много — всю не поднимешь.

— Артель поставлена не на пустое место, зачем же пустые разговоры? — вмешался Черепанов. — Разведка иногда ошибается, это верно, но у вас показано хорошее содержание. Оно может оказаться беднее или богаче, но в среднем оправдывает работу.

— Я тоже так думаю, — поддержал Рыжков. — Время идет, а мы сидим. За эти пять дней сколько бы успели сделать!

— Когда выйдете? — спросил Потатуев уже как о решенном вопросе.

— Сегодня же соберемся всей артелью и обсудим, кому начинать.

Рабочие начали расходиться.

— Красавица, принеси мне водички — горло пересохло! — попросил Потатуев, увидев вышедшую из барака Надежду.

Она ушла и скоро возвратилась с большой кружкой.

— Квасу налила! — сказала она и улыбнулась, подавая кружку Потатуеву.

Черепанов тревожно смотрел на ее опущенные полные руки с ямочками на локтях. Его тянуло к этой женщине; одинокая холостяцкая жизнь становилась в тягость. Он знал, что Ли Фун-чи советовал Надежде перейти работать на производство. Черепанову тоже хотелось помочь ей устроить жизнь по-иному.

— Вам принести? — спросила Надежда, улыбаясь ему, как и Потатуеву, хорошей, ясной улыбкой.

— Если не трудно, принесите.

— Какой же труд!

Потатуев провел по усам платком, подмигнул вслед Надежде:

— Стоящий объект! И глаза хороши: голубые-разголубые, как эмаль.

— Она очень серьезная женщина, — сказал Черепанов, не сумев скрыть возмущения от слов и особенно от взгляда Потатуева.

— Все они серьезные, пока спят. — Потатуев посмотрел на хмурое смуглое лицо Черепанова и, желая испытать его, добавил: — Она очень предана своему мужу, а он лодырь и пьяница.

У Черепанова нервно дернулась бровь, дрогнули губы. Соперничество с Забродиным унижало его в собственном сознании.

— Сильное чувство изживается не сразу, — ответил он.

«Втюрился, — решил Потатуев. — То-то он и вскинулся на меня. А Забродин ее из рук не выпустит, безнадежное твоё дело, Мирон Устинович».

— Надежда Прохоровна, — сказал Ли Фун-чи, когда Надежда вернулась, избегая назвать женщину по

фамилии мужа, которого он считал первостатейным негодяем. — Луша очень просила вас заглянуть к нам. У нее дело есть...

— Хорошо. Я приду, — пообещала Надежда.

Надежда старательно причесала сильно выующиеся на висках волосы, уложила их большим узлом на затылке, надела чистое платье и, захватив косынку, пошла из барака. Ей все не верилось, что Забродин исчез хотя бы на время из ее жизни. Без него так легко стало на сердце Надежды, словно вырвалась она из душивших ее тисков.

В одном уголке косынки завязано двадцать рублей денег, и никто не остановит, не вырвет косынку из рук и не отнимет эти рубли, доставшиеся за тяжкий труд у корыта со старательским бельем. Никто не обругает, не ударит. Счастье-то какое!

Надежда пойдет сначала к маленькой, симпатичной ей смуглянке Луше, а на обратном пути зайдет в магазин и купит себе батисту на кофту и ситца на рубашки. Забродин оставил ее так, что смениться нечем.

— Хорошо-то как, господи! — вырывается у нее из глубины души, обласканной теплом и светом прелестного июльского дня.

И земля под ногами кажется ей совсем другой. Так вот шагать бы да шагать по ней, навстречу легкому ветерку, играющему свежей листвой кустарников и высокой травой, пестро разубранной цветами. Солнышко стоит вполнеба — золотое сияние, льющееся из голубой бездны, где вспыхивают и мгновенно тают белоснежные клубки облаков.

— Хорошо-то как! Радостно-то как!

Надежда вспоминает хмурое лицо Егора, но не ответную хмурь вызывает у нее мысль о нем, а искристую улыбку.

«Милый, молодой ты мой! Все успеешь — и с канавой дело наладится и с Марусей устроится. Да разве не добьется взаимности этакий парень! Просто еще не

перебродил в девчонке вешний хмель. Свобода-то ей дана, воля-то! Как тут не вскружиться голове. Сама не разберет, чего хочется, кем стать охота, вот и брыкается, словно телок, выпущенный из зимнего стойла. И я сейчас так же!..» — мелькает у Надежды.

Она переступает через мелкие канавки, отведенные старателями от русла ключа.

«Работают люди. Стараются в самом деле. Не такие лодыри, как Забродин. Каждому бы из них кусок золота с конскую голову. Пусть бы сполна окупился их горбатый труд! И Егорушке удачу бы!»

Возле бараков суется женщины, играют детишки — всех выманила теплая сухая погода. И стирают на улице и стряпают. Двое устроились на припеке: ищутся в голове.

— Бог в помочь! — шутливо кричит им Надежда, проходя мимо.

— Спасибо! — доносится веселый ответ.

Железные печки, вынесенные из жилья, дымят среди вытопанного кустарничка: хозяйки готовят обед. Годовалый ребенок с погремушкой в руке высматривает из ящика, поставленного возле самой тропинки. Надежда глядит на ребенка с нежностью, с вдруг вспыхнувшей женской завистью.

Ей бы такого! Даже поплоче... Уж она его выходила бы! Вынянчила бы... И первое, что привлекло ее внимание на квартире Ли Фун-чи, — это цветущий вид маленького Мирошки и спокойно радостное настроение самой Луши. Кругом раскиданы книги и игрушки...

— У нас все читают и все в игрушки играют, — с добродушной усмешкой сказала конторская уборщица Татьяна, наводя порядок в комнате. — И я на старости лет во второй класс перебралась. Из пригостишек-то вышла!

Она подставила Надежде табурет, обмахнув его фартуком, и остановилась, уперев руки в бока, большая, костистая, в мужских сапогах и вышитой крестом рубашке из сурового полотна.

— Лихой у тебя вид! — улыбаясь, сказала Надежда, оглянув ее. — Настоящая партизанка.

— А так оно и есть! Партизанила! — отозвалась Татьяна, и крупное лицо ее со вздернутым носом и чернущими под красным платочком бровями осветилось задором. — Бывало паду на коня: в ватнике, в шароварах, шапка набекрень. — и-их, зальюсь! Никакое бездорожье не удерживало. Любили меня ребята за лихость, а в люди не вышла — образованием не взяла. Вот теперь хоть для собственной отрады и прошибаю ее, грамоту-то! Все-таки неудобно: делегатка в женотделе — и малограмотная. И в конторе тоже: пошлют с рассылной книгой, кому какой пакет отдать? Другой начальник так напишет, что его сам черт не разберет. Выбирайте, пожалуйста.

— Почему же ты раньше-то не училась? — спросила Надежда, посматривая на Лушу, которая накрывала на стол и хлопотала с ножом возле огромного пирога из свежей рыбы, поджаристого, осыпанного сухариками и отдающего паром...

— А гонор! — сказала Татьяна. — Гордость помешала. А гляди тово, и жизнь проскочила.

За стол сели все сразу. Вышел из соседней комнаты веселый Ли Фун-чи, явился и Черепанов. С Надеждой оба поздоровались, как с хорошей старой знакомой. Величали ее Надеждой Прохоровной. Она немножко смущалась, и в то же время ей приятно было это непривычное обращение: старатели называли ее «мамашей», хотя такие, как старик Зуев, сами годились ей в отцы.

— Хотим мы, Надежда Прохоровна, серьезно вам посоветовать, — заговорил Ли Фун-чи, — посоветовать вам пойти помощником повара в столовую на Новом Орочене.

— Правда, — подхватила Луша, — там вам будет хорошо! И, кроме того, у нас в драмкружке сил не хватает, а вы смогли бы играть на сцене.

— Отчего же вы думаете, что я смогу играть? — спросила Надежда, заливаясь торячим румянцем. — Да мне сроду не выступить, когда людей много.

— Еще как выступите! — сказал и Черепанов. — Это только с непривычки страшно кажется...

— Нет, — все так же краснея, говорила Наде-

жда, — я подумаю. Привыкла уже с артелью... Жалко ребят, очень уж им не повезло. Да и должны они мне. Тоже вроде привязана этим.

Говоря о денежном долге и привычке, Надежда представила свой темный, мрачноватый барак, угол за ситцевой занавеской, где было пролито ею столько слез, и только теперь поняла, что скрашивало там всю ее бедную жизнь — любовь к Егору.

Любила ли она его, как сына, как брата или как милую сердцу, хотя и немыслимо далекую мечту о счастье? Но встречи и разговоры с ним были ее единственной отрадой. Она и Марусю любила оттого, что сердечная неудача Егора являлась источником его тяги к ней, Надежде. И ни разу Надежда не задумывалась о том, как сложились бы ее отношения с Егором, если бы не Маруся. Что он ей, замужней, не первой молодости женщине, красавец-парень? Что она ему? Зажечь ее страстью и бросить на такую расправу жестокого мужа, когда и сама смерть могла бы показаться лишь избавлением от муки? Надежда не загадывала ни о чем. Может быть, самое главное сходство между нею и Егором, тоже безотчетно подарившим ее симпатией и сочувствием, было в их душевной чистоте, которая одна и охраняла их от сближения.

И сейчас Надежда подумала не о том, а просто жаль ей стало уходить из своего жилья, жаль бросить Егора... Кто же тогда будет заботиться о нем? Разве согласится другая женщина пойти мамкой в такую бедную, незадачливую артель?

— Нет! — сказала Надежда, открыто посмотрев в глаза Черепанова. — Никуда я пока с Пролетарки не уйду, Мирон Устинович. У вас здесь очень хорошо! — Она глянула на круглое личико маленького Мироши, самозабвенно занятого содержимым своей тарелки, и слеза вдруг увлажнила и смягчила ее взгляд. — Нравится мне у вас. Да что же, всякому свое! Вот Луша одолеет седьмой класс, родит еще сына или дочку, потом курсы какие-нибудь окончит, и вот она — путевка в жизнь. А мне, видно, суждено век над корытом стоять. Но на трудную работу я не жалуюсь...

Еще накануне Рыжков предупредил жену:

— Приготовь мне в субботу чистую рубаху и шаровары. На Незаметный к ребятам схожу. Звали землячки.

Придя с работы, он долго плескался под рукомойником, расчесал перед зеркальцем русую бороду и огорчился, глядя на давно не стриженную голову.

— Экая шершавина!

— Ладно, не под венец! — сказала Акимовна, вытаскивая из корзины узелок, в котором хранились ее сбережения. — купишь пуговиц черных, вот этаких, дюжины две, да белых костяных, да ниток черных сорокового номера катушек десять. Я у мужиков взяла рубахи пошить, а н прикладу-то и не оказалось.

— Забуду я. Неужели в нашем магазине нету?

— Было — так купила бы. Нету сейчас. Тебе больше пяти рублей не дам... Не на что сейчас гулять.

— На нет и суда нет, а две пятерки дай. Водка у ребят будет, а может, куплю чего-либо на похмелку.

Рыжков подоткнул ремешки ичиг, прошелся перед женой, оправляя синюю сатиновую рубаху (в сбористых триковых шароварах, спадавших на побитые ичиги, был он особенно широк), разгладил усы, поправил бороду, боком встал подле Акимовны:

— Хорош орелик?

— Не видали такого! — промолвила со вздохом Акимовна: редко бывал весел Афанасий Лаврентьевич. Суров муженек. Спасибо и на том, что не драчун, не картежник. — Иди уж, а то поздно будет, — сказала она и положила ему в карман пиджака две ржаные шаньги с голубицей, завернутые в тряпочку, хотела погладить по плечу, но застеснялась и сделала вид, что счищает соринки. Все же Рыжков отлично понял ее движение.

«Любовь ведь была когда-то, спасу нет!» — расстроганно подумал он, обнял жену и осторожно провел по ее темноволосой голове своей тяжелой ручищей.

— Завтра ввечеру буду, — пообещался он уже от дверей и ходко, словно сохатый, зашагал по дороге.

Несмотря на последние жаркие дни, у бродов еще не просохла густо замешанная грязь, усыпанная на солнце мелкими желтенькими и голубоватыми бабочками. Они, нежась, сидели стаями на влажной теплой земле, неохотно взлетали перед проходившим горняком, кружились и снова падали, как горсть брошенных лепестков. Темные леса из ельника и лиственницы стояли в долине, солнечные лучи с трудом пробивались в них к кустам подлеска и только кое-где играли на глянцевиных листьях брусничника.

Почти на половине пути, в стороне от дороги, слышались гулкие удары, словно бил кто-то тяжелым молотком по дну железной пустой бочки. «Драгу ставят на Ортосале», — вспомнил Рыжков. На Верхне-Незаметном видел он прошлым летом в широком котловане с мутной водой удивительную машину вроде парохода, только без колес. Беспрерывно, со скрежетом и плеском движется вверх ряд огромных ковшей-черпаков с породой, а сзади сделан длинный хвост, и с него без конца сыплется уже отмытая галька.

«Сколько тысяч кубометров она, эта драга, за лето переворочает? И золото, поди, начисто заберет, — думал Рыжков. — Выгрызет один борт, ее на канатах к другому переведут. Этакая прорва — железное брюхо!»

Он свернул с дороги на тропу и пошел вдоль сплоток, подававших воду с Ортосалы на Верхне-Незаметный. В глубоких распадках ящичные желоба были подняты на столбах, и с них сыпался сверкающий радужный дождь. Рыжков прошел еще немного и присел на горе возле шлюзов. Прохладой тянуло от сырых досок, дальше вода текла широкой канавой.

Кругом стояла теплая ленивая тишина. Ветер куда-то пропал, и редкие облака, как барки на мели, томились в небесной синеве.

Солнце стояло еще высоко. Километров двенадцать Рыжков прошел незаметно. «Крепок Афанасий, еще не изъездился! — с тоской подумал он о себе. — А сколь исхожено! Сколь сработано! А чего заработано? (Он посмотрел на свои изломанные работой набрякшие руки и горестно качнул седеющей головой.)

Нет у тебя со старухой угла для старости. Выходит, обделила старателя советская власть: раньше он чертомелил и теперь чертомелит. Все имущество казенное стало, на собраниях кричат: «наше общее», а я чего-то не пойму. Драга вот, к примеру, как я скажу: «наша»? Которым боком это ко мне относится? Крестьянам землю отдали — там понятно, рабочие при заводах льготы получили — живут с прохладцей. А мы что-то прохлопали. А все потому, что нет промежду нас, старателей, настоящей организованности. Мы по старой привычке и теперь глядим каждый абы себе. Дай нам прииск в полное пользование, каждая артель захочет главней других быть. Зато и остались при новых правах со старыми ветошками».

По улицам Незаметного Рыжков шел медленно, присматриваясь к незнакомым людям.

Около лавочки китайца-спекулянта он остановился: пестрели в окнах разные заманчивые вещи.

— Ваша что угодна? — с улыбочкой спросил Рыжкова хозяин, одетый в черную кофту с матерчатыми пуговками, суетливо вставая со стула, на котором он сидел возле прилавка.

Продавец тонкой кисточкой осторожно писал в конторской книге. С покупателем занялся сам хозяин.

— Проходите! Посмотрите! Пожалуйста, все, что надо! Даже гвозди могу предложить.

— Гвозди? Этим товаром мы даже очень нуждаемся. В «Союззолото» сейчас не достанешь.

Китаец закивал бритолобой головой, тонкая коса висела сзади из-под черной атласной шапочки. Узкие щелки его глаз совсем исчезли в припухлостях щек.

— О, там зато разной дамский штучка! Есть помада, духи, ботинка! Я тоже могу предложить лента, но я позаботится насчет нужда рабочего в первая очередь.

— Так ты оставь нам ящик гвоздей... дюймовых, — соображал Рыжков, не слушая китайца. — Только мы за ними придем дня через три. Задаток?.. Ну, я завтра утром занесу.

— Пожалуйста, приходите поскорее. Наша скоро будет ликвидация, — сказав это, китаец рыгнул и по-

махал себе в лицо круглым картонным веером. — Я не могу делати такой цена, как государственнй коопера-ция. Это убытка. Иха торговля имеет своя транспорта, а я надо платить и платить. — Спекулянт завистливо вздохнул и закончил уныло: — А налога частный лавочка большой. Кругом убытка.

Рыжков между тем облюбовал кусок пунцовой ленты.

— Отрежь вот этой два аршина. Да пуговиц покажи. Тесьмы не надо и резинки не надо, чего не спрашиваю, не навязывай. Хотя погоди... Отрежь на две пары подвязок.

— Какой его нога, ваша мадама?

— То есть как это? — не понял Рыжков.

— Ну, толстый... тонкий?

— Ага... Ноги, как полагается. У обеих средние.

Китаец по-куриному заклохтал от смеха.

— Ваша два мадама имеет? Очень даже вы роскошно живете!

Глядя на него, и Рыжков рассмеялся.

— Эх, как тебя разобрало! Одна-то дочь моя, Марья... Афанасьевна. Ленту и подвязки отдельно посчитай. Сколько? Шесть тридцать? Здорово дерешь! А еще об убытках толкуешь! Знал бы, так лучше в магазине купил.

— Ну, ладна, — сказал как будто и взаправду пристыженный китаец, — давай ровно шесть рублей.

Рыжков положил покупку в карман, вышел на улицу и крупно зашагал к Верхне-Незаметному, удивляясь тому, как далеко продвинулась за лето драга.

Возле базара он неожиданно столкнулся с китайцем Санькой.

Саньку Рыжков знал еще по зейской тайге, знал, что он и сейчас занимается контрабандой. Когда же бывало, чтобы приiski существовали без спиртоносков?

— Тебе куда ходи? — крикнул Санька и весело оскалился, хватая Рыжкова за рукав. — Пойдем моя хитрушка посмотри! Денежка есть, можно погуляй, всякий разный Еушика близко живи. Шикарный мадама: черный, белый... Какой хочу, какой надо, могу

позови! Деньга есть — Иван Петрович, деньга нет — парышивый сволочь.

— А ты что, хитрушку содержишь? — спросил Рыжков, поглядывая на лавчонки базарных рядов. Многие уже были закрыты совсем и заколочены накрест длинными досками — видно, купец говорил правду. Другие еще торговали, а лавочники убирали развешанные под навесом товары.

— Нет, наша компания. Моя туда только водочка таскает. Пойдем! Твоя хочу, моя могу деньга займы давати. Мадама жирный — шибко шанго.

— Нет, я, брат, не охотник до такого бабья. Смолоду брезговал, а теперь и вовсе.

Санька хитро засмеялся и толкнул его в бок локтем.

— Тебе, Афанаси, плохо живи. Ваша русский люди хорошо есть сказати: сединой ходи в борода, беса ходи под ребрушко.

Рыжков улыбочиво сощурил синие глаза и двинулся дальше своей дорогой.

— Ох, и штукарь же ты! — сказал он Саньке. — Все на свете знаешь.

— Правда, — убежденно подтвердил Санька. Он и не подумал отстать от Рыжкова и продолжал болтать на ломаном языке, идя за ним следом: — Тебе люди знакомый, я тебя не боиса. Нынче моя опий приноси — десять фунта! Только милиция попадай. Кругом заberi, как раза Степаноза! Три месяца посиди. Недавно выпусти. Там много знакома люди есть. Ваша артели Васька тоже сиди.

— Забродин? — спросил Рыжков с живостью.

— Угу, Забродина! — ответил Санька и, совсем забыв попечение о «Евушках», пошел уже рядом со старателем, рассказывал о новостях и, увлекаясь, все время хватался за рукав Рыжкова.

Дальние горы от лесных пожаров подернулись тусклой дымкой. Лето идет на убыль. Каждый день, возвращаясь с работы, Маруся забиралась в голубич-

ник и ела ягоды, пока не защеппет язык и не пощипывают губы. Приисковые бабы, звякая ведрами и кошелками, с восходом солнца уходят в горы. Собирают голубику и чернику, а после сушат, заготавливают на зиму.

Акимовна тоже ходила по ягоды, но наткнулась в тайге на сухую ветку, чуть не окривела и теперь домовинчат. А Марусе ягодничать некогда: сегодня она, не заходя домой после работы, с узелком подмышкой, отправилась на Пролетарку и пошла от барака к барачу, заходя в каждый, где были женщины.

На ней старенькое платье, легкая жакетка и стоптанные туфли, голова повязана по-бабьи белым платком, надвинутым на самые брови. Вид у нее был деловой и озабоченный.

У порога одного из барачков ее встретила полная, опрятно одетая женщина.

— Проходи, милушка, садись на лавку. Чьих ты будешь-то?

— Да Рыжкова я...

— Чего же я тебя не признала? Эка краля выровнялась! Невеста уж, поди-ка? А я вот с бельем вожусь. Прохворала на неделе, а сегодня мужики поразбредлись: кто по ягоды, кто в гости, я без помехи и управилась. Как это ты к нам забрела?

— Я ликвидатором неграмотности буду у вас. Вот записываю, кто хочет занятия посещать.

— Что это там, Ивановна? — спросил осиплый голос.

Ситцевый полог в углу колыхнулся. Выглянула взлохмаченная голова женщины, затем крупная фигура в помятом сером платье вылезла из-за занавески.

— Ликвидатор? — с усмешкой повторила женщина и потянулась, шумно позевывая. Волосы у нее черные, не очень длинные и страшно всклокоченные. С завистливым любопытством осмотрела она девушку плутоватыми карими глазами. — Это зачем еще?

— Видите ли... — заговорила Маруся, свертывая тетрадку трубкой и снова бережно разглаживая ее ладонью. — Ленин сказал, чтобы у нас в Союзе не было

неграмотных. Нужно, чтобы все женщины учились управлять государством. Если вы научитесь читать и писать, вам интереснее будет жить. Сколько есть на свете умных, хороших книг (она сама прочитала за последнее время стихи Лермонтова и рассказы Короленко), а для неграмотных они ничего не представляют. Женщинам нужно включиться в общественную работу, развиваться.

— Я не знаю, — замялась Ивановна, — вот Катерина разве. — Она подумала минуту и добавила с виноватой улыбкой: — Темная я, это верно. Мое дело что, известно — мамка. Всю жизнь у плиты.

— А раз мамка, с тебя и спросу нет, — сказала Катерина. — Мужик узнает, он тебе задаст: всю политграмоту вышибет. Меня не пиши, я без вас грамотная. Мне много не надо. Вам ежели больше нашего требуется, ну и читайте, пишите на здоровье.

Катерина еще раз зевнула, почесала в голове и снова полезла на койку. Вид красивых девчонок всегда привлекал и огорчал ее: она завидовала юности и еще не тронутой свежести. Ей хотелось снова и снова быть молодой и переживать все сначала.

— Ишь, чего удумали! — ворчала она, ожесточенно взбивая подушку и укладываясь: — Государством управлять! Тут бы впору с собой управиться. Без развития вздремнуть некогда.

— Вот халда, так уж халда! — сказала Ивановна огорченной Марусе, выходя из барака. — Ты в какую сторону пойдешь? Вниз? Ну-к я тебя провожу маленько, сито надо взять у соседки. Меня ты не зови, я и вправду не могу.

Маруся досадливо покусывала яркие губы.

— Дело твое, только потом жалеть будешь. Другие тоже мамки, а записываются.

— Да ну? Али уж записаться?.. Совестно чегой-то! Работы у меня непроворот, но ежели... Вечером разве? Народ у нас больно беспокойный. Одна Катерина чего стоит. Не люблю я ее, истинный Христос. Вот кабы ей мужа-то такого, как у Забродихи! Мой Конов тихой, а тоже, попадет эта дурничка в голову, ну и закружит. На днях занял денег у ребят... Гляжу,

приходит, весь бутылками обтыкался. Прогуляли полдня; а вчера сдали золото — только на хлеб осталось.

Возвращаясь домой, Маруся встретила Егора. После того, как он заступился за Надежду, девушка стала относиться к нему более внимательно.

— Гулять пошел?

— Погода хорошая, вот и хожу... А тебе и в праздник некогда?

— Почему некогда? Я тоже хожу.

— Поговорили! — сказал Егор с горечью и остановился возле кучи бревен, сложенных у тропинки. — Давай посидим.

— А чего же мы сидеть-то будем? Некогда мне. Надо ужинать да на репетицию бежать.

— Опять на Орочен?

— Опять, — сказала Маруся и взглянула на Егора. Он стоял хмурый, ломая сухую былинку. Руки у него слегка дрожали. — Была бы твоя воля, ты бы меня не пустил! — добавила она насмешливо.

— Сама ты не знаешь, что говоришь! Была бы моя воля... я бы взял тебя сейчас на руки и унес на горку.

— Похоронить, что ли?

— Смейся! — Егор сел, опираясь упрямым подбородком на жесткие ладони, посмотрел снизу на Марусю. — Капризная ты... Видишь, что страдает об тебе человек, ну и куражишься, а еще комсомолка! Фыркай-то каждая барышня умеет.

— Да разве я фыркаю? — возразила Маруся. Она уселась на бревнах повыше, достала из кармана жакетки пачку «Пушки» и закурила, неумело держа папироску.

— Маруся, да что же это такое? — спросил Егор, оторопев.

— Ничего особенного. Если я хочу курить, так это уж мое личное дело. Я еще и остриглась и... — тут смелость на минутку покинула ее; — и покрасилась. Я отсюда поеду в город, буду играть в кино. Мне в тайге надоело жить.

— Для чего покрасилась-то? — уже сердито спросил Егор.

Вместо
руками
смаз. пр
мнѣжко с
Егор
женая, с
некрасивой
— Вых
вродем на
гигисны и
и она брос
Тот, не
себя на ко
Тяжела
том, соско
поднял ее
рел, как я
Досада и
опустил го
к мертвым
уловимую
— Глу
нув. — Ар
та в них.
женщины.
чал, потом
бушка моя
хорошая, в
тебя уважа
— Отст
плечом, сб
сжатые ку
западе баг
шел, всегда
на она очен
— Как
ло, теребя
рад стал!
это ведь ма

Вместо ответа Маруся сняла платок, потрянула короткими волосами. Они рассыпались черными, как смоль, прядями, обрамляя ее странно измененное, немножко смущенное лицо.

Егор посмотрел, махнул рукой и отвернулся. Стриженная, с покрашенными бровями, она показалась ему некрасивой.

— Выходит, что ты мещанин, — сказала девушка, впрочем не совсем уверенно. — Длинные волосы для гигиены неудобство и голове тяжело. Вот они! — и она бросила узелок в спину Егора.

Тот, не оборачиваясь, нащупал его и развязал у себя на коленях.

Тяжелая коса, свернутая мягким, блестящим жгутом, соскользнула на примятую у его ног траву. Он поднял ее и, держа в широких ладонях, грустно смотрел, как ярко золотились на солнце отдельные волоски. Досада и нежность боролись в его душе. Потом он опустил голову, прижался губами, всем своим лицом к мертвым волосам. Они еще хранили какую-то еле уловимую теплоту.

— Глупая ты! — сказал он наконец, тяжело вздохнув. — Артисткам длинные волосы нужны, вся красота в них. А курить — неподходящее баловство для женщины. Краситься тоже срамota одна. — Он помолчал, потом заговорил умоляюще: — Марусенька, голубушка моя, зачем ты это на себя напускаешь? Ведь ты хорошая, вот ты и на себя непохожая, а я все равно тебя уважаю.

— Отстань! — крикнула Маруся и, сердито поведя плечом, сбросила Егорову руку, положила лицо на сжатые кулачки, пригорюнилась, глядя, как тлела на западе багряная заря. — И об чем бы разговор ни шел, всегда ты его на свою любовь переведешь! Нужна она очень!

— Как же без любви жить? — спросил Егор хрипло, теребя воротник рубашки. — Я теперь и жизни не рад стал! Хорошо, когда оба любят, а в одиночку... это ведь маята одна!..

— Забрали твоего Василия, — сказал Рыжков Надежде. — Связался он там с жульем... Известно, беспутная жизнь деньгу требует, вот они и смекнули одну старуху ограбить. А старуха водкой приторговывала и от кого-то вызнала, что к ней «гости» собираются. Сообщила, значит, в милицию, их и накрыли, и старуху тоже посадили за компанию. — С этими словами Рыжков вынул из кармана свернутую бумажку, передал ее растерявшейся Надежде. — Василий тебе из домзаку пишет, денег просит, чтобы переслала. Он теперь надолго сел, до старухи-то они еще склад какой-то подламывали.

— Сам, что ли, видел его? — спросил Зуев.

— Не, Санька Степаноза сказывал, у него и записка была.

— Дошерамыжничал! — сказал Точильщиков, перестав пикировать на гармошке. — Выселить бы его из района.

Заинтересовались и другие старатели, бывшие в бараке, заговорили оживленно:

— Денег ему посылай, баба! Во-от здорово удумал!

— Этаким стервец, уж провороваться успел.

— Ему, поди, не впервой, у него и взгляда-то воровская.

— Маруся где? — спросил Рыжков жену, разыскивая в обширных карманах шаровар пакетики покупок. — Вот тебе заказ, подвязки обеим и ленту дочке купил. — Сняв ичиги, он прилег на койку и спросил еще: — Надежда-то рада, поди-ка, что мужика запрятали?

— Может, и рада. Чего она с ним хорошего видела? Экий цепучий шелк-то на корявые руки! — Акимовна пересчитала пуговицы, одну поскоблила ногтем, попробовала даже зубом, определяя качество.

Надежда, прочитав записку Забродина, совсем расстроилась. Раз он еще пишет ей и требует денег, значит не хочет отступить от нее. И ее тянет за собой! Холодное озлобление охватило женщину:

— С
Был
Марусю.
— П
— Д
— А
Наде
— С
вали!
— Та
крайней
— Ка
Навязали
ла Наде
нилась к
Мару
Егором
поступке
нибудь ч
еще боле
плечи
всхрапы
платок
ли: на п
ла ее с
Опоздал,
вздохом
свои рук
ти к ум
бочих, М
покосила
ная, аж
— От
Акимовна
сю, охнул
бесстыдн
бледные
тука, тон
лась-то,
перь чис
— Ну

— Сдох бы там, ворюга проклятый!

Выйдя из барака за дровами, она встретила Марусю.

— Пришел отец с Незаметного?

— Давно уж.

— А ты что такая невеселая?

Надежда неожиданно заплакала.

— С чего мне быть веселой? Василья-то арестовали!

— Так почему же ты плачешь? Освободилась по крайней мере.

— Кабы освободилась!.. А то опять возвернется. Навязали его черти на мою головушку! — проговорила Надежда и, вытерев рукавом мокрое лицо, наклонилась к поленнице.

Маруся прошла в свой угол. После разговора с Егором Нестеровым она уже раскисалась в своем поступке и была бы счастлива, если бы коса каким-нибудь чудом приросла обратно. Широкая спина отца еще более смутила ее. Он лежал, прикрыв голову и плечи пиджаком, слегка подогнув ноги, и густо всхрапывал. Что-то еще он скажет? Маруся скинула платок и жакетку и остановилась возле своей постели: на подушке лежала яркая лента. Маруся схватила ее с детской радостью. «Отец, наверно, принес! Опоздал, тятенька», — подумала она с тяжелым вздохом и, положив ленту на столик, посмотрела на свои руки. Пальцы были синие от голубики, но выйти к умывальнику сейчас, когда в бараке полно рабочих, Маруся не решилась; взялась за прядь волос, покосилась на нее и зажмурилась: «Черная-пречерная, аж страшно!»

— Отец-то тебе, доченька... — заговорила бойко Акимовна, откидывая занавеску, но, глянув на Марусю, охнула и села на скамью. — Косы... косы-то где, бесстыдница? — Слезы так и закапали, сразу смочив бледные щеки Акимовны. Она ловила их краем фартука, тоненько приговаривала: — Чем ты начернилась-то, го-осподи! Была головка, как маковка, а теперь чистый китаец!

— Ну, и пускай китаец! Жалко тебе?

— Что у вас случилось? — сонным голосом спросил Рыжков.

Акимовна вскочила, хлопнула себя по бедрам, ссыпая с фартука мучнистую пыль.

— Ты погляди-ка, отец, погляди, чего она наделала! Косу обрезала, а что уцелело на голове, сажей напачкала али чернилками.

— Вот не знаешь, а судишь, — оборвала ее, вся вспыхнув, Маруся. — Выкрасила у парикмахера специальной краской, хна-басмоль называется. Я спрашивала секретаря ячейки. Он говорит: «Остричься очень даже советую, а насчет краски, говорит, я не разбираюсь, это, говорит, твое личное дело».

Рыжков тоже не понимал, почему дочери захотелось стать черноволосой, но раз жена плакала — значит следовало и ему сделать какое-нибудь внушение.

— Ну-ка подойди, — приказал он и, притянув Марусю за дрогнувшую руку, потрогал ее остриженный колючий затылок. — А я тебе ленту принес, — сообщил он и досадливо хмыкнул. — Крашенные-то волосы еще повылезут. Куда тебя тогда, плешивую?

— Батюшки, да у ней папироски! Коробка початая... и со всем припасом!

Девушка оглянулась через плечо и увидела в руках матери свою жакетку. Акимовна уже не плакала: негодование, охватившее ее, сразу высушило слезы. Она давно привыкла к «табашникам», но вид курящей женщины возбуждал в ней чувство отвращения. А тут родная дочь... «Статочное ли дело девчонке палить проклятое зелье!» Фанатичная душа раскольниковы вдруг пробудилась в Акимовне. Чужое лицо с неистово горящими глазами и скорбно поджатым ртом приблизилось к Марусе, которая невольно, опешив, прижалась к отцу.

Рыжкова тронуло доверчивое движение дочери: она как бы признавала вину и искала защиты.

Но раздумывать было некогда. Он сел на постели, заслонил дочь и легонько оттолкнул разъяренную жену.

— Чего шумишь, не разобравшись. Мои это папироски! Мне она купила... за ленту, — неумело соврал

он и для пущей верности пошутил: — Правду говорят, бабий ум, что коромысло, — и косо, и криво, и на два конца, хоть к чему прицепится.

— Так початая ведь...

Маруся, обрадованная неожиданным исходом дела, сказала тихонько:

— Я Егора угощала, и спички его.

Однако мать еще не успокоилась.

— А ну-ка, дыхни!

Маруся «дыхнула». Табаком почти не пахло, и Акимовна ушла, покачивая головой, терзаемая печалью и сомнением.

— Ты вправду думал, что я тебе купила? — спросила Маруся, присев на край постели.

— Ничего я не думал. Драть бы тебя надо, да большая уж — совестно!

— А ты не сердись, — сказала Маруся и погладила тонким пальцем его выпуклую бровь. — Не дали мы тебе подремать.

— Я и не дремал, только всхрапнул да присвистнул.

Маруся счастливо рассмеялась, подняла тяжелую руку отца и, как в детстве, прижалась к ней щекой.

24

Акимовна шила старателям рубахи. Швейная машинка была старая и, несмотря на частую смазку, стучала вовсю. Даже внутри у нее что-то звякало. То и дело ослабевал винт, скрепляющий переднюю часть изношенного «станка», и колесо начинало вихлять в стороны. Тогда Акимовна хмурила красивые темные брови и почерневшими, тоже расхлябанными ножницами начинала заворачивать «проклятый винт».

— Оскудело хозяйство, подь ты совсем!

По другую сторону стола, у окошка, Надежда прометывала петли у готовых рубах. После того как Забродин поломал ее машинку, она лишилась приработка и прокармливалась только около сынков. Из старых, ничего не уплатив, ушло четверо, взамен ушедших при-

бавилось пятеро новых, но и они пользовались ее услугами в долг. Жилось трудно и невесело. Правда, в барак частенько заходили старатели из богатых артелей: многих привлекала миловидная женщина, но она «не чаяла, как с одним развязаться».

Вспоминая годы, прожитые с Забродиним, Надежда даже жалела его — с таким характером человек сам себе враг. До встречи с ним она работала в Благовещенске прислугой. Прельстись ее цветущим видом, Василий долго, словно ястреб, кружил возле нее. Он ей нравился, но ее смущало то, что он не сватался, а норовил обойти попросту. Раздосадованный неудачей, пригрозил вымазать дегтем ворота. Надежда не поверила, но у него слово с делом не расходилось, и Надежду уволили. Она перешла к другим хозяевам. Забродин выжил ее и оттуда, прибегнув к испытанному средству. Переменив несколько мест, она, вволю наплакавшись, согласилась идти к нему в сожительство.

На шестой день совместной жизни он напился пьяный, поколотил ее, и они поехали к его матери на Зею.

— Она там в своем доме живет, — хвастал Василий.

Приехав домой, он сначала лодырничал, шлялся по городку, а потом неожиданно исчез. Надежда осталась с выжившей из ума старухой в пустой избенке, одиноко торчавшей в бурьяне, среди глухого огорода.

Надежда оторвалась от дум, когда проколола иголкой палец. С минуту она смотрела на растущую алую ягодку, стряхнула ее, пососала уколотое место и снова начала вспоминать, растравляя старую тоску.

После исчезновения Забродина она нанялась поденщицей на дальний покос... Однажды, рано сметав последние копны, она прихватила кузовок и прошла по лугу к лесу; изредка наклонялась, загорелыми пальцами срывала краснеющие на кочках спелые ягоды княженики. На поляне, за частым перелеском, ходили спутанные лошади Надеждиного хозяина. Тонконогий жеребенок со звездочкой на лбу бегал по лесному окрайку. Кобыла то и дело беспокойно оглядывалась на него, роняла с губ клочья обьеденной травы и зеленую

пену, подзывая его тихим ржанием. День уже клонился к вечеру. Звери поднимались на кормежку, и хищный их шорох слышался матери в тенистых чащах.

Буланый жеребец с темным ремнем по хребту и пышным черным хвостом вдруг перестал есть, тревожно всхрапнул, повернул к лесу гривастую голову, раздувая ноздри. Надежда отвела рукой ветки ольхи и тоже взглянула в ту сторону. Какой-то человек, припадая за кустами, подбирался к лошадям. У Надежды задрожали ноги, и она опустилась на землю. Сизый ствол ружья блеснул в ее глазах, она зажмурилась, и в это время гроыхнул выстрел...

Раненый жеребенок, обливаясь кровью, закружил по поляне, за ним с испуганным ржанием тяжело скакали взрослые лошади. Человек помедлил минуту, потом вышел из кустов, и Надежда узнала в нем мужа... Забродин быстро огляделся, выломил дубинку, начал отгонять лошадей.

Жеребенок кружился все медленнее, почти на месте. Один глаз у него был выбит, и кровавые слезы катились по коротенькой шерстке. Мотая раненой головой, он рухнул на колени, ткнулся боком в траву, дрогнул раз, другой и замер. Отогнав лошадей, Забродин вернулся, но в березнике захрустели шаги, и он припал возле жеребенка.

Из чащи раздался тихий свист. Василий приподнялся и тоже свистнул, потом перебросил ружье через плечо, схватил добычу, поволок в ту сторону. Навстречу ему выскочил другой в широкой опояске, с легкой котомкой за спиной, и оба быстро исчезли за березками.

Утром хозяин долго ходил по лесу, разыскивая напуганных лошадей; видел кровь и помятую траву на поляне, но следы затерялись на кочковатой земле у ключа. Жесткая осока за ночь выпрямилась, и мужик решил, что жеребенка зарезали волки или медведь.

Когда Надежда приехала с покоса, Забродина дома не было. Он явился только через два месяца, злой и оборванный: попался со спиртоносами в станице Черняевой и сидел в тюрьме. Надежда сказала ему, что жить с ним не будет, и до того осмелела, что назвала

его бандитом. Василий выслушал молча, а потом набросил ей на голову одеяло и так избил, что она не смогла подняться.

— Рано сегодня смеркается! — сказала Акимовна, подбирая обрезки материи. — Все небо обложило. Устаю смотреть ушибленным-то глазом, так вот заломит, заломит в висках. Как это я на сук-то напоролась, батюшки! Могла ведь и вовсе окриветь. Давай уж бросай. Чай пить охота, а Маруся где-то запропала.

Акимовна помешала в печке короткой клюшкой. Крыша возле трубы протекала, и грязные потеки, шипя, сползали по нагретому железу. Дождь шел с самого утра и к вечеру усиливался.

Маруся на этот раз не заставила ожидать себя слишком долго и явилась еще засветло в чужом мужском дождевике. Из-под наброшенного на голову капюшона влажно блестело ее гладкое личико.

Она повесила дождевик поближе к печке, морщась, стащила разбухшие сапоги и пробежала к столу с книгой, захватив по пути материну шаленку.

— Опять принесла, — сказала Надежда, с любопытством взяла книгу и посмотрела картинку на обложке.

— Ты погоди с чтением, — сказала Акимовна, — поешь сперва. Будет уж голову-то забивать!

— Я не хочу есть. Пила чай у ребят.

— Беда с тобой, право! Нашла у кого чаи распивать. Они ведь, поди-ка, все холостежь?

— Ну и что из этого? Бросьте вы со своими пред-
рассудками! Для меня они не холостежь, а товарищи.

Акимовна презрительно хмыкнула:

— Гусь свинье не товарищ.

Маруся обиделась:

— Рассуждение у тебя... совершенно отсталое. Лицемерность одна! Вроде старых девок: ах, ох, а сами в щелочку на парней заглядывают. — Маруся помедлила, отыскивая заложенную страницу, потом сказала вслух, но как будто рассуждая сама с собой: — Надо, однако, перейти на горные работы. Что я в конторе с моей грамотой делать буду? Лучше учиться на десятника, все-таки можно до смотрителя дослужиться.

— Куда тебе на горные работы? — испуганно всплеснув руками, сказала мать. — Девушке да по ямам лазить! Еще оборвешься да искалечишься. С мужиками возиться... И не думай!

Надежда закрепила последнюю нитку, откусила ее неровными, чуть желтоватыми зубами, трустно покачала головой:

— А в актрисы-то раздумала уже?

— Ну, какая из меня актриса!

Крашенные волосы Маруси приняли зеленоватый оттенок, от корней уже посветлели, и, глядясь по утрам в зеркало, девушка каждый раз испытывала чувство стыда и досады. Недавний разговор с Черепановым особенно поколебал ее намерение идти в киноактрисы. Черепанов сказал ей:

— Чтобы быть артисткой, нужно иметь талант.

Есть ли у нее талант, Маруся не знала и очень приуныла, когда узнала, какое трудное дело — стать кинозвездой. Черепанов — парень серьезный, не станет же он обманывать.

Надежда как бы угадала ее последнюю мысль.

— Говорят, секретарь партийного комитета ухаживает за тобой?

— Сплетни, — строго отрезала Маруся.

Черепанов ей нравился, но он был сдержан и товарищески прост. И сама она еще не задумывалась по-настоящему о семейной жизни.

«Путное образование не смогли дать, а теперь специальности нет. Остаться ученицей в конторе... до восемнадцати лет еще далеко, но на какую должность зачислят потом? Научилась подшивать бумаги да принимать телефонограммы. Проситься куда-нибудь на рабфак — не на что ехать».

На улице шумно и тоскливо свистел ветер, трепал длинный клочок моха, повисший над окошком. Крупные капли дождя шлепали по стеклу и стекали, как слезы.

— Вот в такую-то слякоть небольшая радость... на горных-то работах... грязь месить. А зимой вовсе беда, — доносился от печки голос матери, прерываемый треском дров. Акимовна старалась протолкнуть в узкую дверку суковатое, измочаленное топором полено

и, когда искры брызгали ей на фартук, сердито отряхивалась и что-то ворчала себе под нос.

— Знаю, что нелегко, да ведь надо же чем-нибудь толковым заняться.

— А я так вовсе бестолку живу, — промолвила Надежда и, облокотясь на стол, положила на руки пышноволосую голову. — Мне бы сейчас в самый раз уехать отсюда, пока Василий сидит. В деревню он не поедет. Сестра-то меня ждет, поди... Мы с ней дру-ужно жили!

Маруся вздохнула: ее никто нигде не ждал, — открыла принесенную книгу.

Фамилия автора не совсем хорошая, вроде даже ругательная — Скотт, но, читая его книги, Маруся уносилась из своего барака бог знает куда. Нарядные красавицы важно шествовали по комнатам замков. В мрачных подземельях томились пленники. Звенело оружие на рыцарских турнирах, скакали лошади, сверкая дорогой сбруей. Рыцари, завоевывая сердца своих прекрасных дам, безжалостно пронзали друг друга копьями и мечами. Мрачная история Англии, походы крестоносцев, битвы и завоевания ошеломляли Марусю. Огромный, полный движения мир распахивался перед нею, приковывая к себе ее неискушенный ум. Она неуверенно пробиралась в этом мире, следя за приключениями милых сердцу героев и коварных злодеев, сердилась на свою неразвитость.

Вот норманны!.. Почему она никогда не слыхала о таком народе? Что это за страна, где сражались за господний гроб, и каким образом гроб там очутился?

Мать собрала на стол, с трудом оторвала Марусю от занимательной книги.

К чаю свежие ржаные шанежки с пшенной кашей... А сколько кушаний подавалось на рыцарских пирах! Маруся похрустывала корочкой, сверкая глазами на сидящую напротив Надежду, пила с блюда чай, обжигалась и рассказывала о прочитанном. Надежда ела не торопясь. Она любила слушать, когда рассказывали.

— Выдумки, наверно? — заметила она осторожно. — Неужели взаправду такое было?

— Почему выдумки? Раз исторический роман — значит взавправдашнее. Вот у нас история рабочего движения — записано то, что происходило в жизни.

Акимовна вздохнула:

— И распустить нашу сестру — хорошего мало. Эко добро какое: мужики кололи друг дружку, а они любовались! С жиру бесились, не иначе. У нас тоже бои бывали, стенкой на стенку выходили на кулачки... Сначала шутя, а после в колья. Чего уж тут бабе глядеть? Срамота одна.

25

Черепанов любил находиться среди людей, но, переступив порог рыжковского барака, вдруг ощутил чувство странной неловкости и только тогда подумал, что заходить не следовало: старатели были еще на работе. Его выручила Маруся. Она в этот день пришла домой раньше обычного и сидела на своей постели, накрыв пальтишком босые ноги. Голова ее повязана мокрым жгутом платка, глаза лихорадочно блестели.

— Ты меня пришел проводить? — спросила она, простодушно протягивая ему горячую руку. — А я вправду расхворалась. Голова болит, даже тряхнуть ею не могу, будто она у меня гвоздями набита.

Черепанов сел на скамейку, беспокойно огляделся.

— Купалась, наверно?

— Купалась на Орочене, за дамбой. Там теперь глубоко стало, но вода страшно студеная. Смотри, как сразу ошетибилась! — говорила Маруся, поеживаясь и удивленно разглядывая на свет обнаженную до локтя руку.

— А ты ляжь да укройся! — сказала Акимовна.

— Разлеживаться хуже. Это я только в конторе не смогла: смотрю на бумаги, а у меня слезы, слезы...

— А вообще в конторе тебе нравится?

— Нет, не нравится. Скучно! Входящие, исходящие, полдня на телефоне висишь, и ничего интересного.

— Что же тебе хотелось бы делать? — спросил Че-

Черепанов и быстро обернулся. В барак вошла Надежда, нагруженная свертками.

Одним взглядом он охватил ее, от белокурой непокрытой головы до стройных ног, обутых в черные на низком каблуке башмаки.

— Конфет купила? — спросила Маруся.

— Купила дешевеньких.

— Ну, будем пить чай с дешевенькими, а в другой раз Черепанов принесет нам хороших. Принесешь?

— Принесу, — пообещал он и снова пристально взглянул на Надежду. Она смотрела на него спокойно и дружески. — Значит, в конторе тебе не нравится? — переспросил он Марусю, невольно вздохнув.

— Нет. Мне кажется, из меня совсем ничего не получится. Поживу, поживу, выйду замуж и стану самой простой бабой. Мне раньше казалось — лучше умереть, чем так кончить, а теперь нет-нет да и подумаю! Только я хотела бы стать не простой бабой, а хорошей. Мужа бы жалела, берегла и чтоб обязательно дети. Всякие... черненькие, беленькие, вот как у жены фельдшера. Я бы их штук шесть родила, тогда был бы смысл... Размножилась бы!

Черепанов слушал болтовню девушки с любопытством, Надежда одобрительно, мать смущенно.

— А что, если тебе сразу подбросить человек пятьдесят? — спросил Черепанов после небольшого раздумья.

Маруся удивленно посмотрела на него:

— Почему пятьдесят?

— Любишь ты их?

— Теперь начала любить. Нет, не теперь, конечно... Они мне всегда нравились, я маленьких жалею. Но мне просто некогда было с ними. А теперь... Вот у жены фельдшера... Я после работы часто к ним забегаю и хоть минуточку подержу на руках Вальку — это самый маленький. Он еще грудной. Он меня хорошо знает и всегда мне улыбается.

— Тогда тебе надо идти работать в детский сад, — сказал Черепанов спокойно.

Маруся стащила с головы повязку и, свернув, тихо положила ее себе на колени.

— В детский сад? Ты, Черепанов, шутишь или как?

— Без всяких шуток.

— Но ведь я же не умею работать в саду. Ведь не уборщицей же ты мне предлагаешь? — говорила Маруся, прижимая ладони к горящим щекам. — Нужно же быть педагогом.

— Научишься. И не педагогом. Мы тебя поставим заведующей.

— Ой!

— Что ой? Ты особенно-то не волнуйся. Езжай в сентябре на Незаметный: курсы работников по дошкольному воспитанию будут открыты при райкоме союза. Подучишься и начнешь действовать. Вон Луша Ли Фун-чи собирается в детских яслях работать. И своего будущего младенца туда же определит.

Забыв о болезни, Маруся начала торопить Акимовну с чаем. Сама принесла варенье из черники, шаньги. И так много говорила и смеялась, что щеки у нее стали совсем пунцовые.

— Без тебя не обойдется, — ворчала Акимовна. — Вот набегаешься и вовсе свалишься.

Когда Егор пришел с работы, он даже испугался, увидев за столом Черепанова. «Сговорились никак», — подумал он, вешая спецовку на деревянный гвоздь у дверей, хотел было уйти из барака, но, пересилив дикую робость, умылся, достал с полки кружку и начал наливать кипяток из чайника, стоявшего на печке. Руки его дрожали, нечаянно он толкнул железный лист и опрокинул ведро с супом, оставленное Надеждой. Почти с отчаянием смотрел Егор на лапшу, плывущую по неровному полу. Суетня вскочивших из-за стола женщин вывела его из оцепенения. Быстро прошел он мимо смеющихся старателей и выбежал из барака.

— Вот чудной Егор, господь с ним! — сказала Надежда. — Подумаешь, беда какая случилась! Сейчас только консервы открыть, и новая похлебка готова.

Черепанов засиделся у Рыжковых допоздна. Явились старатели из соседнего барака, и время в разговорах прошло незаметно. Когда Черепанов собрался идти домой, Зуев пошел с ним вместе. Старик проводил его по ключу и стал подниматься с ним в гору.

— Легкий ты человек, Мирон Устинович, нет на тебе накипи никакой: ни злобности, ни зависти, — говорил он, шагая впереди. — Потолкуешь с тобой — вся жизнь ровно на ладошке. Этак все ладно получается. А нутро твоё для меня непонятное. Какая в тебе пружина действует? Заработок у тебя небольшой, хлопот много... А ведь мог бы ты по своему положению на богатую делянку попасть. Да с твоим-то здоровьем да с молодостью! Сказывают, будто сам царь не побрезговал на Урале в забое покайлить. И выкопнул он там самородку с конскую голову. Только все это механика была у тамошнего начальства, чтобы отличиться перед царем. А самородку ту раньше нашел шахтер один, а вместе с ней смерть себе нашел. Почему фарту не ищешь? — Старик Зуев даже остановился, и Черепанов, шедший сзади по узкой тропинке, наскочил на него.

— Я тоже фарт ищу, отец! — сказал Черепанов. Зуев покачал головой укоризненно. Клиноватая борода его смутно белела в ночном сумраке.

— Шутишь все! Кто же его так ищет? В землю надо смотреть. Земля счастье хранит! — С этими словами старик уверенно топнул ногой. Под сапогом звонко откликнулась сланцевая щебенка.

Было свежо; ветер тихо покачивал редкие на горе кусты стланика, в лощинах дымились туманы.

— Счастье наше, отец, не в земле, а в нас самих, и каждый его открывает по-своему, — возразил Черепанов. — Твой фарт, как ты его понимаешь, — просто удача. Его люди всегда искали: продал купец товар с прибылью — фарт, оттягал кулак землю у соседа — тоже фарт. А есть еще и воровской... — Черепанов заметил резкое движение Зуева, твердо сказал: — Ты Саньку Степанову знаешь? Он ведь тоже ищет... где бы сжулить, спиртешку достать, перепродать. Забродина вашего возьми... Страшный человек! Этот работников на себя ищет. Хочешь ты на него работать? Нет? Так он тебя воровством своим заставит.

— Он заставит. Верно. А по-другому как?

Черепанов помолчал в раздумье.

— По-другому? Вот о Рыжкове Акимовна сказала:

«Заразился приисками. Вечный старатель». Но старатели разные. Одни форта в самородке ищут, а иные, такие как Рыжков, к большому стремятся. Ведь Рыжкову только шаг сделать к настоящему фарту, к счастью, которое поднимает душу человека. Вот возьмем Ли Фун-чи, к примеру. Пришел он сюда неграмотным китайским парнем. Темный, забитый был, но сердцем чистый. Пригрел его советский строй, и потянулся паренек не за самородком золотым, а к знанию, к свету, и в том форт для себя открыл. Но не успокоился: дальше ищет, и все новые богатства открывать будет и в своей душе и в окружающих людях. Жизнь его будет с каждым годом все богаче, красивее, интересней. Можно ведь сытно жить в теплом углу, деньги иметь, вещи приобретать. Мы не против зажиточности. Но если нет при этом общественного интереса, то это жизнь плохая и человек от нее злой становится, точно цепная собака. Ведь собака на цепи не конуру свою охраняет, не хозяйское добро, а от скуки бесится. Разве мы можем о таком счастье мечтать? Нет! По-нашему, счастье только в коллективе, где каждому подходящее место найдется. Чтобы он не бился из-за куса хлеба, а мог развернуться во всю ширь не в дурости, понятно, а в самом лучшем. Чтобы после оглянулся на себя и сказал: «Да неужели это я такой пришибленный был?»

Зуев тихонько рассмеялся.

— Чтобы всем, говоришь, место нашлось? А ведь многих ты обижаешь, Мирон Устинович. И враги у тебя есть. Е-есть! Помнишь, шла у вас перепалка из-за разведок на устье Орочена? Круто вы тогда дело повернули, дорогие товарищи! Оно и верно, если бы послабее напирать, золото до сих пор лежало бы нераскрытое. А только я так смекаю, может и не имелось вины у тех, которых вы поснимали. Может, золото им просто не давалось, либо уменья не хватило.

— Были и такие. Если нам деликатности с ними разводить, мы на месте топтаться будем. Свой человек не обидится, когда его толкнут нечаянно.

— Чудной ты! — ласково сказал Зуев. — Ну, ладно, иди домой, отдыхай. И мне давно на боковую пора.

Состарился, кость стала сухая, легкая — ко сну не тяготит. Помирать скоро, а все чего-то ждешь в жизни, и все нету. А увидеть — страсть охота. Вот чего ради я за тобой увязался? Спал бы себе, старый дурак, а то теперь обратно переться надо.

— До свидания, отец!

— Прощай, Устиныч.

Старик отстал, но еще долго глядел вслед Черепанову, пока тот не скрылся за кустами.

Черепанов шел медленно. Глухо шумел слева, в вершинах ключей, дремучий хвойный лес. Мощное дыхание его Черепанов чувствовал на своем лице. Глухарь тяжело сорвался с одиноко стоявшей высокой сосны. Шумный мах его крыльев утонул в тумане.

«Вот здоровый какой! — подумал Черепанов, невольно вздрогнув. — На охоту бы сходить, что ли, рябчиков попугать».

И на общительного Черепанова находила иногда жажда тишины. Он любил суровую и прекрасную северную природу, был легок на ногу и, как на праздник, отправлялся в тайгу к геологам, ведущим разведку в зоне приискового управления, к лесорубам или рабочим-покосчикам. С ружьем за плечами, в мягких ичигах, зимой на лыжах он безустали преодолевал огромные пространства... Но на зелено-бело-голубых просторах ему всегда не хватало вида человеческого жилья... Одиноким дымком лесного зимовья сразу ущемлял его сердце тоской и радостью.

«Хотя бы один поселок на пятьдесят, на сто километров, — говаривал он дружку Ли Фун-чи. — Представь-ка, если бы среди этих гор бежала лента шоссе... Асфальт бы! Перекинь мосты через наши реки — куда тут Швейцария! В небе серые оскалы гольцов, по нагорьям альпийские розы... Ельники, сосновые боры... Олени пасутся на моховищах. Зимой, правда, холодно... Но летом-то жара! Выращивай и лук и редиску, и картошка вовсю растет».

Любое начинание по сельскому хозяйству на приисках Черепанов приветствовал с воодушевлением, радуясь каждому клочку вновь обработанной земли. Он внимательно присматривался к бывшим огородни-

кам-китайцам. Знание китайского языка помогло ему сблизиться с рабочими-восточниками. Ли Фун-чи был не первым, кого он привлек к общественной работе. Горячо интересовали его и горняки-корейцы. Он уважал их за трудолюбие, за скромность и честность — самые дорогие для него качества в человеке. Но среди восточников еще действовали старшинки, которые вели себя в артелях как хозяйчики-арендаторы...

«Сколько разной гадости! Так и прет частная стихия из каждой щелки! — говорил Черепанов, делаясь с Ли Фун-чи своими мыслями после жаркой схватки на последнем артельном собрании. — Уже решен в стране вопрос — кто кого. Побили собственников в торговле, побили в промышленности, в сельском хозяйстве начинаем побивать... А у нас на приисках, при мелком старании, какой еще простор стремлению к наживе! Кустарничество! Хищничество! Теперь дано указание о механизации приисковых работ!.. Вот когда наша таежная окраина почувствует результаты решений четырнадцатого и пятнадцатого съездов партии. Далеко же видел Сталин, поставив вопрос об индустриализации страны! Но какое бешеное было сопротивление! Тянули и назад, в прошлое, и на явный провал, на безрассудство. А кто? Да те же выкормыши буржуазии. Гнилые интеллигентки, которым наплевать на таких, как Афанасий Рыжков, как старик Зуев, или тот же Фетистов, или Егор Нестеров — хороший парень! Весь этот народ тоже до сих пор не понимает, какой переворот в его жизни сделали решения партии. Но большой переворот будет и замечательный!»

Черепанов вспомнил этот разговор, шагая по каменистой дорожке, и остановился вдруг, взволнованный до глубины души. Все в нем словно открылось в этот миг в едином порыве гордой, любовной радости за себя, за свою страну, за свою партию.

— Правильно идем! Сильно и верно идем! — сказал он вслух, представляя могучие экскаваторы, поставленные на горные работы, и то выражение изумления и восторга, с каким созерцала их толпа собравшихся землекопов с натруженными, жилистыми рука-

ми и суровыми и трогательными, сосредоточенными лицами.

...Внизу из-за косогора показались огни на устье Орочена. В тумане они проступали лишь мутными пятнами, сливаясь в широкое бледножелтое зарево. Одинокие кусты стланника чернели у самой тропинки, словно сторожили прохожего, но Черепанов, проходя мимо, смотрел в сторону прииска. Позади неожиданно послышался шорох шагов. Хрустнула ветка. Черепанов оглянулся и сразу был оглушен жестоким ударом в голову. Он покачнулся, но не упал, а медленно сел на влажную от росы землю. Все закружилось перед ним, теплое потекло по лицу, на шею, на грудь... Но пальцы уже открыли кобуру нагана. Неган оказался страшно тяжелым. С усилием, сжав зубы, Черепанов поднял его, успел найти приближающуюся черную цель и выстрелил...

26

Утром, идя на работу, Маруся увидела около больницы кучку женщин. В середине стояла толстая, как ступа, Ивановна, Марусина ученица, и слегка покачивала маленькой головкой, слушая бабы разговоры.

— Вы что собрались, кумушки? — весело спросила Маруся, проходя мимо.

— А ты ничего не слыхала?

— Нет, — сказала Маруся и остановилась.

— Партийному секретарю голову проломили!.. Камнем, до крови, — наперебой заговорили бабы.

— Сиделка вот рассказывает — бинтов сматили на него без конца.

— Может, и помрет, если в мозгах кровь запечется...

— Так и очень просто, помереть недолго.

Маруся сразу побледнела, слезы затуманили ясный взгляд. И так открыто и чисто выразилось ее искреннее огорчение, что прослезилась и Ивановна, а за ней и остальные приисковые подружки: всем вспомнилась дружелюбная простота секретаря партийной организации.

Девушка?
намокшие рес-
нички.

— Где он?
— У себя.
— В бате-
Маруся до-
дороге к барак-
ей вслед.

— Слово
— Да как
— А не из-
ла предположе-

зимовщица. —
вечером выбеж-
говаривает кто
кам, насколько
на дороге: этак

брехать не стан-
сюда шла, а Е-
Не иначе — эт

— Парень-т
такое, — возра-
шут. Ох, и лю-

Разговоры п-
И долго еще тре-
ходивший мимо

— Загалдели
тенорком. — Гд-
все развлечение.

Вечером нео-
стало известно, ч-
ко под утро. Где

милиционера уве-

Ветер вздувал
китина, трепал п-
на краю неглубо-

Девушка провела ладонью по лицу, подняла намокшие ресницы, в глазах ее загорелись злые огоньки.

— Где он сейчас?

— У себя дома.

— В больнице не захотел лежать.

Маруся до боли сжала кулаки и быстро пошла по дороге к барaku Ли Фун-чи. Женщины долго смотрели ей вслед.

— Словно своего родного жалеет!

— Да как не пожалеть, бабы!

— А не из-за нее ли тюкнули-то его! — высказала предположение юркая, точно ящерица, старушонка-зимовщица. — Уж не Егорово ли это дело? На днях вечером выбежала я за кладовку и слышу, будто разговаривает кто потихонечку. Я по кустикам, по кустикам, насколько могла близко подобралась. Стоят они на дороге: этак Егор, этак Маруська. Чего говорили, брехать не стану — не слыхала, а только, видать, она сюда шла, а Егорка-то ее отговаривал. Долго стояли. Не иначе — это его работа!

— Парень-то степенный! Вряд ли пошел бы он на такое, — возразила Ивановна. — Хотя с ревностью не шути. Ох, и лютое же чувство!

Разговоры перешли на мужей, измены и ссоры. И долго еще трещали бабы, пока не пристыдил их проходивший мимо старик Фетистов.

— Загалдели, вороны... — сказал он дребезжащим тенорком. — Где, можно сказать, неприятность, а вам все развлечение.

Вечером неожиданно арестовали Егора, так как стало известно, что он в ту ночь пришел в барак только под утро. Где он был, он отказался сообщить, и два милиционера увели его на Незаметный.

Ветер вздувал пузырем распоясанную рубаху Никитина, трепал пряди его мягких волос. Мишка стоял на краю неглубокой ямы, ожидая, пока другой стара-

тель нагружал тачку. Откатку производили двое, три человека работали в яме, вся артель была налицо. Деляну эту они получили недавно и торопились использовать последние хорошие дни уходящего лета.

С весны Никитин уже успел переменить три артели, но нигде не заработал. Неудачи не особенно огорчали его. Он не привык серьезно задумываться над жизнью, а жил беспечно и просто.

Пить водку Мишка научился еще совсем желторотым юнцом. Вступая в комсомол, обещал прекратить выпивку, однако старательская среда, в которой он жил, не допустила подобного отступничества. Везде, где он показывался, старатели угощали его настойчиво, а он не умел отказываться; после гульбы жестоко сокрушался, получая нагоняй в ячейке, раскаивался... и снова не выдерживал.

Когда его исключили, он сначала загрустил, а потом махнул рукой и увлекся поисками форта.

Сейчас Мишка стоял и думал о предстоящих промывках, вспоминал, как «фунтили» старатели на Верхне-Незаметном в двадцать четвертом году. Он заработал тогда в одно лето около десяти фунтов золота, а ему не было и семнадцати лет. Не зная, что делать с таким сказочным богатством, он очертя голову проиграл добрую половину в карты, а остальное прокутил в компании прихлебателей, восхищенных его щедростью и безрассудным молодечеством. С тех пор и закрепились за ним горькая слава «компанейского парня».

Старатели закончили углубку ямы и, отдохнув, начали вскрывать «торфа» вверх по деляне. Мишка Никитин работал теперь в забое. Из-под кайла его брызгали белые искры, обрушивались плотные комья породы.

Подравнивая низ забоя, он ударил кайлом раз, другой, и вдруг что-то блеснуло перед его взглядом. Он так и застыл, подавшись вперед напряженным телом. Все мысли мгновенно исчезли, и осталось только вот это: кайло в руках, буро-желтая разрушенная земля и яркая царапина в углублении забоя. Старатель упал на колени, осторожно ковырнул блестящее, и из-под же-

лезного носа кайла вывернулся на его ладонь небольшой грязный камень.

Уже по одному весу, не глядя, он узнал бы, что это золото, поднялся, ошалелый от радости, и долго протирал находку подолом рубахи. Остальные старатели нетерпеливо переминались вокруг, ревниво следя за его движениями.

Матово-желтый, поцарапанный сбоку самородок, похожий по форме на уродливую картофелину, глянул на них с Мишкиной ладони. Он переходил из рук в руки, им любовались, нежно оглаживали его неровности.

— Фунта полтора потянет! — сказал бывший зимовщик Быков, прикидывая находку на вес.

— Да, пожалуй, не меньше.

— В конторе определяют.

— Сдавать понесем, узнаем.

«Сдавать в контору» — эти слова сразу охладили пыл золотоискателей, и они, присмирев, посмотрели друг на друга. Кто-то вздохнул, и всем стало жалко отдать самородок. Не то что они мало получили бы за него — оплачивают неплохо, но так заманчиво иметь свое золото! Хоть пропить, хоть перепродать, но распорядиться им по собственному усмотрению. У косого Быкова даже руки затряслись.

Другие старатели тоже призадумались. Все чувствовали себя неловко. Некоторые раньше занимались хищением, но вместе собрались впервые, еще не снюхались, да и как утаить один самородок на пятерых?!

— Может, там еще есть? — выразил артельщик Григорий общую мысль, и все принялись искать, разгребали породу, осторожно кайлили, растирали комки в ладонях. Несколько маленьких самородков успокоили их, и Быков пошел за лотком.

Народу в вершине ключа была мало, и до вечера артель незаметно промыла лотков двадцать. Прежде чем идти в барак, копачи договорились, что никому не скажут о своем фарте, а дня два будут мыть тайком. Они числились на подготовке, и горный надзор к ним заглядывал редко.

Мишка тоже согласился на хищение. Он хотел

оставить себе найденный самородок, хотя и не представлял, куда приспособит эту огромную золотину.

На другой день утром, выйдя из барака, он увидел Григория, разговаривавшего с китайцем в круглой шляпе и дабовых штанах с отвислой мотней. Мишка не сразу узнал в этом старателе, худом и длиннозубом, веселого Саньку Степанозу.

Артельщик отошел в сторону, подмигнул Мишке.

— Просится в артель, — сказал он, кивая на китайца, — учуял, где жареным пахнет. Пай вносит шестьсот рублей... Примем, что ли?

Мишка недовольно насупился.

— Откуда он узнал? Натрепался кто-нибудь?

— А не все равно? Да ты не бойсь, с ним удобней... Перепродать али еще чего, рисковать на стороне не придется. Теплого времени осталось мало, влятером все равно не успеем отработать.

— Как хотите, — сказал Мишка уклончиво. Он все-таки надеялся, что остальные члены артели запротестуют. Однако из дальнейшего понял, что вопрос о принятии новичка уже решен заранее: никто не удивился появлению китайца на дежале, и Григорий ни с кем больше не советовался.

За три дня они набили золотом увесистый мешочек и начали промывку на бутаре: срок подготовительных работ кончился, скрываться больше было невозможно.

Вечером после первой промывки, давшей артели семьсот сорок граммов, в бараке состоялась пьянка.

В тот же вечер Мишка, еще не успев «заложить» как следует, нечаянно подслушал в кустах разговор.

Вздохмаченный и счастливый, он шел с Орочена с двумя огромными буханками хлеба в руках. Сокращая путь, пробирался в стороне от тропы, отводил растопыренными локтями ветки кустарников, и мшистая земля беззвучно колебалась под его легкими шагами.

— Жалко, мы вместе не пошли, — сказал впереди приглушенный голос. — Вдвоем-то мы бы его во...

Мишка словно налетел на глухую стену, разом подался назад и замер.

— Его стреляй! — ответил китаец и злобно сплюнул. — Кругом мешает! Тебя союза не пустил, ком-

панья Ли Фун-чи: хочет справка получи из ваша деревня. Меня грозит высылка, как чужого элемента. Какой вредный люди! Я двадцать пять года живи на русский сторона, такой плохо не видал.

— Жалко, м-мы бы его... вдвоем-то... — промычал первый, и Мишка узнал голос Быкова.

Потом они пошептались неслышно и пошли к бараку. Никитин, прижимая к груди еще теплые буханки, двинулся следом. Ночная птица ширкнула его крылом по лицу, и от неожиданности он чуть не выронил одну буханку.

«Вот напоролся на приключение!» — думал он, поглядывая то на быстро темневшее небо, то вперед, чтобы не упустить Быкова и его спутника. Когда свет из окошка упал на них, он узнал круглую шляпу Саньки и вырванный углом лоскут на рукаве его китайской кофты.

В бараке было пьяным-пьяно, но Мишка в этот вечер пил мало, подолгу задумывался, щуря выпуклые светлые глаза, тихонько насвистывал.

Утром он отозвал в сторону желтого с похмелья артельщика и, глядя ему в упор в широкую, стянутую рубцом переносицу, сказал приглушенным голосом...

— Этот, ходенька-то твой... он Черепанова выстрожил.

— Да ну? — искренне удивился Григорий. — Ах он, холера! Он ведь ладил в старшинки попасть в двенадцатой артели, а Черепанов да Ли Фун-чи всех китайцев против него восстановили. На Ли Фун-чи старшинки тоже грозятся. Мстительные эти азиаты до ужаса. — Григорий переступил с ноги на ногу, спросил с неловкой усмешкой: — Что же ты теперь будешь делать?

— Заявлю, — жестко сказал Мишка.

Глаз артельщика воровато забежал, широкое лицо его покрылось от волнения бурыми пятнами румянца.

— Покорно благодарим! Он же нас засыплет насчет утайки-то! Вместе же хитили... Тогда нас с делянки в два счета выметут.

Об этом Мишка не подумал. Углы его толстых губ

опустились. Григорий, заметив растерянность парня, хлопнул его по плечу, сказал ласково:

— Брось, Мишуха! Чего нам ввязываться в чужие дела! Один раз пофартило в кои годы, и то пойдет псу под хвост. Не по-товарищески это будет с твоей стороны. Они с тобой не больно цацкались: как не поглянулся, так и вытурили в беспартейные. От всей души советую — не связывайся!

Слова эти крепко поколебали Мишкину убежденность. В самом деле: Черепанов остался живой, в драках люди еще сильнее увечат друг друга, и никто бузы не поднимает. Не стоит из-за пустяков лишаться хорошей деланки.

Артельщик сразу повеселел и обращался с Мишкой, заискивающе-дружелюбно.

Однако общество Быкова и Саньки после подслушанного разговора стало тяготить Мишку.

«Собралось жулье на легкую поживу!» — злился он. Особенно раздражал его вид угрюмого Быкова. Потом он вспомнил Егорку Нестерова. «Сидит парень ни за что!» Конечно, знакомство у них малое, но разве это по-товарищески — не выручить его из беды?

28

Когда милиционеры вывели Егора из барака, одна только Надежда проводила его. Она молча шла рядом с ним, теребя край фартука, пока милиционер не отстранил ее. Егор несколько раз оглядывался и видел, как неподвижно, опустив руки, стояла она на тропинке.

«Несчастные мы с ней оба!» — подумал он тоскливо.

Взяли его сразу после работы, — от волнения он не мог пообедать, но не испытывал ни усталости, ни голода. Он только ощущал взгляды прохожих на своей спине, и они прожигали его стыдом. Случай с Черепановым возмутил многих горняков, и теперь Егор принимал на себя это возмущение. Узелок с бельем стеснял так, что хотелось зашвырнуть его в кусты. Может быть, не всякому встречному было бы понятно,

что ведут арестованного, но проклятый узелок выдавал все!

— Рабочий человек, а не лучше кулака, который из-за угла с обрезом нападает, — сказал у тропы чей-то басовитый голос. Егор взглянул исподлобья, увидел двух знакомых старателей и отвернулся.

— За что он его? — спросил другой.

— За девку.

У Егора бешено заколотилось сердце. На миг он закрыл глаза, и ему отчетливо представилось, как заливает кровь смуглое скуластое лицо, умеющее улыбаться такой светлой улыбкой, что даже его, Егорова, угрюмая душа открывается ей навстречу. Невыразимая обида охватила его.

— Я не виноватый! — крикнул он, останавливаясь, но в ответ услышал смех.

— Иди, иди!.. Там разберут, виноватый или невиноватый, — сурово сказал милиционер.

И Егор, споткнувшись, пошел дальше.

На полдороге, когда они отдыхали у ключа, Егор вспомнил о лепешках, которые Надежда почти насильно всучила ему, потянулся было к лежавшему на траве узелку, но опустил руку: «хуже кулака!» Егор тоже слышал о том, что творилось в деревне в последние годы, о растущих артелях-колхозах, о бешеном сопротивлении мироедов. «Повеситься впору, — мелькнула у него мысль. — До чего розно душа с телом живут — душа с тоски рвется, а брюхо жрать просит». Мгновенное отвращение к себе вылилось в решении: «Если сразу не выпустят, уморюсь с голоду».

На допросе он упрямо молчал, и молчание его даже озадачило седоватого, видавшего виды следователя. Вернувшись в камеру предварительного заключения, Егор залег в углу и притворился спящим. С ним вместе сидели жулики самого низкого пошиба. Разглядывая их из-под прижмуренных век, он слушал малопонятные разговоры, и ему хотелось раскидать эту нечисть, выломать дверь и убежать в тайгу, где все так просто, где можно лечь прямо на землю, прижаться к ней, словно к груди матери, и, не стыдясь ее, заплакать навзрыд...

Неизвестный человек, бросивший камнем в Черепанова, отомстил за ревнивые Егоровы терзания, и Егор сначала был почти удовлетворен. Но по общему негодованию против этого неизвестного он понял, как дорог Черепанов тасжникам. «Что же он сделал для нас хорошего? — размышлял Егор. — Часто бывал на делянах?.. Им за это деньги платят. Собрания проводит? Так на то он секретарь организации. Это его обязанность прямая. За что же его любят?» Егор вспомнил Зуева. «Душевный человек!» — сказал однажды старик о Черепанове.

«Может быть, это: за работу деньги платят, а душевность — особая статья, ее не укупишь. Выходит, я хуже всех, если порадовался на его несчастье? Значит, мы с «тем» заодно?»

От такой мысли Егор скрипнул зубами и застонал вслух.

— Заболел, что ли?

Егор открыл глаза и увидел близко красноевское лицо картежника-шулера, изрытое глубокими морщинами.

— Тяжело! — сказал Егор.

— А меня выселяют из приискового района, — сообщил шулер, усмехаясь. — Власть оберегает карманы трудящихся от моего искусства, а мое здоровье от здешнего сурового климата. В административном порядке. — Он присвистнул и сделал странное движение тонкой, бледной, словно бескостной рукой. — А ты?

— Что я? — спросил Егор неохотно.

— Тебя тоже к высылке?

Егор даже приподнялся, возмущенный:

— Я по ошибке.

— А ты был уже на допросе?

— Был.

Шулер склонил голову, точно умная собака, оттопыренное ухо его как будто пошевелилось.

— Ну?

— Ничего.

— То есть как ничего? Если ошибка, то она должна выясниться.

Егор вздохнул.

— Ее нельзя выяснить.

— Почему?

Егор колебался. Ему не хотелось говорить.

— Ты террорист, — подсказал шулер.

— Что это?

— Это который убивает все мешающее нормальной жизни. Я тебя приветствую.

— Приветствуешь? — спросил Егор и, подняв вихрастую голову, посмотрел на собеседника с неприязнью. — А я не больно нуждаюсь в твоём приветствии. Понял? Не на того напал! В ту ночь был я в чужой шахте. Золота хотел лапнуть в богатом забое... А молчу потому, что есть одна... которая это дело не простит.

— Предпочитаешь прослыть убийцей? — съязвил шулер.

Егор нахмурился.

— Я не виноватый в этом деле. Меня все равно выпустят.

— Ты оказываешь мне больше доверия, чем следователю, — заметил шулер, потирая руки.

Егор взглянул на него, уже озадаченный.

— Мелко плаваешь, — с досадой и невольным смущением бросил он. — Стыдное про себя сказать можно не всякому. Перед хорошим человеком будешь вроде оплеванный, а ты кто? Человек, что ли?.. Так, видимость одна.

Шулер отодвинулся и притих. Замолчал и Егор, повернулся на спину и, не слушая шушуканья «блатных», крепко задумался.

— Можно приступать, Петр Петрович? — почти-тельно спросил смотритель работ Колабин.

Потатуев взглянул на часы:

— Пора.

Колабин рысцой обежал вокруг промывальной ямы «зумпфа» и снял пломбы с бутары.

Быков и Мишка Никитин приступили к съемке. Ра-

бочий день на дялянах уже кончался, и любопытные подходили со всех сторон. Они стояли в некотором отдалении, переговаривались между собой, но не спускали глаз с шлихов, смываемых с бутары в деревянный лоток. Мишка, присев на корточки, держал лоток. Руки его покраснели от холодной воды, но он сидел неподвижно, сжав толстые губы, и, казалось, ничего не замечал, кроме ярких желтых крупинок, мелькавших в черной массе шлихов.

— Сколько вчера сняли? — спросил Потатуев Саньку.

— Два фунта двенадцать золотника. — Китаец подумал и добавил весело: — Восемьсот пятьдесят грамм. Шибко хорошо заработай. Каждый день.

— Я тоже думаю, что неплохо. Все сдаете? Не таите?

— Как можно? Ваша нас обижает такой подозрения! Смотритель пломба делает.

— Разве что пломба! Да вы и с пломбированного сумеете схитить. — Потатуев посмотрел на китайца, подмигнул, и оба рассмеялись. Оглянувшись на подошедших старателей, Потатуев громче и строже добавил: — Смотри, попадетесь, сразу с дялянки долой!

— Зачем попадетесь! Наша хорошо живи, смирно. Ваша моя знает. Давно знакомый люди.

— Потому и предупреждаю, что знакомый.

Потатуев усмехнулся и тоже подошел ближе к зумпфу. Артельщик и Мишка «доводили» золото, отмывая шлихи в двух лотках. Остальные члены артели стояли тут же и с неослабевающим интересом следили за движениями промывальщиков.

Потатуев через плечо Мишки заглянул в лоток. Золото медленно передвигалось в нем, вращаемое движением воды: самородок, много мелкой крупы, пластинка, похожая на елочку; поблескивая, смывались остатки шлихов. Крякнув, Потатуев выпрямился, погладил ладонью усы. Маленькие глаза его хищно, светло горели.

Санька подошел сзади, посмотрел на золото, весело прищелкнул языком. Старатели с других дялян за-

Вистливо вдыхали или громко хвастались прошлыми удачами.

— Кто такой? — спросил Потатув Саньку, кивая на Быкова. Зеленоватые глаза Быкова смотрели и на кучку золота, смытого теперь уже на один лоток, и на Потатуву; всем видом и выражением он странно отличался от остальных старателей. — Давно здесь?

— Моя приходи, его здесь работай. Наша люди... — Лицо Саньки было неподвижно, но глаза настороженно ловили взгляд Потатуву.

— Раньше знал?

— Раньше года знакомый нету.

Потатув еще раз пристально оглянул Быкова и обернулся к подошедшему Колабину.

— Ну, как?

— Сейчас взвешаем. Пойдем в контору или здесь можно?

— Съемка крупная, лучше в конторе. Сколько приблизительно?

— Около двух фунтов.

— Вот счастье людям! — сказал Потатув, прикинул на ладони мокрый тяжелый узелок и усмехнулся в усы. Мелькнули под усами мелкие желтоватые зубы. — Что бы вы сделали, если бы вам достался такой сверточек?

— Право, не знаю... — замаялся Колабин, словно и вправду вообразил себя обладателем золота. — Купил бы домик в Благовещенске с фруктовым садом...

— А ты куда свой заработок потратишь? — спросил Потатув, передавая узелок Григорию.

— Куда-нибудь употребим. Жена у меня денежку любит, съездим в жилуху. Погуляем.

— А потом?

— Потом опять на делянку. Чего же еще? — Старатель подошел ближе к Потатуву и, обдавая его винным перегаром, сказал просительно. — Вы бы, Петр Петрович, зашли к нам в барак на угощение.

— Не могу, дорогой. Я человек старой выучки. У нас не полагалось, чтобы служащие с рабочими компанию водили.

— Мы понимаем, конечно... Просим от души.

— Не могу. Люблю таежников, но в семейственности меня никто не попрекнет. Черепанова ты небось не пригласил бы.

— Так он человек партийный. Он на гулянку, конечно, не пойдет, а за всяко просто заходить никогда не стесняется.

— А у меня времени нет, чтобы запросто ходить по баракам, — уже раздраженно сказал Потатуев и, кивнув зрителю, пошел по узкой тропинке между ямами и отвалами разреза.

30

Когда бабьи разговоры дошли до Акимовны, она чуть не захворала от огорчения, заохала, разбранила дочь, но Маруся очень резко оборвала ее причитания. Она тоже нервничала, потому что и жалела Егора и сомневалась в его непричастности. Где, в самом деле, он шлялся в ту ночь?

— Если у вас любви не было, так чего ради он вызверился на Черепанова? — приставала Акимовна.

Маруся нетерпеливо встряхивала стриженными волосами.

— Оставь ты меня в покое! Я-то при чем, если у него не все дома? А может, и не он виноват. С Черепановым у меня отношения товарищеские, и нет, понимаешь, нет повода приплетать меня к нему.

— Говорила я тебе: какая может быть дружба у девушки с холостыми ребятами!..

Но девушка, не дослушав попреков, уходила из барака. Сам Рыжков ничего не говорил, не спрашивал и даже сердито моргал жене, когда она начинала вздыхать да охать.

— Ты ровно гвоздь в сапоге: беспрестанно тревожишь, — укорил он ее однажды. — Отобьешь девку от дома, ведь ей и без твоей доуки тошно.

Акимовна удивилась до онемения. Она ожидала от мужа попреков за недогляд, сетований на избалованность дочери, даже ругани, но не такого попустительства, которое оскорбляло ее, ставя под сомнение

родительское право распекать и советовать. Она суетливо оправила белый в горошину платок, сказала скорбно:

— Рада бы смолчать, да на сердце кипит. Глазыньки у меня от слез притупели — нитку в иголку не вдену. Срамоты сколько: кого ни встретить, всяк намолвку делает.

— У вас, у баб, только дела: соберетесь и ну языками молоть. Нечего убиваться прежде времени. Пока еще плохого не видать.

— Чего же хуже надо, потатчик ты этакий? Чтобы в подоле принесла?

Рыжков сердито чесал за ухом:

— Выдумашь! Но ежели что — и с ребенком не пропадет, на улицу не выкинешь. Ладно... хватит об этом толковать, у меня ажно голова опухает от такого разговору. — Он сел на чурбан и попросил ласковее: — Обстриги меня под гребенку, а то я уж вовсе облохмател.

Акимовна накинула ему на плечи свой чистый фартук, взяла ножницы, железную гребенку и принялась за стрижку. Скоро половина головы стала похожа на неровно выкошенный лужок. Акимовна зашла было с другой стороны, но Рыжков отстранил ее рукой и, глядя исподлобья, смешной и печальный, сказал с торестным вздохом:

— Неужто взаправду Егоркино дело? Куда же это годится? Без всякого хулиганства можно было обойтись. Пришел бы и сказал: так и так, мол, Афанасий Лаврентьевич, ну и фактически поставили бы перед ней вопрос ребром. А то сунулся в брод по самому рот. Эка дурость какую спорол! — Рыжков сплюнул и, шаркнув по полу ичигом, снова наклонил к жене большую голову.

Надежда догнала Марусю в сенцах и, схватив ее за руки, возбужденно и быстро прошептала:

— Марусенька, ты бы похлопотала о нем... о Егоршке-то. Золотой ведь он человек! Не поднимется у него рука на такое!

— Что ж я могу? — грустно сказала Маруся, удивленная волнением Надежды.

— Посоветуйся с кем-нибудь. У тебя же знакомства много. Может, нанять этого... как их... при суде-то?

— Да ведь ничего еще не известно, — нерешительно возразила Маруся, — и денег у нас нет.

— Эх, ты-ы! — Надежда сдвинула брови, маленькие уши ее горели. — Была бы я девкой... я бы за такого парня душу заложила! Деньги!.. Господи, да сегодня же хоть тысячу рублей добуду...

— погоди! — прикрикнула Маруся, но, пугаясь необычного вида женщины, погладила ее полную, вздрагивающую руку. — Чего ты, в самом деле? Я его тоже жалею. Только надоел он мне со своей любовью.

Надежда неожиданно побледнела.

— Я ведь как мать ему... — прошептала она. — Один он... Посмотрю на вас! Оба вы... молодые... пара!

— Я поговорю, — пообещала Маруся. — Вчера хотела поговорить с одним человеком... чтобы выяснили это дело. Мне тоже не очень приятно выслушивать разные разности! — И она пошла по дорожке к Орочену.

81

В парткоме, все еще помещавшемся в клубе, только что закончилось заседание, было накурено, скамейки стояли в беспорядке. За перегородкой, где находилась гримировочная, ребята-комсомольцы играли в шахматы.

Маруся улыбнулась им и, тихо ступая по замусоренному полу, подошла к Черепанову, который перечитывал у стола протокол заседания.

— Здравствуй, — сказала Маруся просто и, положив руки в карманы жакетки, слегка оттянула ее вниз. — Мне нужно поговорить с тобой.

Черепанов беззвучно шевельнул губами, кивнул, продолжая хмуро тлядеть в протокол.

Маруся подвинула скамейку, села к столу. Возле пресс-папье лежала новенькая ручка, похожая на зеленую луковую стрелку, а чуть поодаль пачка «Явы». Девушка покосилась на нее, легко вздохнула: она

больше не курила — пропало всякое желание после того, как отдала отцу свои первые папиросы.

— Ну, давай говорить, — сказал Черепанов и сел напротив, навалившись на стол локтями скрещенных рук. — Что скажешь, дорогой товарищ?

Разглядывая вблизи его лицо с опущенными углами крупного рта и глубокой морщинкой между разлатыми бровями, Маруся собиралась с мыслями, чтобы высказать напрямки то, что мучило ее в эти дни. Тонкими пальчиками вертела обрывок газеты, забытый кем-то из курильщиков. Складывала вдвое, вчетверо, отрывала уголки и полоски.

— Почему же ты молчишь, говори, не стесняйся, — подбодрил Черепанов, видя ее нерешительность.

— Да я хочу насчет Нестерова... — прошептала Маруся и слегка кашлянула: судорожная спазма перехватила ей горло. — Видишь ли, мне кажется, он зря сидит. Он не мог сделать этого. Ты не подумай... Все бабьи разговорчики... на них наплевать — я сплетен не боюсь. Только получается, раз его взяли... Будто у нас с тобой что-то было. Нет, опять я не так говорю! Получается так, будто все это получилось из ревности. Ты понимаешь? — Она умолкла, скомкала истерзанную бумажку и, сжимая ее в кулаке, взглянула на собеседника ясными карими глазами. — Как будто личное. И раз ты не возражаешь против ареста, значит согласен с тем, что у вас, что у нас... троих какие-то счета. Но ведь ничего, ничего же нет! — Маруся покусала губы и сказала совсем тихо, наклоняясь к уху Черепанова, прижатому сверху марлевым бинтом, пахнувшим больницей: — Я на твоём месте, если бы даже Нестеров был виноват, заявила бы: это не он. Пусть не разводят вокруг нашей организации всякую грязь. Понимаешь? — и, радуясь тому, что высказалась, и боясь, что Черепанов поймет не так, как ей хотелось, Маруся улыбалась, а брови ее тревожно вздрагивали, отливая рыжеватыми искорками.

Он глядел на нее пытливо, заметно взволнованный.

— Я не слышал еще, что идут разговоры насчет

ревности. В самом деле нехорошо получается. — Черепанов склонил голову и, засматривая в лицо Марусе, спросил с мягкой настойчивостью: — Ты его жалеешь, правда? Ну, что ж... краснеть нечего. Он не плохой парень, очень даже располагающий. Пожалуй, верно ты говоришь: непохоже, чтобы он на меня накиннулся...

Черепанов не успел договорить: дверь резко распахнулась, и, пригибаясь, чтобы не стукнуться, за порог шагнул Мишка Пикитин. У него был такой истерзанный вид, что Черепанов застыл на полуслове с полуоткрытым ртом, вопросительно глядя на подхлывшего старателя.

Мишка казался совершенно трезвым, но рубаха на нем висела ключьями, один рукав распологован совсем, и оголенная рука вздулась ниже плеча багровым подтеком.

Заинтересованные неожиданным появлением Мишки, комсомольцы бросили шахматы и столпились вокруг. Их любопытство вывело Мишку из подавленного состояния. Он шумно потянул воздух припущенным носом, оглянулся направо и налево и сказал спокойно:

— Чего вы на меня наскочили? Я, может, по секрету пришел и при вас разговаривать не пожелаю?

— Идите, ребята, — попросил Черепанов.

Мишка шагнул к столу поближе и с минуту молчал. Присутствие Маруси его смущало: стыдно было стоять перед ней таким измызганным оборванцем. Шевельнув рукой, он сразу вспомнил ссору в бараке.

Искаженное злобой лицо Быкова мелькнуло перед ним. «Надо было его этим же поленом огреть, — подумал Мишка. — И зря сказал, что заявлю, теперь Санька сбежит куда-нибудь».

Мишка взглянул на спокойно выжидавшего Черепанова, тихонько вытянул из кармана узкий тулун, сшитый из светлой замши, и бросил его на стол. Мешочек, брякнув, встал на попа, встопорщил кверху концы завязок. Черепанов молча взял тулун, прикинул на вес. Глаза его понимающе, весело заблестели.

Если Мишка пришел такой оборванный, значит артель была против. Понятно! И Черепанов усмехнулся, радуясь поступку парня, — все-таки не пропала комсомольская закваска.

А Мишка страдал: улыбку секретаря парторганизации он принял как насмешку. У него горели уши и мелко дрожала нижняя губа. Он не жалел самородка, не жалел и потерянной теперь деляны и хотел только одного: быть где-нибудь подальше от парткома. Он уже переступил с ноги на ногу, собираясь уйти, но вспомнил про Егора и невольно покосился на Марусю. Девушка сидела, приподняв розовый подбородок, и, не мигая, серьезно и строго смотрела на него.

Мишка смущенно отвернулся и тут же, озлившись на свое смущение, сказал с деланой небрежностью.

— Большой самородок этот я нашел. С него все и началось — и промывка... и хищение. Первый-то улов уже поделили, каждому досталось... Свое принес, а за других не ответчик. Еще скажу: кто на вас нападал, так вовсе даже не Егор Нестеров.

Маруся тихо айкинула, и Мишка снова взглянул на нее.

— Нападал Санька Степаноза, который теперь принят в нашу артель и работает на делянке, чтобы хитить золото... Могу это подтвердить в любое время на суде, да он и сам не оспорится. Когда вы стреляли из нагана, то прострелили ему ватник, и на боку у него царапина — пуля жигнула. — Мишка посмотрел в лицо Черепанова, добавил с горечью: — Вы не подумайте, что я ради вас хорошей делянки лишаюсь, мне Нестерова жалко.

Черепанов покачал головой:

— Я о тебе лучше думаю. Не из-за меня ты пришел и не из-за Нестерова, а вот золото... нельзя у себя украсть. А те, другие, еще не поняли этого, потому что отчуждаются от советской власти. Здорово они тебя отделали! Но хорошо, что ты признал свою ошибку. Артель мы теперь, конечно, снимем. А ты... Знаешь что, я переговорю с управлением, пусть тебя оставят. Наберешь новую артель и...

Тихий смех Мишки остановил Черепанова. Старатель смеялся, но светлые глаза его блестели странно.

— Удумали тоже! Товарищей выжил с богатого места, а сам сяду? Смешное дело!.. Чтобы мне каждый в глаза этим тыкал! Нет уж, не хлопчите, уйду я отсюда стараться на другой прииск. На хозяйские? Нет, не хочу. — Он отбросил со лба пятерней мягкие волосы и, не прощаясь, пошел к дверям, но Маруся перехватила его и, придерживав за руку, неожиданно порывисто поцеловала.

— Какой ты хороший! — сказала она, вся сияя, и эта ее радость точно омыла Никитина, и он сам улыбнулся открытой молодой улыбкой, поверив в свою хорошесть.

32

— До чего паршивый этот Санька! — сказал Ли Фун-чи с возмущением. — Но ловкий. Очень. Его в прошлом году хотели выселить из района — увернулся. Недавно в тюрьме сидел. Видит конец хитрому его житию, кинулся на старание. И тоже неспроста: сразу захотел старшиной быть в артели, чтобы поменьше работать и обдирать других.

— Ну, еще бы! Он ведь грамотный, — сказала Луша, тоже растревоженная рассказом Черепанова. — У плохого человека и хорошее во вред людям.

Она побангалась, когда Ли Фун-чи задерживался вечерами на профсоюзных собраниях, особенно на соседних приисках. Года три назад за ним бежали ночью по лесу какие-то злыдни. Не ограбить же они хотели его! Председатель приискового комитета одевался очень скромно, да и воровства на приисках не водилось.

— Не скрылся бы! — тревожно говорил Ли Фун-чи, глядя на приближавшихся к барaku милиционеров. — Ну, я пошел, Мирон. До свиданья, женка!

— Гляди там... — предупредила она, блестя влажными глазами. Темные пятна все заметнее выступали на ее смуглой и тонкой коже на лбу и вокруг полуоткрытого, тяжело дышащего рта. Трогательно не-

уклюжая, она была для Ли Фун-чи милее всех на свете.

Отходя с милиционерами, он оглянулся на нее и еще раз взглянул, уже сверху, с горы. Черепанов ушел, а Луша все стояла у дверей, прижимая маленького Мирошку к подолу цветастой юбки, которой играл ветер. Ли Фун-чи помахал им и двинулся дальше, как кусочек солнца унося в сердце оранжевый среди зелени блик Лушиной кофты. Он чувствовал себя счастливым и безмерно богатым.

Будет еще сын или дочь. Девочка. Свободная советская женщина с лицом, похожим на него, Ли Фун-чи, а может быть, такая, как Луша. Девочка пусть лучше походит на нее. Уже решено: осенью Луша заканчивает седьмой класс вечерней школы и пойдет работать в детские ясли... Давно ли они, двое комсомольцев, Луша и Ли Фун-чи, встретились в школе, куда пришли ликвидировать свою неграмотность? Ли Фун-чи еще работал на старании, Луша Ершова — полумойкой. За эти годы они прошли немалый путь. Как прекрасно жить, трудиться, иметь свою семью! Почему не все хотят честно работать? Почему им хочется жить за счет других людей?

Два милиционера и председатель прииска в качестве опознавателя и переводчика идут горной тропой среди кустов стланика, усыпанных созревающими ореховыми шишками, среди россыпей дикого камня и порослей каменной березы. День клонится к ночи. Солнце садится, играя краснотой на нагих склонах скалистых тольцов, а в лесистых долинах уже густеют, тяжелеют сумерки. Рабочий день на делянках окончен. Усталые горняки медленным шагом разбредаются по домам.

Артель, в которой работал Мишка Никитин, давно пощабила, но членам ее было не до отдыха.

У маленького барачка, как собака на привязи, крутился Санька Степаноза, то входил в жилье, то выбегал и посматривал по сторонам. Раскуривая трубочку, присаживался на корточки у порога, тревожно сверкая узкими глазками.

— Да брось ты метаться! — сердито сказал ему

кривой Григорий. — Не пойдет он доносить. Враг он себе, что ли? Так, погорячился, пофорсил — дело молодое, не перебродил еще. А чтобы стуком стал заниматься — не поверю. Шутка сказать: золото отдай, с делянки вытурят... С двадцать четвертого года на таком богатстве не работали... Не дурак Мишка Никитин. К тому же компанейский парень!

Но, несмотря на эти слова, Григорий медлил идти к своему бараку, а тоже, как привязанный, вертелся в жиле приятелей.

— Надо было тебе с поленом бросаться, дура не складная! — злобно корил он Быкова. — Э-эх, деревня! Надо бы по-хорошему обойтись, с дипломатией. Как я его прошлый раз уговорил. Тоже встопорщился, куда там, а я его огладил. Ну, чего там? — крикнул Григорий, оглядываясь на открытую дверь, где маячила фигура Саньки. — Не идет?

— Идет! — неясно буркнул Санька, почему-то застывший на месте.

— Я же говорил! — обрадованно вскричал Быков, бросился к двери и почти носом к носу столкнулся с бравым милиционером.

— Вот они где, голубчики! — весело говорил второй милиционер, шагая по кустам из-за другого угла барака.

Ли Фун-чи шел прямо по тропинке и в упор разглядывал желто-смуглое лицо Саньки, на котором вместе с испариной медленно проступала серая бледность. Щеки спиртоноса сразу приобрели землистый оттенок, на скулах выставились тугие желваки...

— Спокойно! — по-китайски сказал ему Ли Фун-чи, видя, как мускулистое, сухое тело Саньки напряглось, словно перед прыжком. — Если не хочешь иметь еще больших неприятностей, не оказывай сопротивления.

— Он? — спросил у Ли Фун-чи старший милиционер.

— Он, — ответил Ли Фун-чи, подходя к Саньке вплотную.

Второй милиционер сразу побежал в соседний барак — пригласить понятых для обыска.

— Ну, вот видишь... — заговорил Ли Фун-чи, зорко следя за каждым движением Саньки, с лица которого так и не сходила серая бледность. — Маленькая подлость всегда ведет за собой большую. Какая нужда потянула тебя на плохие дела? Я говорил с тобой прошлый раз... Помнишь собрание в двенадцатой китайской артели? Помнишь слова рабочих, которым ты собирался сесть на шею, как старшинка, только потому, что ты бойчее их и грамотный? Они тогда правильно сказали: мы довольно побатрачили на арендаторов у себя в Китае... целыми днями за горсть риса... Мне тогда показалось, что мы пристыдили тебя. Я ошибся: нельзя пристыдить того, кто потерял совесть! Ты ее потерял потому, что разлюбил труд... А мы за свою доверчивость чуть не расплатились жизнью хорошего человека...

— Идут! — сказал старший милиционер, оглянувшись на шум голосов: по тропинке шли понятые...

В этот миг Санька Степаноза сделал пружинистый скачок в сторону, изгибаясь, как тигр, выхватил нож из-за мягкого голенища. Хотел ли он заколоться сам, собирался ли защищаться, но Ли Фун-чи, вдруг страшно ожесточенный, рванулся на него и сильным ударом сбил его с ног. Подоспевший милиционер вырвал у спиртоноса нож.

Остальные рабочие артели во главе с кривым Григорием угрюмо толпились возле двери в барак, наблюдая за происходящим.

— Вот тебе и компанейский парень! — задыхаясь от бессильной злости, сказал Быков Григорию.

— Ладно, дура! Кулацкая натруска! — огрызнулся Григорий.

В этот миг хищники ненавидели друг друга.

Мишка Никитин, совсем трезвый, появился в барак только под утро. Через порог он шагнул не без опаски, но вчерашние дружки его уже перебесились и встретили парня почти спокойно. Место Саньки на нарах опустело.

Мишка собрал свои вещички в котомку, привьючил сверху кайло и лопату, обменялся прощальными матюками с Быковым и остальными и направился

узкой тропинкой через перевал Лебединого в сторону Джеконды. Он шел, слегка покачиваясь под тяжелой котомкой, валкой походочкой таежника, которому знакомы и рыхлые уборы зимних заносов и тянигужи, убегающие на голубые горные хребты. Чувство особенной легкости распирало его, и красногрудые клесты, перепархивающие в сосняке, то и дело взлетали от его озорного свиста.

33

В бане было жарко. Несколько человек, скорчившись в облаках пара на просторном полке, хлестали себя ерниковыми вениками. Дышалось трудно, но то один, то другой кубарем скатывался с полка и добавлял пару, плеща воду на булыжины каменки. Каменка стреляла горячим белым облаком, и тогда вверху слышалось одобрительное кряхтение и еще усиливалось трепыхание веников.

Старик Фетистов слез с полка. Морщинистое лицо его покраснелось, пот градом катился по впалой волосатой груди. Усталый, но довольный он зашлепал к своей шайке, поскользнулся на полу и наскочил на Егора.

— Ох ты, елки с палкой! — выругался он испуганно, взглянул в лицо парня голубыми глазками и просиял: — Егора, здравствуй! Ладно бы я упал, кабы за тебя не ухватился.

— Откуда ты вывернулся? — спросил Егор.

Фетистов кивнул в сторону полка.

— А вот!

— Я тоже там был.

— А я в уголку лежал. Голова у меня закружилась. Парно, не видать, — сказал старик и смешно притопнул желтыми пятками. — Блошка банюшку топила, вошка парилась, с полка вдарилась.

Егор засмеялся.

— Угоришь — и взаправду вдарисься.

— Чуть-чуть не получилось этак. Зато всю ломоту сбыл. Простуда у меня в костях, и в крыльцах про-

стрел, а выпотеешь — и как рукою сымет, — говорил Фетистов, присаживаясь с краю на лавке. — Вот уж я рад, что тебя отпустили! Ох, и хороший парень Мишка Никитин, я до сих пор ребят за него ругаю. Ну пил, эка важность! Главное, чтобы душа в человеке светлая была. Как-кую деланку упустил ради правого дела!

— Меня бы все равно выпустили, — сказал Егор, выслушав рассказ Фетистова. Ему стало неприятно, что он еще обязан кому-то своим освобождением. Он сполоснулся из шайки холодной водой и начал одеваться в предбаннике. Белье заплатанное, шаровары вот-вот развалятся, сапоги с оскаленными гвоздями подметок, со стоптанными каблуками, рыжие, пропущенные в голенищах. Натягивая их на стройные, литые в икрах ноги, Егор тяжело вздохнул.

Из бани он зашел в зимовье, служившее постоянным двором для проезжих. Зимовщица нацедила ему кружку студеного квасу, колючими глазками оглянула его юношески свежее лицо и сильные плечи, обтянутые выцветшей рубахой.

— Намылся, свет, нарумянился... А посмотреть-то на тебя и некому. Вот оно, одинокое житье! Тебе, Егорушка, в самый раз бы теперь семейной жизнью жить. Девушку бы какую хорошую, чтобы было с кем пошутить да поиграть.

Егор даже растерялся, не зная, как понять лукавые старухины слова.

— Не сватать ли хочешь? Невесту, что ли, нашла?

— Какие тут невесты, светик мой! Тут тебе не жилистое место, где девок на дюжины считают!

— Тогда и трепаться нечего, — сердито сказал Егор, намереваясь уйти, но зимовщица цепко ухватилась за его рукав костлявой лапкой.

— погоди ты, вот уросливый! Я тебя по доброте предупредить хотела. Слышно, про секретаря-то нашего партийного, будто из-за девки поранили его. Так вот, смотри, с бабами-то с оглядкой водись.

— Про кого ты болтаешь?

— Ай, какой грозный! Я тогда и говорить не стану. Ступай, коли так, — и зимовщица сделала вид, что

хочет отойти, но Егор загородил ей дорогу. Глаза у него горели.

— Раз начала — договаривай.

— Да я... — старушонка замялась: она уже струсилла немножко, но желание посплетничать преодолело страх. — Про Черепанова я... Маруська об нем очень убивалась. Плакала да голосила на всю улицу. Слушать было совестно, чисто об муже законном. Конечно, всякой лестно с таким погулять, — ввернула старуха и покосила мышиным глазком на стоптанные Егоровы сапоги: — Завсегда он в аккурате: что сапожки, что костюмчик на нем... Вот она, глупая, и угождает ему, до поздней ночи у него просиживает. Счетовод конторский в окошко подсмотрел... Утром рассказывал в общежитии: сидит, мол, Маруська возле койки и ручку Черепанову поглаживает. — Зимовщица совсем было зарапортовалась, но взглянула на гневное лицо Егора и снова оробела: «Зашибет еще, бешеный!» — поэтому добавила сдержаннее: — Может, и не поглаживала, а так что-нибудь подержалась просто...

Егор больше не слушал: задела за сердце проклятая баба, и все вокруг словно помертвело и посерело. Тяжело волоча ноги, побрел он прочь.

«Брехня, может! Так чёго же она ревела, почему торчит возле него? От простой жалости так не бывает». С сознанием исполненного долга, зимовщица смотрела вслед, пока сразу поникшая фигура парня не скрылась за кустами.

Старатели уже вернулись с работы, и из открытых дверей, как из огромного осинового гнезда, слышалось гудение голосов. Сосенки, поставленные заслоном вокруг сений, давно высохли, осыпались и печально топорщились голыми сучьями. И полынь, выросшая за лето на крыше, тоже начинала увядать.

Было все это дорого Егору, потому что рядом с ним жила тут девушка, которую он любил и на взаимность которой не переставал надеяться, а теперь ему даже заходить в барак не хотелось.

И все-таки, когда он зашел, то сразу поискал глазами, нет ли Маруси, но ее не было. Не видно и Надежды. Егор поздоровался со старателями. Спросили,

как и что, но во взглядах чудилось ему осуждение. Тоска охватила Егора. Год сурового воздержания, любовь, работа — все вдруг показалось ненужным. Он достал из сундучка новую шапку, купленную зимой, шарфишко, крепкую еще наволочку, свернул узелок и пошел вон из барака. Горняки, занятые своими делами, не обратили внимания на его уход.

Егор не знал, куда ему деваться. Он сбыл барахло перекупщикам и после небольшого колебания направился к бараку Катерины.

— Мне бы водки пол-литра, — сказал он Ивановне, когда вошел в барак.

— Я водкой не торгую, — сухо ответила Ивановна. «Один был непьющий, и тот свихнулся», — подумала она.

— А Катерина где?

Из-за занавески выглянуло улыбчивое бабье лицо.

— Здесь я.

— Мне бы пол-литра...

— Проходи, проходи! Гостем будешь, — оживленно затараторила Катерина. — Сейчас я, только рубашку надену. Нагулялась, разомлела... Головка — воровка: денежки пропила, а сама болит да болит. Проходи, не бойся. Уж больно ты гордый, никак тебя и не заманишь. Ивановна, достань нам капусты да селедки пожирнее. — Она пригладила гребенкой волосы, свернула их в круглую шишку, даже напудрилась и нарядилась, но вышла к гостю босиком.

Егор сидел у стола, опираясь щекой на ладонь. Лицо его было угрюмо.

Катерина присела возле него на скамейке, наливая вино, прижалась к нему горячим плечом. Егор подавленно вздохнул.

— Что, ай боишься? — спросила она, подтолкнув парня и, желая подбодрить, подмигнула ему лукавым глазом. — Ай боженьки, как вы тожельки! Обними меня, миленочек, я не кусаюсь.

Егор пил, смеялся невеселым, принужденным смехом. Ему было неловко перед Катериной квартиранткой. Когда Катерина, довольная приходом красивого парня, сама охватила его шею рукой и крепко и грубо

поцеловала прямо в рот, Егору стало совсем нехорошо, тошно, душно. Он отстранился и сказал сердито:

— Давай еще водки!

Катерина юркнула в угол за занавеской, где находился у нее тайничок-подполье, и полезла в яму. Егор подождал с минуту. Злая тоска снова вспыхнула в его душе. Видела бы Маруся, как он обнимается с этой распутной бабой! Не хватало еще того, чтобы заночевать здесь. Катерина, конечно, рада будет: мужика дома нет, да и не боится она его — за все озорства собирается отвечать только самому господу богу.

«С меня тоже некому спрашивать, да не хочу я такого!» С этой мыслью Егор выбрался из-за стола и, оставив на тарелке большую половину своего наличного капитала, выбежал из барака.

Веселые песни и крики фартовых старателей привлекли его слух на улице, и он, точно в омут головой, бросился в их разухабистое гульбище.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Черепан
лых еловых
тусклый, сле
ную пыль пр
дне лощины,
наледей, где
шие пышны
глубокий ол
Олень оказа
мха с нижн
кал боталом
земли яма. «
думал Череп
сколько!»

Из лошин
сторы открыт
ледяным ветр
крепко упира
посмотрел вн
лись постройк
лова разгляде
над аркой у
нимала там гр
едга достросн
пят тонные
арки. Их встр
ли старожиль
пеших перехо

Черепанов шел на лыжах, осыпая с кустов, с обвислых еловых лап хрупкие иголки изморози. День был тусклый, слегка порошило, и солнце сквозь эту снежную пыль проглядывало мутно-золотистым пятном. На дне лощины, где выступала меж сугробов ржавая вода наледей, где, как пучки белых перьев, торчали обросшие пышным инеем кусты тальника, Черепанов увидел глубокий олений след, проломивший снежную целину. Олень оказался поблизости. Он объедал седые космы мха с нижних ветвей елки, привставая на дыбки, звякал боталом. Рядом, в снегу, темнела выбитая им до земли яма. «Должно быть, отбился от табора, — подумал Черепанов, глядя на оленя. — Ишь, накопытил сколько!»

Из лощины Черепанов поднялся на перевал. Просторы открытого нагорья опажнули его смуглое лицо ледяным ветром. Он прошел еще немного, остановился, крепко упираясь палками в твердый выветренный снег, посмотрел вниз. Левее, по широкой долине, раскинулись постройки нового Орочена. Острые глаза Черепанова разглядели даже крохотные флажки, бившиеся над аркой у въезда в поселок. Осенью ороченцы принимали там грузовые машины, пришедшие с Невера по едва достроенному шоссе. Дрожа, словно от усталости, пятитонные «бюсинги» останавливались у нарядной арки. Их встречали музыкой. С волнением припоминали старожилы и первооткрыватели Алдана трудности пеших переходов по бездорожной тайге.

Позднее, взрывая гусеницами глубокий снег, заваливший и тайгу и шоссе, пришли тракторы.

Преодолев горные перевалы, они приволокли чудовищные глыбы локомотивов и оборудование для шахт. Лица трактористов были багровы от морозов. Трактористы рассказывали о снежных заносах на Яблоновом хребте, на выюжных высотах Эваты, о том, как удалось им дотащить до приисков эти громадины, зашитые в ящики из неотесанных досок. Позднее приискатели следили за распаковкой. Все было блестящее, тяжеленное, мощное даже в своей неподвижности.

«Ну вот, дожили до серьезных событий!» — думал Черепанов, глядя на ряд столбов, убежавших по просеке: через весь район протянулись поющие на ветру провода, стянутые в узел в долине реки Селигдара, где недавно задымили высокие трубы электрической станции. «Здорово это получается — электричество, машины... Какой-нибудь дрянной баракишко, а его прямо распирает от света. Шоссе на семьсот километров... А ведь главное-то еще впереди!»

Черепанов окинул взглядом голый склон, редкий лесок на изгибе. Черные глаза его весело заблестели. Он глубже надвинул шапку, слегка пригнулся...

Ударил в лицо остро режущая стремительная струя ветра, засвистела в ушах. Долина как будто выгнулась навстречу. Встряхнуло на сугробе. Вниз! Вот и лесистый изгиб, поворот в сторону, ветка хлестнула по локтю. Мимо... и вот гора вырвалась из-под лыж, и Черепанов летит стремглав в пустоту, в снежную пыль, задыхается на миг от быстроты, от озорной радости и снова после упругого толчка находит скользящую опору. Вниз! Вниз! На пологий увал! В мягкие сугробы, в кусты, опущенные блестящей изморозью...

За кустами, ближе к дороге, желтеют отвалы старательских делянок. Старатели моют золото попрежнему, но и у них не без перемен...

...Артель «Труд» на Пролетарке закончила подготовительные работы, давно уже приступила к промывке, но золото на деляне оказалось слабое.

— Ровно заколодило наше счастье, — огорченно говорил Зуев, сбрасывая гребком обмытые на бутаре камни. — В артели Свердлова какое богатство было, а у нас ничего похожего.

— У них ортосалинская россыпь вышла, а не с Пролетарки, — сказал Рыжков и, опрокинув нагруженную тачку на грохот, пристукнул ею, вытряхивая прилипшую глину. — Обмануло нас золото! Спасибо, хоть долги скостили.

Для зимней промывки бутара поставлена внизу, возле одной из боковых просечек. Работало сразу несколько забоев, и старатели то и дело сновали по штреку с тачками и крепежником.

Егор в этот день работал в забос. Он возмужал. Старый ватник готов был треснуть по швам на его широко развернутых плечах, черты лица стали резче, суше, но в выражении сквозило несвойственное ему мальчишеское ухарство.

После выпивки у Катерины Егор пропьянствовал еще целую неделю: тошно было ему показаться в своем бараке. За прогул могли исключить из артели, но когда Егор явился, всклокоченный и опухший с тяжелого похмелья и сразу полез в забой, старатели пожалели его, и никто не попрекнул его за пропущенные дни. Что-то словно надломилось в нем, и постепенно, махнув рукой на прежнее стремление к хорошей жизни, он превратился в обыкновенного забулдыгу: при первой возможности старался напиться, хулиганил, проигрывался до нитки в очко...

Но душная скука томила его. Он часто думал о своем одиночестве, о потерянной навсегда Марусе, и на душе его делалось пусто и печально.

Встречаясь с Марусей, он отворачивался, и ему казалось, что он ненавидит ее. Она, осведомленная приисковой молвой о его гулянке с Катериной, — тоже сердилась и, насколько возможно, избегала общения с

диловатым парнем. Так жили они под одной крышей, далекие и как будто равнодушные друг к другу.

Егор познакомился с Никитиным, который поступил на хозяйские и работал откатчиком в первой шахте. Егор заинтересовался молодым старателем с того дня, когда услышал от Фетистова о Мишкином великодушии, но, впервые сойдясь за полбутылкой, они крепко поспорили и чуть не подрались. Это, однако, не помешало им сдружиться. Теперь в свободное время Егор первым делом отправлялся к Никитину. Тот жил в новом, еще сыром в пазах бараке. На сплошных нарах помещалось несколько десятков недавних старателей и вербованных из Иркутска и Канска. У огромных чадящих плит, тесно уставленных множеством котелков и кастрюль, ругались женщины, кричали ребятишки. Люди спали на нарах и на полу между нарами, подкладывая в изголовья котомки, бесконечно курячи, материли начальство и вербовщиков, насуливших золотые горы. В бараках было шумно, тесно, и в этой тесноте, бродившей как дрожжи, чувствовалось ожидание чего-то большого и важного.

Необычными казались и высокие копры шахт, выросшие среди долины, и шум моторов на подъемных лебедках.

Прятели подолгу толковали о жизни. Однажды Егор рассказал Никитину о Зуеве, убившем человека за собаку, но Мишке рассказ не понравился, и он резко осудил старика.

— Разве можно за животное убивать? — сказал он и сердито потер лоб. — Я вообще ненавижу убийц. Ну, дай ты ему в морду, ну, намни как следует, а чтобы убить... Я этого не понимаю. Какое право я имею лишить человека жизни?

— А как же на войне? — тихо напомнил Егор.

— На войне? Там же совсем другое дело. Там я если и убью человека, так ведь не из-за своего интереса. А если, скажем, за идею, за революцию... посылай меня, куда хочешь! Я голову куда угодно понесу, вперед всех полезу, тут уж ничего не жалко. За каждого убитого врага тысячи народу в тылу останутся в сохранности. А то за собаку — и порезать человека! —

Светлые глаза Никитина еще горели, но, уже остывая, он добавил тихо: — Это личное, пустяки. Я через это личное... через пьянку, от комсомола отстал. Вот и нехорошо получается, когда мы с собой совладать не умеем. Нынче Черепанова опять встретил... Это он ведь надоумил меня пойти на шахты. Разговаривали. Расспрашивал, чем живу да какие у меня намерения в жизни. А какие у меня намерения?! Так, глупость одна! Просил заходить в партком... А с чем я туда пойду?

Часто они бродили вдвоем по прииску. Никитин, более веселый и подвижной, подмигивал бабенкам, заговаривал с девушками, тащил Егора в недавно отстроенный клуб. Он со всеми зубоскалил, острое словцо всегда висело на его языке. Егор охотно подчинялся причудам товарища, таскаясь за ним, как медведь за вожаком. Эта неожиданная дружба, первая в жизни, целиком захватила его привязчивое сердце, но он не поддавался Мишкиным уговорам и не переходил из своей артели на «хозяйские работы» и в «хозяйский» барак.

— Покурим, ударнички! — сказал шутливо Егор и присел на бревно. — Говорят, нынче норму для старателей прибавили. Теперь будет семьдесят пять сотых кубометра.

— Не выполним, — возразил Зуев, — где это видно, чтобы старатели работали по норме? Не всяк прут по закону гнут!

— Выполнить можно, — в раздумье заговорил Егор и умолк, прикуривая. Махорка отсырела, и цыгарка потухла, обгорая по краям. Он зажег вторую спичку, но бумажка разлепилась, и табак высыпался на его крепкий небритый подбородок.

— Шлеп хороший, а куру нет! — со смехом сказал Зуев, глядя на остаток тонкой бумажки, прилипший к Егоровой губе.

Егор молча вытерся рукавом и начал свертывать новую цыгарку. Руки у него слегка вздрагивали.

— Надоело! — сказал он наконец. — Кажется, вот горы бы своротил, а не знаешь, которой стороной себя к жизни приспособить. Подумаешь: какие у тебя наме-

рения? А ничего нет — глупость одна! А все что-то делают и довольны. — Он сам удивился необычности своей речи и замолчал.

— Кто это все? — спросил Рыжков, чутко поймав оброненные Егором слова.

— Да вообще... народ, — неохотно ответил Егор.

Рыжков перевернул пустую тачку и сел на нее, широко расставив ноги в огромных ичигах.

— А мы-то разве не делом занимаемся? Вон сколько трудов вложили!

— Это верно, — подтвердил Зуев. — Проку только мало от наших трудов: кубажу-то мы дивно вынули, а содержание не больно веселит. Не доводилось еще мне на такой бедности работать. Конечно, льготы теперь. Это здорово... Помогла старателю власть, но только насчет нормы... я, например, не согласный. — Он посмотрел на двух горняков, подошедших из соседнего забоя, ища сочувствия, и продолжал оживленно: — Мы же работаем без подразделений. Сегодня забойщик опытный, а завтра какой-нибудь. И опять же с промывкой... Нет, нам такая петрушка не подойдет!

— А может, подойдет? — неожиданно возразил Рыжков. — Насчет золота у нас слабовато. Стало быть, придется на кубаж нажимать. Золотоскупные магазины не зря ведь открыли: при дешевом товаре очень даже можно слабые пески работать. Похищничали, пора и совесть знать.

— Хищничали, да не все, — заметил с хитрой усмешкой Точильщиков, частенько-таки наведывавшийся на деляну. — Небось у твоего Титова старатели без нормы работали!

Рыжков поднялся, похлопал рукавицами одна об другую и надел их на руки.

— С чего он моим-то стал?

— А с того, что ты с этим Титовым нам все уши прожужжал, как вы с ним из пушки палили. Теперь на одной ороченской шахте не меньше снимают, а без всякой пальбы обходятся.

Афанасий Лаврентьевич промолчал. Синие глаза его сердито блеснули, но он только крякнул и отвернулся.

— Будет рассиживать-то, не на именины пришли! — крикнул он от забоя, подхватывая лопатой темные комья сырой породы.

— Заело! Правда, она глаз колет! — сказал, посмеиваясь, Точильщиков.

Рыжков взялся было за нагруженную тачку, но, услышав ехидные слова, гневно выпрямился, стукнулся головой о низкие под палями огнива и совсем осердился.

— Мне глаза колоть нечего! — вскричал он, и в голосе его прозвучала сдержанная ярость. — Разве я считал Титова своим? Просто признавал его как бывший факт! Ежели у нас теперь советская власть, то, значит, и хозяев не было? Дурость какая, спасу нет! Много их было, и все они большое отношение имели к нашему брату. А теперь я в новые порядки умом вникаю и вижу: конец приходит хищничеству. Льготам-то мы небось рады, а нормы опасаемся! — Рыжков толкнул тачку на выкат и, тяжело ступая, покатыл ее мимо старателей, в темноту штрека.

3

Надежда в черном пальто, в сером пуховом платке, на который выбивались мягкие кольца светлых волос, стояла на ступеньках крыльца, держась за перила, сверху вниз смотрела на Егора.

— Стареть начинаешь, Надюша! — пошутил Егор, оглядывая ее крепкую фигуру. — Толстеешь!

Надежда улыбнулась, но тут же нахмурилась, легко сбежала с крылечка.

— Старею, сыночек! — сказала она. — Старею, милый! Тридцать восьмой годок пошел.

Егор невольно залюбовался ею. Располнела, кожа на висках и под глазами тронута морщинками, но и постаревшая она была хороша.

Надеждаправила шаль на груди, неожиданно тяжело вздохнула.

— Что так? — спросил Егор.

— Ничего, все о том же.

— О чем?

Надежда рассеянно глянула по сторонам и снова подняла на Егора синие улыбчивые глаза.

— Старушью роль разучиваю. Матерей мне дают да бабушек. Хорошо у меня матери получаются? — спросила она горделиво, заранее уверенная в ответе.

— Хорошо! — подтвердил Егор.

— Я ведь стараюсь... о тебе думаю, когда на сцену выхожу. — Надежда вспыхнула и торопливо, по-девичьи застенчиво договорила: — Детей же у меня не было, одного сыночка жалела.

Егор принял шутку — улыбнулся.

— Я к тебе тоже привык, будто о родной вспоминаю. Сколько раз хотел в гости зайти, да все стесняюсь.

— Чего же? — обиженно спросила Надежда.

— Ну, знаешь, одна ты, мало ли какие разговоры пойдут...

Надежда опять покраснела.

— Меня оберегаешь или сам боишься? Я ведь старуха против тебя.

— Это значения не имеет. Такое сплетут, что и не возрадуешься!

— Небось к Катерине не побоятся заходить! — не сумев скрыть раздражения, сказала Надежда.

Егор смущенно отвел глаза.

— К той уж по пути!

— Убил бобра! — насмешливо упрекнула Надежда. — Лучше-то не нашел?

Егор помедлил с ответом, не зная, как отнестись к упреку. Конечно, досужие кумушки следили его с Катериной, и вряд ли она станет рассказывать о том, что он сбежал от нее.

— Чего ты-то злишься? Мне эта Катерина совсем ни к чему. У меня душа о ней не болит.

Надежда вздохнула:

— Дурачок ты! Не у тебя, так у кого другого болит... Маруся до сих пор забыть не может. Вечор ходили мы в баню... и Катерина там была... Маруся так и вспыхнула, а Катька нарочно поближе подсела, дрянь этакая!

— А Марусе не все равно? — приглушенно спросил Егор. На мужественном лице его отразилось смешанное чувство радости и стыда.

— Стало быть, не все равно, если сердится! — уже примиренно сказала Надежда. — Эх вы, несмышлениши!

Мягкий снежок падал с серенького неба, ложился пушистым покровом на дорожку, на высокие сугробы, таял на волосах Надежды. Она запрокидывала румяное лицо, ловила губами летящие пушинки. Два ворона кружились над товарным складом, сталкивали друг друга с фонарного столба, негромко покаркивали, тяжело махая угольно-черными в снегопаде крыльями.

Надежда помолчала, следя за неуклюжей игрой птиц, потом взглянула на Егора, просияла и почти со слезами на глазах воскликнула:

— До чего же легкая жизнь у меня становится! Раньше бывало — увижу ворона, такой он угрюмый, и сразу сердце занает! А теперь вот гляжу и думаю: какие смешные птицы... Сами они черные, носы огромные, каждой, может, лет по сто, а играют, словно воробушки. Нет у меня на душе тревоги, все отпало. Подумаю: господи, что же я сделала хорошего? Ничего-то еще не успела! Только на ноги встала, а все ко мне с уважением: «Надежда Прохоровна», «товарищ Жигалова», будто это и не я восемнадцать лет из стервы не выходила. Недавно Луша Ли Фун-чи книжку мне дала, — заговорила она, передохнув; в мягком голосе ее прозвучала торечь, и Егор снова удивился перемене в ее лице, уже серьезном, — потихоньку одолела я эту книжку. Большевик один написал о каторге своей... Прочитала я, и такая грусть на меня напала!.. Люди жизнью не щадили, а мы на готовенькое явились и то не сразу оценить его можем. Ну, вот я... чего ради загубила свою молодость?! Не гляжусь в зеркало по целым дням, не хочу вспоминать, что старею. Мне теперь всем помогать охота, только не знаю еще, как лучше взяться за дело.

— Ты и так активная стала. А насчет молодости зря жалеешь, я ведь нарочно сказал о старости-то. Во-

все ты и не старая еще! Замуж хоть сегодня выдавай, — сказал Егор и виновато, немножко даже заискивающе заглянул в глаза Надежды. Он не понимал, что с ней творилось. Или ей действительно было весело, или мучилась она... То смеется, то чуть не плачет. — На свадьбу-то позовешь? — спросил он с грубоватой лаской.

Надежда не ответила и вдруг, играя, толкнула Егора плечом, дала ему подножку и, не оглядываясь, как барахтался он в сугробе, побежала в сторону. Он догнал ее у шоссе, отряхнул с полушубка снег и дружески сказал:

— И здоровая же ты!

— А ты жидковатый! Чуток толкнула — и на ногах не устоял.

— Против танка разве устоишь!

— Эх, Егорка, милый! — Надежда подняла похорощенное лицо и, задумчиво глядя вдаль, сказала певуче: — Силы у меня сейчас и вправду много, прямо поднимает она меня от земли! Неужто еще расту?

4

Маруся стояла у полки с игрушками, наблюдая отсюда, как старательно маршировала по комнате младшая группа.

— Марья Афанасьевна, — тихонько позвала ее в дверную щель повариха.

Маруся быстро прошла к ней, с порога обернулась, оглянула еще раз чистую, нарядную комнату и тихо притворила за собой дверь.

— Материалы принесли, — добродушно улыбаясь, сказала толстая Ивановна.

В прихожей толпились ребята из пионеротряда — краснощекие, пахнущие морозом, с инеем на воротниках и ресницах.

— Замерзли? — спросила Маруся, пропуская их в просторный чулан. — Давайте сюда, поближе к печке, тут тепло-о!

Из карманов и узелков ребята высыпали на стол

еловые шишки, мелкие камешки, собранные на новых отвалах.

— За шишками к лесозаготовщикам ходили, — говорила девочка Ленка, шмыгая вздернутым носом. — Аж к Лебединой горе. Заходили к Фетистову в столярную погреться. Он приготовил много кубиков, гладких-прегладких. Только он сам хочет принести.

— Ленка — юла, а из-за нее Фетистов и нам не доверяет, — заявили ребята и с веселым шумом двинулись к дверям.

Маруся проводила их и прошла в комнату средней группы.

Дети сидели за низенькими столами. Перед каждым на фанерной дощечке размятые куски белой глины.

— Потяните, какие у меня калачики.

— А у меня лошадь! — кричал смугленький Миросша Ли Фун-чи.

— А вот ох-анник, — сообщил басом белоголовый Павлик. — Вот ужье, а это шлем и звездочка, вот она. — Все обмундирование охранника было выполнено в отдельных деталях, и звездочка, превосходящая размерами шлем, лежала на пухлой ладошке Павлика.

Застенчивая Танюшка молча показывает свою лепку. Приподняв худенькое плечико, смотрит из-под черных ресниц пытливо и тревожно.

Маруся хочет быть одинаковой со всеми, но Танюшка невольно вызывает у нее большую нежность. Девочка в детском саду недавно и еще дичится, пугливая как мышка.

Из детской Маруся прошла на кухню. Щеголиха Ивановна, в батистовой косынке, в белом халате, проворно двигалась по уютной кухне, оттопыривая розовые с ямочками локти.

— Ты точно доктор! — одобрительно сказала Маруся и одним глазом, чтобы повариха не заметила, заглянула за шкаф. Продукты, привезенные утром, были уже размещены в высоболенных добела ларях. Посуда на полках сверкала, занавески так и топорщились. Кухонное хозяйство находилось в образцовом порядке.

Уборщица Татьяна, она же и сторожиха, принесла

охапку дров, осторожно опустив ее на пол, посмотрела, улыбаясь, на молоденькую заведующую.

— А я сегодня двух клопов поймала на койках. Такие тощие да проворные, насилу изловила проклятуших, — сообщила она и, заметив испуг на лице Маруси, добавила: — Вы не беспокойтесь! Я все пересмотрела, больше не видать, должно быть, из дому занесли.

Они прошли в чуланчик, где стояли шкафы с бельем и пахло оттаявшими еловыми шишками. В углу на брезентовой подстилке составлены раскладные кровати. Рядом, в комнатке с одним окном, жила Татьяна, «изменившая» Луше ради возможности спокойно пожить отдельно.

— Не сердится Луша, что ты ушла? — спросила Маруся.

— Чего же сердиться: она умненькая — понимает. Нынче сами перебрались на другую квартиру, тесно стало на старой, как второй ребенок родился.

— И девочка опять вылитая в Ли Фун-чи! — весело сказала Маруся.

— Выходит, кровь у восточных людей сильнее, — важно заметила Татьяна. — Сколько я знаю, всегда в ихнюю природу детишки угадывают.

Маруся недоверчиво улыбнулась, оглядела кровати, заглянула и в уютную комнату Татьяны.

— Нет, и не думайте! — приговаривала та, идя следом. — Видно сразу, что пришлые. Я теперь одержонку ребячью тоже буду смотреть.

— Пожалуйста, Марья Афанасьевна, пробуйте обед, — сказала повариха, появляясь в дверях. Она величала Марусю главным образом для того, чтобы придать солидность своему учреждению.

— Чище нашего-то поискать! — похвасталась Татьяна и, прислонясь к косяку, сложив под грудью жилистые рабочие руки, продолжала. — Разве только в яслях у Луши Ли Фун-чи. Ну, мы с ней вроде один комбинат. А вот в садике номер три вчера была комиссия, так, бабы сказывали, грязное белье на кухне за ларем нашли. А уж паутины да сору... ужас сколько! Говорят, заведующую сменят.

— И следует! — строго сказала повариха. — У каждой матери за своего ребенка сердце болит. Хочется, чтобы он в чистеньком был. Когда она спокойна, у нее работа лучше спорится. Теперь кругом механизация начинается, бабы так и прут на производство, наше дело — успевай разворачивайся!

...После работы, выйдя на улицу, Маруся удивилась тому, как изменился ясный с утра день. Солнце спряталось в серых облаках, и по долине катился жгучий ветер. Маруся бойко шагала по дороге, прятала руки в меховые манжеты пальто. Она все еще жила с родителями на Пролетарке. Ей не раз предлагали комнату в общежитии, но мать огорчалась при одном упоминании об этом, и Маруся решила пока не переселяться. Конечно, отец мог бы перейти в одну из ороченских шахт, но он упрямо продолжал цепляться за старание в погоне за ускользающим фартом.

Ветер дул навстречу с такой силой, что у Маруси заслезились глаза. Она повернулась спиной и так сделала несколько шагов, вытирая лицо носовым платком.

— Уж и ходить-то разучилась по-настоящему! — услышала она знакомый голос и быстро обернулась.

Егор... Лицо его под дрянной шапчонкой показалось ей похудевшим, а глаза все те же ясные, с тяжелыми ресницами.

«Совсем как у Танюшки!» — подумала девушка, вспоминая застенчивый взгляд ребенка. Ей вдруг стало жалко Егора.

— Ветер, — сказала она и еще раз провела платком по красным от холода щекам.

— А я думал, ты плачешь. Только вышел из барака, гляжу... идешь.

— Ну, пойдем вместе, — ласково позвала Маруся, и они пошли рядом. — Что же ты, гуляешь сегодня?

— Нет, рука вот у меня... — Он вынул из-за пазухи руку и показал ей обмотанную марлей ладонь. — Пьяный о печку обжег, — тихо пояснил он, радуясь выражению испуга на ее лице.

— Эх ты-ы, прогульщик! — упрекнула она и опять стала отчужденно гордой. — Болезнь? Какая же это болезнь — по пьянству? И как только не стыдно?

— Сама виновата, — глухо ответил Егор, пряча больную руку.

Маруся удивленно посмотрела на него.

— Еще лучше! Я-то причем? Я тебя на печку не толкала.

— На печку — это бы ничего. Ты меня в петлю чуть не затолкала! — Поглядывая исподлобья на ее растерянное лицо, спотыкаясь от волнения, Егор добавил торопливо и горестно: — Ты от меня, как от волка, бегала, а что я тебе плохого сделал? Ведь не нахальничал, силой не набивался, а с тобой Черепанов... Да не обидно было бы, кабы он оценил такое счастье, а то поиграл да бросил, и опять ты с ним помирилась.

— Ты уже совсем одурел от пьянки, — грустно сказала Маруся. Приисковая среда приучила ее к подобным разговорам, и она даже не подумала обидеться на Егора. — Интересное дело!.. Стыдно, товарищ Нестеров, собирать бабьи сплетни!

— А то нет? — как-то глупо возразил он, но сразу поверил, убежденный не словами, а голосом и всем видом Маруси. — Тоска меня заела, — прошептал он взволнованно и попытался взять девушку под руку.

Она вспомнила Катерину, отвернулась. «Говорил, говорил про любовь да полез к первой встречной бабе. Что она ему? Целовала, наверно, его своими губищами!» Чувство смутной вражды шевельнулось в душе Маруси.

— Не знаю, какая такая тоска!.. У меня для нее времени не хватает. Сколько работать нужно, чтобы настоящим человеком сделаться!

— А ты разве не настоящая?

— Ну, нам с тобой еще много тянуться надо!

То, что она сказала «нам», приближая этим его к себе, обрадовало Егора. Будто и не было долгого периода отчуждения и даже враждебности. И Марусе вдруг стало весело. Она шла теперь рядом с Егором и, уже не отворачиваясь, слушала сбивчивые его рассказы о дружке Никитине.

— Зина! Зи-на! — напевал Ли Фун-чи, любуясь круглой головкой дочери, черневшей среди кружев пододеяльника. Крохотный капор Ли Фун-чи держал в руке, играл им перед личиком плачущего ребенка. Куда же запропала Луша? Прибежала с работы, сунула мужу плотненький живой сверток и скрылась. — Зина! Зи-на! — напевал Ли Фун-чи, тщетно стараясь сосредоточиться на страницах исписанной им бумати, разложенной на столе: он готовился к докладу.

Это был очень серьезный доклад, и Ли Фун-чи затормошил Черепанова при составлении тезисов. Они вместе подбирали нужную литературу, обсуждали узловые вопросы. И вот теперь, когда все уже готово, когда докладчик еще раз перевернул страницы своих тезисов, еще раз перечитал доклад Сталина на пленуме ЦК об итогах первой пятилетки, еще раз продумал то, что нужно было высказать, — возникло неожиданное затруднение: нельзя было выйти из дому.

«Что подумает Мирон Черепанов? Что скажут товарищи, собравшиеся в клубе?»

Ли Фун-чи точно матери родной обрадовался Татьяне, которая, как обычно, привела из садика озябшего Мирошку. Но Татьяна тоже спешила: у нее делегатское собрание на Пролетарке. Татьяна — первый помощник приискового женорганизатора.

Ли Фун-чи, не выпуская из рук Зину, стащил с сынишки шубку, снял шарф и шапочку. Мирон старался всячески облегчить отцу эту задачу, сердясь, сопя, ревнуя к сестренке.

— Да положи ты ее, — серьезно посоветовал он. — Пусть поплачет. Подумаешь!

Такой выпад рассмешил Ли Фун-чи, но дочь развевалась не на шутку, гневные вопли ее встревожили даже братишку.

— Может, она мокрая, — сообразил Мирошка, с которым совсем недавно случались такие оказии.

Вдвоем они распеленали маленькое сокровище, которое начало брыкаться и кричать еще лучше. Пеленки в самом деле требовалось переменить. За это время

хлопотливый Мирошка успел с полного хода растянуться на полу и набил себе преизрядный рог на выпуклом смуглом лобике. Теперь дети плакали взапуски, а Ли Фун-чи в крайнем расстройстве сидел у стола, держа по детенышу на каждом колене и с безнадежным выражением покачивал их, посматривал на часы, и от большой досады и нетерпения у него самого навертывались на глазах слезы. Если бы его помыслы не были прикованы к предстоящему собранию, он, наверно, проявил бы больше инициативы и внимания по отношению к своему потомству. Но сейчас он чувствовал себя на острие ножа. Разве он мог опоздать на собрание? Но как быть с этими крикунами?

Он так обрадовался приходу жены, что даже забыл упрекнуть ее за свои душевные терзания: собрал бумаги и умчался.

В здании клуба народу уже битком. Вдыхая запах свежих еловых гирлянд, Ли Фун-чи прошел за сцену, то и дело здороваясь со знакомыми рабочими, сияя светлозубой улыбкой. Сердце его сильно билось от быстрой ходьбы, от волнения, и, даже вдохнув знакомый пыльновато-сухой воздух кулис, увидев Черепанова, и Марусю Рыжкову, и других приисковых активистов, он не мог успокоиться.

— Ты что так долго? Уже хотели посылать за тобой, — упрекнул Черепанов.

Ли Фун-чи только рукой махнул.

«Вот он перед каждым собранием тоже волнуется, — подумал он о Черепанове. — Не может привыкнуть выступать перед народом. Хотя говорит спокойно, убежденно. Я тоже убежден, но почему-то бьет лихорадка, даже в животе дрожит».

— Ну, начинаем? — спросил Черепанов.

Ли Фун-чи кивнул и все с той же внутренней дрожью, но внешне взбодренный и собранный вышел на сцену. Предстоял большой производственный разговор об овладении техникой, о сокращении прогулов и простоев, о соцсоревновании и ударничестве...

Доклад Ли Фун-чи слушали с большим вниманием: председатель приискома пользовался среди горняков симпатией, его уважали за чистосердечность, за твер-

дось слова. Чуткий к нуждам рабочих, он никогда не бросал пустых обещаний, яростно восставал против бюрократов и волокитчиков.

Сейчас он говорил о могучем росте всего советского хозяйства, о выполнении первой пятилетки в четыре года, о таких ее детищах, как Днепрострой и Сталинградский тракторный. Гордая радость, излучавшаяся от всего его существа, охватывала и слушателей.

— В самом деле, чего натворили, а?! — весело сказал Афанасий Рыжков, сидевший в группе старателей неподалеку от сцены. — Конечно, буржуям не по душе, что мы без них управляемся!

«Лишнего забирает», — тревожно думал Черепанов, сидевший в президиуме, вслушиваясь в данные по сельскому хозяйству. В тезисах этого не было. Но захваченная горячей искренностью докладчика аудитория с интересом слушала и о колхозах...

Маруся Рыжкова написала крохотную записочку и осторожным движением руки подкинула ее Черепанову.

«Что это у него столько слов непонятных сегодня?» — прочитал Черепанов и насторожил ухо к трибуне.

Ли Фун-чи уже перешел к делам приискового масштаба, лицо его сразу стало серьезнее, озабоченнее: в голосе то и дело проскальзывала горечь, даже обида...

— Сломали подъемник на третьей шахте... Простой вышел безобразный... Техническое руководство безусловно повинно, но если бы все рабочие по-настоящему, сознательно относились к делу, то разве требовались бы нянюшки на каждом шагу? — Тут Ли Фун-чи почему-то вспомнил Зину, но усилием воли погасил эту мысль. — Мы, рабочие, должны стать совестью производства. Беречь каждую гайку, каждый винтик, ведь только машины помогут нам выполнить новую пятилетку по металлу...

Черепанов искоса взглянул на Марусю, недоуменно пожал плечом, но тут же его так и стегнуло словечко «субординация», потом «субъективно», затем «де-юре» и «де-факто» и наконец «трансформация» и даже «трансцендентный». Некоторое время Черепанов сидел

не шевелясь, точно оглушенный, затем исподлобья, но зорко посмотрел в зал. Там была все та же настороженная, чуткая тишина. «Да ведь это я ему говорил: работай над языком, обогащай его, — вспомнил Черепанов, — а он за словарь иностранных слов уцепился!» «Поступать по трафарету», — с особенной четкостью выговорил Ли Фун-чи.

— Ах, чтоб тебя намочило! — отозвался кто-то одобрительно из дальнего угла.

Черепанов вспыхнул, но зал зашикал на реплику, и секретарь парткома вдруг успокоился: он понял, что на слушателей действует собственное обаяние докладчика, и как бы он ни выразил свои мысли, их постараются усвоить.

«Валяй, валяй, чертушка! — подумал Черепанов, усмехаясь светлой усмешкой. — Добрался до образованности!»

— Ли Фун-чи, ну что такое дилемма? — со смехом спросила Маруся во время перерыва. — Или вот я еще записала: «идефикс»?

Ли Фун-чи крепко вытирал платком вспотевшее лицо, ярко блестя черными глазами; он сам еще не мог понять, хорошо ли, плохо ли у него получилось, его радовало только большое оживление в зале, вызванное докладом. Отнеслись во всяком случае не равнодушно.

— Идефикс? Ну, то же, что идея фикс — любимый конек, так сказать, — пояснил он, собирая листки тезисов.

— А «катаклизм»?

— Ну, пойдя возьми словарь иностранных слов, если интересуешься, — уже нетерпеливо возразил Ли Фун-чи.

— Не-ет, брат! — решительно, хотя и мягким тоном вступился Черепанов. — А что же, рабочие тоже должны бежать сейчас за словарями? Доклад ты сделал хороший: волнующий, доходчивый, но чего ради ты насовал в него всяких дилемм и идефиксов? Ведь это для простого слушателя как куски кирпича в хлебе. Знаешь, что говорил Владимир Ильич Ленин? Он очень восставал против употребления непонятных иностранных слов. Он высмеивал тех, кто щеголял ими.

Я, но
сро-
ра-
репа-
лся!»
остью
кто-то

кто-то
блику
л, что
оклад
поста

блику
 л, что
 оклад
 поста
 епано
 образ

епанов
образ
смехо
т я е

шее
не
его
зван
одуш
юбим
стки

их с
азил
им то
же д
дела
ты
это
в
Он
ино
ми.

6

их с
азил
им то
же д
дела
ты
это
в
Он
ино
ми.

их с
азил
им то
же д
дела
ты
это
в
Он
ино
ми.

их с
азил
им то
же д
дела
ты
это
в
Он
ино
ми.

вместе квартиру получили бы. Надо уж и мне отдохнуть — слава богу, не молоденькая!

— А кто тебя заставляет? Теперь нужды в твоей работе не видно.

— Просят ребята, как же я буду сидеть сложа руки, когда обед сварить некому? Да и заработок у тебя, Афоня, невелик. У Маруси брать не хочу: пускай приоденется девка. Пора бы уж ей к месту пристроиться, женихи возле нее так и похаживают. — Акимовна озабоченно пригорюнилась, завздыхала: «Вырастила дитя, а теперь отдай неизвестно кому. Какой еще попадется!»

Рыжков смотрел на дело несколько иначе:

«Теперь ее пристраивать нечего, она у места».

Он гордился дочерью, и ему было приятно, что она еще не обабилась, а самостоятельно устраивает свою жизнь.

В ближайший выходной день он приволок откуда-то четыре широкие тесны и длинные брусья. Народу в бараке осталось мало, и семья Рыжкова занимала теперь целую его половину.

Когда отогрелись принесенные плахи, Рыжков подсутил рукава, достал из-под койки сундучок с плотничьим инструментом и, не обращая внимания на грустные вздохи жены, принялся за работу. Он прибил полочку для посуды, установил посредине барака два вертикальных бруса и начал обстругивать плахи, используя вместо верстака старательские нары; намусорил опилками и стружками, надымил махоркой и своим деловитым азартом одолел наконец деланое равнодушие Акимовны.

— Чего же это будет? — спросила она, кивая на брусья. — Качели, что ли?

— Выдумывай! — промолвил Рыжков и, раздумчиво пригладив кудлатую бороду, прикинув, как лучше разрезать доску, взялся за пилу. — Подержи-ка тот край маленько. Заборку хочу сделать. Чтобы как в настоящем доме комната была. Лишние нары теперь можно выбросить, пол подтешу... Пускай ребята в той половине сами красоту наведут, а ты в этой стены по-

бели. Насчет известки я уже договорился с завхозом. Такое помещение получится — любо-дорого!

— Тесу-то где взял?

— В хозотделе выпросил. Только коня не оказалось, но я еще ничего... на себе приволок. Некогда мне ожидать ихней подвозки.

Он работал целый день. Когда начали собираться остальные старатели, заборка была уже готова, а на брусках вместо двери висела занавеска.

— Кажись, не туда попал! — сказал, вваливаясь через порог, пьяный Зуев и хотел повернуть обратно, но, увидев Акимовну, остановился и погрозил ей пальцем. — Устроилась по-жилому, мамаша, то-то я и гляжу, будто барак изменился. — Он сел на свои нары, хлопнул об пол шапкой и промолвил в унылом раздумье: — Было бы у меня семейство, я бы тоже комнату завел. Деточки, внучаточки... цыпляточки... Ну, что я такое есть? Один совсем... Накопил на сберкнижку четыреста рубликов и в два дня все спустил. Будь у меня жена, разве бы она допустила?

— Кто ж тебе смолodu не велел обзаводиться? — сказал Рыжков. — Женился бы и жил себе...

— Легкое дело! Женился бы! Как же это стал бы я по тайгам таскаться, имея семейное положение?

— Как же другие люди таскались?

— То люди... Не всякая пошла бы за бродяжку. Тоже надо, значит, понятие иметь... — Старик кое-как стащил растоптанные рыжие пимы, сунул их к печке и полез на нары, где долго еще вздыхал, бормотал и ворочался.

Удивилась и Маруся, придя поздно вечером домой (выходные дни она проводила на Орочене: то в сачке, то в клубе, то в комсомольской ячейке), с любопытством посмотрела на перестановку в бараке, но, взглянув на довольное лицо отца, взгрустнула. Значит, он и не думает переходить на хозяйские. Она только что разговаривала с инженером Локтевым, заведующим шахтой, где работал Егор и где предполагалось открыть учебные забои для новых рабочих, пришедших на производство. Локтев, по совету Черепанова, спрашивал о Рыжкове, и Маруся обещала поговорить с

отцом, но теперь не знала, как к нему приступить. Вот он сидит у окна, кудлатый, широкогрудый, посверкивая густосиними глазами, подшивает валенок Акимовны. Тяжелые руки его выпачканы варом. Видно, что он спокоен и всем доволен. Золото, правда, плохое, но есть надежда на лучшее. Не зря же пришлось проделать такую огромную подготовительную работу.

«Сколько тянулись, чуть не замерли на одном черном хлебе. Как же теперь отступить? Немыслимое дело!» Упорства и терпения у Рыжкова хватило бы на десятерых, и силы, что бродит в литых мускулах, не изжить еще долго.

— Надо тебе, Аня, курей нынче завести, — сказал он Акимовне, продолжая вслух свои мысли, — теперь кругом живностью обзаводятся. При огородах это прямой расчет имеет. Ежели, скажем, без огорода свинью держать, на нее разве напасешься корму? Жрет ведь — спасу нет! А при своей картошке вырастет незаметно. На Среднем прииске, говорят, целая деревня строится на правом увале, да и на Орочене возле каждого барака нагорожено — не то сады, не то огороды.

— На Среднем забойщики нужны для углубки новых шахт, — осторожно вставила Маруся, — и на ороченские шахты в учебные забои...

— Так вот, я и говорю, — невозмутимо продолжал Рыжков, — теперь прииска со всякими заборами да тынами — прямо как жилое место стали. И народ дольше заживаться начал, вот ведь что удивительно.

Маруся по детской еще привычке забралась на скамейку с ногами и, положив круглое лицо на ладони, в упор разглядывала своего огромного тятеньку. «До чего хитрый, будто и не слышал про забойщиков!» — размышляла она, и веселые искорки блестели в ее темных глазах.

— Теперь любой старатель может при желании семью выписать. Школы есть и все такое прочее. Пять-шесть лет назад здесь бабы наперечет были, а ребятшек и не замечалось, а сейчас от этой мелочи по улице не пройти, — продолжал рассуждать Рыжков о том, что дочери и жене было известно не хуже, чем ему.

В праздных этих и необычных для него разговорах чувствовалось желание показать, что в положении старателя не требуется больше никаких перемен. Ясно, что он хотел предупредить всякие разговоры насчет ухода со старания.

— А мы скоро будем переезжать на Средний прииск, — сказала Маруся, спокойно выждав время, когда отец исчерпал свое красноречие и поневоле замолчал.

— Кто это «мы»? — удивленно спросил Рыжков и даже голову наклонил, словно прицелился боднуть широким лбом, обрамленным русыми колечками спутанных волос.

Маруся чуть заметно улыбнулась, довольная, что сбила с отца лишнюю спесь, подумала: «Ишь ведь, расходился со своим старанием!»

— Управление ороченской группы переезжает. Теперь уж не на Орочене будет центр, а на Среднем: там работы еще крупнее открываются.

— А ты?.. — нерешительно спросила мать.

— Что ж я? Ведь Орочен-то останется, и шахты, и все. Значит, пока здесь останемся, а там видно будет. Отцу вот просили передать: может, он пойдет на первую шахту руководить учебным забоем? С Лены якутов прислали на горные работы, вот и нужно их обучить, чтобы создать национальные кадры. Заведующий шахтой хочет с тобой лично переговорить.

Рыжков ответил нехотя:

— Какой из меня руководитель, — но по голосу чувствовалось, что он усмехается. Значит, немножко клюнуло. Понравилось, что шахтерам известно о его забойном мастерстве. Однако спрятал усмешку и сказал сурово: — Вряд ли выйдет толк из якутов: они ведь вроде цыганов — народ легкий, бродячий, а земляная работа тяжелая, тут и сноровка нужна и сила.

— А ты попробуй, отец, — попросила Анна Акимовна.

— Попробуй? А как же это я ни с того ни с сего свою работу брошу?

— Да ведь золото у вас неважное!

— Сегодня несважное, а завтра вдруг да и фарт. Это ведь азартное дело, заманивает. Вон Точильщиков перешел на шахты, а все к нам бегаёт... беспокоится.

В другой половине уже спали. Акимовна сходилa туда, подложила в печку дров, погасила там лампу и, заслонив ладонью лицо, посмотрела в окошко.

— Темень, ни звездочки! Теперь начнет снежку подваливать. Вот когда Марусе родиться, такая же снежливая зима была, помнишь, Афоня? Еще тогда хунхузы промышленника Хилкова убили...

— Как, чай, не помнить!

— Его ведь дорогой убили, — вспоминала Акимовна, — а лошадь завернули с кошевой в лес, она и издохла в снегу. Дерево-то, у которого привязана была, почти до половины перегрызла, да тут и издохла, бедная. И он, убитый, в кошеве лежал... Помнишь, урядник со стражниками его искали, Хилкова-то?

— Как, чай, не помнить!

— Вот я в ту пору и разрешилась Марусей.

— А что, — заинтересовалась Маруся, — какая я была маленькая?

— Обнаковенно, как всякий ребенок. Отец вот сам повитухой был.

— Неужели сам? — переспросила Маруся и удивленно посмотрела на его грубые руки. «Можно ли с такими ручищами? Тоже доктор выискался! А у новорожденного ребеночка все кости мягкие и головка болтается». И жалкий же вид был у нее в этих мозолистых ладонях! Дрыгалась, наверное, словно лягушонок. Ей стало неудобно и за себя и за отца. — Как же он не побоялся?

— Чего бояться? Жили мы с ним другой раз в такой глухоте — одни мужики, вот он и приобык. Всех-то вас я девятых принесла. Четырех бабы принимали, а остальных ему привелось. Честь по чести. И ребенка обмает и меня. Конечно, были женщины, которые в одиночку рожали, так ведь не у каждой такое здоровье, да и раз на раз не приходится. Одна у нас на Камрае утром бывало родит, сама все за собой уберет и сразу ходить начинает. К вечеру-то, глядишь, и воду носит и дрова рубит... Да эдак вот и надорвалась и

стала в тридцать лет не человек. — Акимовна помолчала и добавила с тихой гордостью: — Нет, мы с твоим отцом хорошо прожили, жалел он меня и берег. Только сама-то жизнь больно беспокойная была.

— А правда, тятя, что ты маму насильно увез?

— Вот еще придумала! Разве я татарин? Сама она за меня убегом ушла.

Однако мысли Рыжкова, потревоженные вопросом дочери, невольно обратились к прошлому. Правду сказал пьяненький Зуев: не всякая пошла бы за бездомного бродягу. Ведь если разобраться: не бродягой ли был Афанасий Рыжков? Не полюбила бы его Анна Акимовна, так бы и прожил в одиночестве. А раз полюбила, значит он стоил того, не на деньги польстилась — весь тут был. Рыжков весело взглянул на дочь. «Хорошая девка! Жалко, остальные померли, доброе вышло бы племя! Целая артель парней и девок. И каждому теперь нашлось бы место и дело...»

Фарт опять ускользал от Рыжкова: золото тянулось все слабее, и старатели продолжали разбегаться из артели.

— Не одним хлебом сыт человек, — сказал в свое оправдание старик Зуев, прежде чем покинуть барак, — надо и на соточку заработать и на похмелку. Пускай китайцы, коли хотят, работают на слабнике, они народ непьющий, умеют сводить концы с концами! Пойду-ка я на вольную разведку. Возьму еще двух стариков и потопаем в тайгу, может амбарчик с золотом найдем — премию получим. Дело скоро к теплу, а пока проживу на Незаметном. — С этими словами старик подтянул повыше котомочку, напялил на седую голову шапчонку и шагнул за порог.

Рыжков загрустил.

— Что же это получается, Аннушка? — сказал он однажды жене. — Выходит, зря нас маяли два года на подготовке. Пойти мне теперь в учебный забой, что ли?

— Иди, отец, — тихо посоветовала Акимовна.

Рыжков протянул еще с неделю, откладывая со дня

на день, но золото не появлялось, и он пошел на шахту договариваться о работе.

Заведующий шахтой партиец Локтев сразу приглянулся ему и своим круглым добрым лицом и тем, как внимательно посматривал он на Рыжкова ясными, тоже круглыми глазами.

— Давай, отец, определяйся, — весело сказал он Рыжкову. — Нам опытных горняков не хватает. Будешь якутов обучать, национальные кадры готовить.

— Неграмотный ведь я...

— Ничего, забойному делу можно без трамоты обучать. А вообще неграмотность надо ликвидировать. Дадим вам квартиру здесь, на Орочене, и сразу записывайся в ликбез. Дочка поможет заниматься... Хорошая у тебя дочка, товарищ Рыжков, а? Только как это она до сих пор не обработала тебя насчет ликбеза?

— Отец ведь я... Как же она меня учить станет?

— Значит, крест ставишь на старании? — перевел Локтев разговор на другое.

Рыжков насупился, ответил уклончиво:

— Покуда перейду, а там видно будет. Боюсь я, что не выйдет из якутов толку в шахтах, они же на воле привыкли работать.

— И на подземных работах привыкнут. На Сталинском в молодежной шахте половина шахтеров — якуты. А шахта передовой числится.

Рыжков улыбнулся недоверчиво.

— Там ведь комсомольцы, поди-ка... Эти напористые...

— Ну вот, значит, опыт им передать легко, — сказал Локтев. — Ты на каких еще приисках бывал, кроме Алдана?

— На Джалинде, на «Золотой горе», в Рифмановском руднике работал.

— На рудном, — одобчительно сказал Локтев, — хорошо, я очень рад. Дадим тебе четыре забоя, в каждом по три человека. Срок обучения звена — месяц. Потом вместо них новых поставим. Соседние забои тоже учебными будут. Понятно?

— Куда понятнее! — Рыжков помолчал, потом

нерешительно спросил: — А что, товарищ Локтев, не знаете вы, как дела в артели... которая была организована из демобилизованных на Орочене? Так они и не нашли золота?

— Не нашли.

— Скажи на милость, вот совпадение! Значит, не повезло и ребятам!

— Теперь они хорошую долю получили.

— Моют уже?

— Моют.

— Потатуев становил в первый-то раз? — спросил Рыжков, помолчав.

Локтев утвердительно кивнул.

— Совсем закручинился старик, похудел. Неприятно ему, что ошибся в расчете.

Рыжков нахмурился. Сказал жестко:

— Ничего, похудеть ему не мешает. Нам он тоже не потрафил, старый черт.

7

Маруся играла Липочку в пьесе Островского. Набеленная и наруганная, дородная от множества надежных одна на другую юбок, она действительно походила на купеческую дочку. Даже из первых рядов клубного зала трудно было узнать в Олимпиаде Самсоновне комсомолку с Пролетарки.

Хороша была мать ее Аграфена Кондратьевна — кассирша из старательского магазина, и в жизни такая же сырая и отечная. Неплохо играли сваха и Подхалюзин, и только черноволосый актер Самсон Силыч чуть не испортил всего дела, выйдя на сцену в криво надетом седом парике.

Фетистов, увидев такой беспорядок, чуть не задержал занавес, но одумался и громко шепнул:

— Парик-то поправь, полбашки видно!

Пьеса в общем прошла живо. Островский пользовался у приискателей большим успехом.

Фетистов прислушался к аплодисментам, закурил и пошел к артистам. Маруся, уже переодетая в свое

платье, снимала перед зеркалом остатки грима. Она покосилась на Фетистова смеющимися глазами, щеки ее блестели от вазелина.

— Ну, как? — спросила она.

— Здорово! Только Большов подгадил с париком.

— А что говорят?

— Публика-то? Очень даже довольны. Чего еще надо! Помнишь, на Незаметном экцентриков-то смотрели... Никакого сравнения. У нас куда лучше, прямо как настоящие артисты.

— Ну, уж это ты преувеличиваешь! — весело возразила Маруся, приближая к зеркалу яркое лицо.

— Щеки не полагается пудрить, разве самую малость, — заметил Фетистов, заботливо, точно старая нянька, следивший за ее движениями.

— Откуда ты знаешь?

— Я все знаю. — Старик помолчал, моргая серенькими глазками, и добавил тихонько: — Егора здесь. Я его в дырочку за приметил... Ряду, поди, в десятом сидел.

— А мне какое дело? — сухо бросила Маруся.

— Зря ты так.

— Почему зря? — Она отряхнула с платья пудру, взяла пальто, шаль, фетровые ботинки и пошла через сцену в зрительный зал. Фетистов побрел следом за нею.

В центре зала, освобожденном от скамеек, танцевало несколько пар. Марусю встретили улыбками. Молодежь устремилась к ней. Она передала Фетистову свою одежду, подняла руку на плечо стройного Колабина и закружилась с ним под звуки «Березки».

Возле входных дверей, в группе нетанцующей молодежи, она действительно увидела Егора. Он стоял, прислонясь плечом к нагроможденным скамейкам, и пристально глядел на нее. Маруся кивнула ему и тут же ласково улыбнулась Колабину и оживленно заговорила с ним о каких-то пустяках. Она совсем не сознавала, что кокетничает с ним потому, что в мыслях у нее был Егор. Когда они опять проносились мимо дверей, Маруся через плечо Колабина отыскивала взглядом лицо

Егора и поразила его суровому выражению. Теперь он не смотрел на нее!

«Ну и не надо!» — подумала Маруся, однако не выдержала и снова взглянула в ту сторону. Егор уже исчез. Все оживление ее тоже сразу пропало, хотя она даже не поняла, отчего так больно защемило у нее на сердце.

— Хватит, — сказала она, поднимая на кавалера опечаленные глаза. — У меня голова закружилась.

Колабин довел ее до Фетистова, но не ушел, а сел рядом на скамейку. Маруся уже не обращала на него никакого внимания. Она надела боты, пальто, повязала голову шалью и, вынув из кармана перчатки, вопросительно посмотрела на старика.

— Домой? — удивленно спросил Фетистов.

— Домой.

— Проводить, что ли?

— Разрешите мне! — сказал Колабин и приподнялся, умоляюще глядя на нее. Лицо у него чистое, очень правильное, голубые глаза по-девичьи красивые, но Маруся посмотрела на него холодно.

— Не надо, я одна пойду.

Девушка прошла мимо зрителей, толпившихся кругом, и вышла в просторное фойе. Там стояли группы курящих шахтеров. Сквозь голубоватый дым белели на красном слова лозунгов.

Дверь в читальню полуоткрыта. Маруся заглянула в нее и невольно попятилась: у стола сидел Егор. Он был в черном распахнутом полушубке. Перед ним лежал открытый журнал, но, облокотясь на стол и вцепившись всей пятерней в темные волосы, он смотрел куда-то в угол, сжимая в другой руке ушанку. Почему он сюда забился? Девушка отступила быстро и осторожно, но Егор повернулся еще быстрее, и взгляды их встретились. Сердце у нее так и заколотилось. Однако она постаралась принять равнодушный вид и произнесла спокойно:

— Журналы читаешь? Это хорошо. Тут есть совсем свежие.

Егор продолжал смотреть на нее молча, и Маруся решила, что уйти сейчас невозможно, — он может по-

думать, что она испугалась или уходит из-за него. Да мало ли что может взбрести ему в голову?

— Надо бы мне книги обменять сегодня... — сказала она и, подойдя к столу, потрогала номер «Крокодила». Руки у нее слегка дрожали, и она, озлясь на свое волнение, поправила шаль и повернулась к дверям.

— Чего же ты танцевать бросила? — спросил ее Егор таким жалким голосом, что Маруся сразу ободрилась и обрела обычную самоуверенность.

— Надоело, вот и бросила. Домой надо.

— Пойдем вместе?

— Кто тебе мешает?

Егор легкими, крупными шагами догнал ее у выхода из фойе. Некоторое время они шли молча. Было тихо. В долине над прииском высоко поднималось розовое зарево огней. Ночь стояла туманная, холодная, едва светили белесые звезды, звонко поскрипывал снег. Когда Маруся зябко повела плечами, Егор не увидел, а скорее почувствовал это движение и тихо спросил:

— Замерзла?

— Нет, — сказала она, хотя с трудом удержалась, чтобы не застучать зубами.

— «Нет», а дрожишь! — заметил Егор и попробовал обнять ее, но она вывернулась, сказав сурово:

— Рукам воли не давай!

Ей сразу сделалось жарко, и она пошла тихо.

— Как же в клубе обнималась с Колабиным?

— Это в танцах. Совсем другое дело.

— Другое дело, потому что со служащим. Конечно, с ним веселее. Навылет его глазами простреляла, а он и так за тобой таскается, словно релей собачий.

Слова Егора рассмешили Марусю. Меньше всего думала она о профессиях своих знакомых, ей совершенно безразлично было, в качестве кого они работают, и она ко всем относилась одинаково. Только с Егором она не могла держаться свободно. Всегда он заставлял ее быть настороже. Этой зимой отношение к нему окончательно запуталось: теперь при встречах у нее начинали холодеть руки, билось сердце, и она

нервничала, стараясь вернуть прежний насмешливо-спокойный тон.

Маруся замедлила шаги, посмотрела на Егора. Он шел, опустив голову. Полушубок на нем был попрежнему расстегнут, как там, в читальне.

— Погоди! — сказала она, останавливаясь. — Что ты идешь такой растрепанный, как коршун, еще простудишься!

Егор стоял перед ней, попрежнему сутулясь, и не глядел на нее. Тогда Маруся сама поправила ему шарф и, сняв перчатку, застегнула пуговицы его полушубка. Обоим стало хорошо, и они засмеялись.

— Какой ты чудной! Точно маленький, нельзя так, — сказала Маруся.

Егор взял ее озябшую руку своей горячей ладонью и так, бережно держа, спрятал к себе в карман. Теперь девушка поневоле шагала с ним рядом, прижимаясь порой к его плечу.

— Кабы я хоть немножко надеялся на тебя... что ты другого не выберешь... я бы набрался терпения и ждал. Не век же тебе в девках сидеть, — говорил он, с трудом удерживаясь от желания схватить и расцеловать ее.

Маруся тихонько высвободилась и произнесла серьезно:

— Обещать я ничего не могу. И выбирать никого не собираюсь. Мне сейчас и для себя одной времени не хватает. То учеба, то в садике... Как у тебя работа в шахте? — спросила она минуту спустя. — Соревнуешься?

— Недавно нас вызвали ребята комсомольцы: давайте, мол, звено со звеном. Согласились мы с Мишкой. Он у меня откатчиком, и еще один есть, но тот не очень поворотливый. Дали обязательство, чтобы без прогулов и норму выполнять не меньше ста процентов... — Егор помолчал, потом добавил с гордостью: — Знаешь, по сколько мы заработали в прошлом месяце? По триста сорок рублей на брата.

— Ну, вот видишь, как хорошо теперь: все по-новому — и работа и товарищи, — сказала Маруся.

Договор о соревновании Егор подписал неохотно. — Как можно загодя хвалиться? — сказал он Мишке. — Дашь слово, а вдруг да не выполнишь?

Никитин сказал с легкой издевкой:

— «Вдруг пришел к бабе друг, а она его весь вечер ждала». Постараемся выполнить. Прогулы-то от себя ведь зависят.

— А если будут простои не по нашей вине? — колебался Егор, глядя на свою корявую подпись.

Мишка взял бумагу из рук товарища, сказал с укоризной:

— Хватит раздумывать! А что, если бы тебе досталось дело государственной важности? Ты бы целый день, поди, сидел да замахивался!

Мишка взял карандаш, разгониисто подписался: «М. Ник», — дальше следовала петля, замысловатый росчерк и длинейшая спираль.

— Вот! — удовлетворенно вздохнул он. — От хорошей, брат, подписи многое зависит. Сразу впечатление создается... А дело хорошее. Ударникам почет, премии разные. Зачем же отказываться от этого? Мы ведь не монахи. Постом и лодырю царства небесного не добиваемся.

Ночью Егор долго не мог заснуть. «Ударником заделался, — размышлял он, беспокойно перекатываясь с боку на бок. — Держись теперь, Егор Григорьевич, чтобы не осрамиться. Надо было сократить в договоре по части общественных нагрузок. Уж очень много мы насулили! А все Мишка... Не дал обмозговать путем. погоди, я тебя завтра погоняю с тачкой!»

В бараке было темно. Храпели вповалку на сплошных нарах усталые люди. Кто-то позвякал печной дверкой. Сильнее затрещало пламя, озарило красноватым светом дальние углы. Егор повернулся к Мишке. Тот дышал тихо, ровно. Егору стало досадно.

«Дрыхнет, как колода!» — подумал он, завидуя беззаботности Никитина, и потерял друга за нос.

— Мишка!

Никитин беспокойно заворочался, сладко почмокал спросонья губами.

— Чего ты, Егор?

— Думаю я, Мишка...

— Конь пускай думает, у него голова большая...

— Мишка, договор-то мы подписали...

Никитин проснулся совсем. Протяжно, с завыванием, зевнул, тепло дохнув в лицо Егора, и сказал сипловатым тенорком:

— Заладила сорока про Якова!.. Ну и подписали, в чем дело? Надо же порядок навести в шахтах. Смотри, сколько прогулов да простоев. Лодырей расплодилось, как грибов поганных. Вот теперь их начнут трясти, только держись! Комсомольцы пошли на производство, партийцы... Раньше на службе находились, а теперь в забой рвутся.

Егор заговорил шепотом:

— С которыми мы соревноваться будем, ребята здоровые и забойщик у них опытный — бодайбинец. — Егор помолчал, потом предложил нерешительно: — Может, нам породу из забоя вынимать по-новому?

Мишка засмеялся:

— Как еще по-новому? Чем ты ее возьмешь, кроме кайла?

— Думаю я, — повторил Егор, — надо все-таки попробовать...

Он закурил, сел на постели. За окном текла темная, в мелких звездах, весенняя ночь. В темноте одиноко брехала собака.

— Знаешь, Миша, — заговорил Егор снова после долгого молчания, — я за последнее время подметил: сильнее ударяешь кайлом — только устаешь, а ударишь слабо, но с расчетом — и толку куда больше.

— Угу, — сонным голосом бормотал Мишка.

На другой день в шахте Егор был сосредоточен и угрюм. Всю смену он работал молча, почти с ожесточением. Звено, глядя на него, тоже подтянулось. Но после замера Мишка сказал ему:

— Как хочешь, но без отдыхов я работать несогласный. С такой горячкой можно не больше недели протянуть. Запалишься и сдохнешь. Не понимаю, чего

ты бесишься! Норму и так перевыполним, а если те больше дадут — ихнее счастье. Я человек независтливый.

Егор ответил не сразу.

— Зависть — это когда для себя одного человек тянет, — возразил он. — А тут по доброй воле схватились вперегонки: кто кого работой побьет. Позорно побитому быть.

Мишка покачал головой, смущливо поморщился.

— Угроишь ты нас! Не могу же я с тачкой рысью бегать.

Второй откатчик ничего не сказал, но вид у него был тоже усталый и недовольный.

Этот разговор заставил Егора крепко задуматься. Как бы сделать так, чтобы работать ровно, без натуги и срывов? Он начал приходить на шахту раньше смены, присматриваться к работе других звеньев, изучал причины простоев, приставал к мастерам с расспросами.

— В мастера ладит попасть, — говорили шахтеры, посмеиваясь над ним, когда он, широколобый и вихрастый, сдвинув на затылок шапку, сновал по просечкам в неурочное время.

Иногда он заходил в читальню, брал журналы по горному делу, подолгу просиживал над ними, с трудом вчитывался и огорчался на свою малограмотность. Читальня толкнула его в вечернюю школу для взрослых. Он похудел. Серые глаза его беспокойно блестели.

— Когда ты женишься? — озабоченно спрашивал его Мишка.

— А что? — смущаясь, отвечал Егор.

— Видимость у тебя такая, что вот-вот психовать начнешь. С Марусей-то выходит дело?

Егор тяжело вздыхал.

— Брось мучиться, — советовал Мишка. — Пойдем к другим девчатам. Парень ты видный, тебя любая с радостью примет. Не хочешь? Ну и ладно с тобой!

«Попробую подкайлить снизу, — решил однажды Егор. — Возьму мелко, сантиметров на двадцать пять, а там видно будет. Только бы мастера не принесла нелегкая! Сунется с указкой под руку — все испортит».

Он послал откатчиков за лесом и начал подкайливать низ забоя. Когда откатчики вернулись, куча накайленной породы уже ожидала их. Они в недоумении переглянулись.

— Что ты делаешь? — спросил Мишка. Широко открытыми светлыми глазами он уставился на выклеванный Егором забой и невольно выругался.

— Подкайливаю, — сказал Егор, упрямо продолжая работу. — Начинайте откатку, пока на подъемнике свободно.

— А придет мастер, что он скажет? Сделается кумпол — задавит и тебя и нас.

Егор нетерпеливо тряхнул головой, выпрямился.

— Небось обвала не будет. Я ведь рассчитываю все-таки: грунт не особенно рыхлый, подкайливаю мелко. Доберусь доверху, тогда сразу закрепим. Вот какой валунище вынул и совсем легко. — Егор поймал Мишкин сердитый взгляд, просительно улыбнулся и добавил: — Кабы можно было, я бы сам и кайлил и катал... Охота мне проверить, можно ли работать по-новому.

Мишка фыркнул:

— Умнее инженеров хочешь быть! Подумаешь, проверщик нашелся! На то наука существует... Хотя почему бы и не попробовать? — сказал он смягченно, увидев, как омрачилось лицо Егора. — Давай подкайливай! Но ежели насыплешь, будешь помогать нам на откатке.

Мишка первый нагрузил тачку и увез ее на подъемник. Обратно по пустынным еще просечкам он мчался с нею рысью: ему показалось, что в забое зашумело обрушение.

Егор удивленно обернулся на тарахтящий бег тачки и топот шагов...

— Живой еще? — вскричал Мишка, переводя дыхание. — Бадейщица дремала у подъемника. Я ее испугал. Заругалась. Только я сам сегодня тоже буду пугаться, покуда огнива не завесим. Как бы не загремело сверху. Будет тогда плакать твоя Маруся.

На ступеньках крылечка скользко от весенней капели. Маруся, придерживаясь за столбик навеса, отломала тоненькую сосульку, надкусила ее зубами. Льдинка хрупнула и растаяла, оставив во рту пресноватый холодок.

Маруся отворила дверь в узкий коридорчик и прошла в комнату.

Комната небольшая, но очень светлая. На высоком окне длинная марлевая штора, за ней вышитые занавески. Посредине стол, накрытый полотняной скатертью. В комнате жарко натоплено, пахнет свежесве- выпеченным хлебом — рядом кухня.

Маруся сняла пальто, боты и в одних чулках, неслышно ступая по вязаным половикам, подошла к деревянной кровати, на которой лежала Надежда. Надежда спала. Шелковистые волосы рассыпались по подушке. Казалось, Надежда измучилась, упала и спит тяжелым сном, и губы у нее слегка полуоткрылись, словно от удушья. Такая сильная и в то же время беспомощная лежала она перед Марусей.

Девушка наклонилась над спящей, с любопытством вгляделась в ее странно измененное лицо. Точно мертвая! Но вот какие-то тени прошли по ее белому лбу, брови беспокойно наморщились. Что видит она?.. Вот пошевелила губами, улыбнулась неожиданно. Теперь она довольна, ей хорошо. Жалко, но придется разбудить.

— Эй, засоня! — тихонько позвала Маруся, села рядом на постели и похлопала Надежду по плечу. — Что еще за мода днем спать? Цыгунгу напиши.

Надежда потянулась всем телом, потом приоткрыла синие, бессмысленные спросонья глаза.

— У, какие у тебя большие зрачки! — сказала Маруся, наклоняясь к ней. — Да черные!

— У кого же они белые-то бывают? — сонным, чуть охрипшим голосом возразила Надежда. Она обхватила Марусю обеими руками, шутя опрокинула ее к стенке. — Ляжь, отдохни. Хватит тебе бегать. Я вот при-

шла с работы да так славно уснула. Сейчас встану, чай пить будем.

Надежда зевнула, хотела встать, но Маруся удержала ее.

— Погоди, давай посплетничаем. — Села поудобнее, прикрыла краем платья ноги, плотно натянув материю на коленях. — Что, от твоего Василия ничего не слыхать?

У Надежды скорбная складка легла между бровями. Мысли о муже, очевидно, беспокоили ее. Она сразу потемнела и постарела.

— Нет, пока, слава богу, ничего не слышно. Выслали его, наверно, чего ему здесь делать! Уверюсь, что так, а другой раз вздумаю: вернется, и ровно камень на душу ляжет. В груди защежит и занает, прямо беда. Во сне увижу, будто я опять с ним, и плачу, плачу, аж сердце разрывается. Вот до чего он мне опостылел!

— А к сестре ехать уже не собираешься? — спрашивала Маруся, сочувственно глядя, как, разглаживаясь, мельчали на лбу женщины старящиеся ее морщинки.

— Да прижилась уже. И работа при больнице мне нравится. Я теперь вроде завхоза. — Надежда поймала взгляд Маруси, устремленный на окно, и, невольно краснея, сказала: — Ты не подумай, марлю я не там взяла. В магазине продавался кусок.

— Я и не думала! Вот же, какая ты чудачка! Ведь это мелочь...

— Мало ли что! Чужой нитки сроду не присваивала. — И уже успокоенно Надежда продолжала рассказывать: — Машину я купила у одной отъезжающей. На днях начну на ней шторку для двери вышивать по суровому полотну. Знаешь, этак с переплетом... Решенье, что ли. Меня еще в Благовещенске хозяйка обучила — она мастерица была. Ты матери скажи, пусть приносит полотенца. Я ей давно обещала промрежить. А отец как?

— Отец работает вовсю. Раньше говорил: из якутов горняков не выйдет, а сейчас доволен ими... хвалит. Я заметила за ним: любит он, чтобы его самого

похваливали да поглаживали. Мама говорит, что он меня принимал, когда я родилась... Стыдно должно быть, а она гордится этим.

Надежда улыбнулась.

— Правильно делает, что гордится. Хороший у тебя отец, не трепло, не пьяница. Раньше в тайге бывало так, что мужики у своих баб детей принимали. Те, которые входили в тяжелое бабье положение. Животное и то в эту пору жалко, а тут свой родной человек мается, как же не помочь?

— Мама трех кур сегодня купила, — сообщила Маруся, засмеялась и легла, положив голову на грудь Надежды.

— Отпускаешь волосы? — заметила Надежда и потрогала прическу Маруси. — Тебе идет с шишкой, а с косами еще лучше было. Помнишь, как остриглась-то? Я тогда промолчала, а не понравилось мне.

— Вот ты какая! Надо всегда прямо говорить.

— Да ведь они не выросли бы от моего разговору, а тебя и так все ругали, — ответила Надежда. — Цветешь ты. Как с Егором-то? Встречаетесь?

Маруся смутилась. Егор стал снова настойчиво-ласковым, и это уже не сердило ее. Теперь она думала о нем все чаще.

Надежда смотрела пытливо и понимающе, хорошее лицо ее вызывало на откровенность.

— В шахте он, третий месяц... Я иногда его ви-
даю. Он к нам заходит.

— А-а-а! — протянула Надежда и умолкла, прикрыв глаза светлыми ресницами.

Маруся так и вспыхнула, верно поняв значение этого восклицания.

— Вовсе нет! Ты не подумай чего-нибудь... Он к отцу заходит, мне с ним некогда. Но... мне его жалко, он неплохой парень.

— Я тебе давно говорила. Его только в руки взять, а уж любит он тебя!

Девушка нахмурилась и, словно отгоняя что-то неприятное, качнула головой.

— К Катерине-то он ходил, — тихо сказала она.

— Да ведь это от обиды. Ему тогда сказали, что ты с Черепановым живешь.

— А ты знала?! Почему же ты не сказала ему, что это неправда? И мне не сказала!

— Чудная ты! Ты же слышать о нем не хотела, а я думала, может ты и вправду... с Черепановым. Люди молодые, всем жить хочется. Я тогда пошла вечером на речку, а он, Егор-то, лежит в кустах и ажно дрожит весь... плакал ведь навзрыд! И в тот раз не пьяный был. Это уж после Катерины. Я и сама над ним заплакала. Жалею я его! Я с ним говорила недавно, похоже, он просто так заходил к этой халде, за водкой. Выходи-ка за него замуж, пора тебе: вон ты какая здоровая. Мужиков-то много, да милых мало, а Егорка — он милый.

— Чего ты нахваливаешь? — уже подозрительно спросила Маруся и внезапно задумалась. — Нет, замуж я еще не хочу.

— Дело твое, — сказала Надежда, но глаза ее повеселели. Она поднялась с кровати, помотав головой, распустила волосы, расчесала их и снова собрала большим узлом.

Маруся облокотилась на подушку и вспомнила сегодняшний сон. Она стояла в какой-то ограде, напряженно смотрела вверх. Дикие гуси кружились над нею в облачном небе. Маруся отчетливо видела их светлые снизу крылья и крупные головы на длинных шеях.

«Упади! Упади!» — страстно шептала она. И вот один из трех гусей перевернулся в воздухе и стал падать к ее ногам. Благоговейное волнение охватило ее при виде такого чуда. Неумело, но истово перекрестясь, она сказала: «Слава тебе, творец небесный!» — и наклонилась восхищенная. Но на земле перед ней лежала утка. Глядя на ее серенькое брюшко и ржаво-желтые крылья, Маруся почувствовала острое разочарование и обиду: она совершенно ясно видела, что падал гусь. Потом исчезла и утка, и Марусе было очень неудобно перед ребятами комсомольцами, и она, стесненно посмеиваясь, говорила, что перекрестилась нарочно.

Словно издалека донесся до нее голос Надежды, а она стояла совсем рядом:

— Кожа у меня болит от волос, тяжесть такая. Придется заплетать в две косы да венцом укладывать...

— А я сон видела нынче!.. — перебила ее Маруся.

— Замуж тебе пора, — сказала Надежда, выслушав, и вздохнула.

— Какое же это имеет отношение? — возразила Маруся со смехом, но глаза ее заблестели еще ярче.

10

На подъемнике опять что-то случилось. Откатчики стояли и сидели возле тачек на рудничном дворе, курили, посмеивались над бадейщицей, румяной девушкой в брезентовой мужской спецовке.

— Почему от баб нигде отбою нет! Сидели бы лучше дома, а то из-за вас один беспорядок.

Бадейщица, уже выведенная из терпения, сердилась.

— Почему из-за нас?

— Ребята на вас интересуются, работа на ум не идет.

— У лодырей на все отговорки. На второй шахте женщин нет, а поломки и простои без конца. Вчера на лебедке опять мотор испортился. Вызвали моториста в управление, а он говорит: «Должны же быть производственные неполадки. Машина, говорит, тоже имеет свои болезни». Женщина бы сроду не сказала, что неполадки должны быть.

— Ну, это он перехватил через край! — сказал забойщик Точильщиков, пришедший поторопить верховых с доставкой леса.

Очередь увеличивалась. Становилось шумно.

— Теперь, кажись, все собрались!

— А что Мишку Никитина не видать?

— У них забой дальний, метров за триста.

— Ну, ему триста метров нипочем — бегают, словно иноходец.

— Да они с утра катали, — сказала бадейщица, — покуда подъемник исправный был. Третью смену раньше всех катают.

— Как это они умудряются?

— Ударнички! Охота лучше людей быть!

— Э-э-эй, бороноволоки, сторонись, задавлю! — крикнул, шумно подкатывая, Мишка.

— Становись в очередь, не лезь вперед.

— Я и не лезу, мне вот на папашу посмотреть интересно.

«Папаша!» — усатый Точильщиков сумрачно усмехнулся:

— Девка я, что ли? Давай не дури! Тебя в санки бы впрячь, черта гладкого.

— А ты думаешь, тачка легче? В ней дерева пуда полтора, да грязи налипнет столько же. Вот скоро дадут железную, тогда любого вызову на соревнование.

— Уж ты вызовешь! — сердито сказал Точильщиков. — Что, огнива-то уже завешали?

— Егор верха подбирает, сейчас одно завешают.

— Которое?

— Первое.

— Так чего же вы с утра катали?

— Шишки еловые! — ответил Никитин. — Чудак человек, что же можно катать из забоя? Ясно — породу! Снизу начинали.

— Как это снизу? Почему? — вперебой заговорили откатчики.

— А очень просто. Мы и вчера так... пять огнив завешали.

— Ну и здоров ты брехать! Прямо уши вянут! — с возмущением крикнул Точильщиков. — Лучшие забойщики больше трех не завешивают...

Мишка вспыхнул:

— Приходи в забой, увидишь!

— Вот сменный мастер узнает, он вас проберет! — сказал один из сидевших у подъемника. — С землей шутить нечего, недолго и до беды.

Звонки на подъемнике прекратили разговор. Бадья плавно опустилась вниз, и на рудничном дворе началась непрерывная суетня.

— Полчаса простояли из-за поломки да в очереди столько же! — сердито сказал Мишка, вернувшись в забой. — Давеча совсем свободно было, а сейчас все враз прут.

В конце смены, когда Егор завешал шестое огниво, пришли шахтеры из соседних и дальних просечек, осмотрели забой, посчитали огнива: нет ли старых? Один даже попробовал пошарить за стойками.

— Рукавицы потерял, что ли? — насмешливо спросил Мишка.

— Гляжу, может грунт вам пустой выпал.

Егор, довольный интересом шахтеров, с кайлом в руках показывал, как он работал в последние дни. Общее внимание оживило его. Всегда сдержанный и неловкий на людях, он сделался даже красноречивым. Ему казалось, что все с радостью ухватятся за его уже проверенное на практике предложение.

«Сразу бы увеличилась выработка!» — думал он. Приход сменного мастера Колабина охладил его.

— Подкайливаешь? — спросил мастер хмуро, подсчитав сегодняшнюю завеску. — Действительно, шесть огнив! А дальше как будешь?

— Так же, — твердо ответил Егор.

— А ежели я доложу заведующему техникой безопасности и он тебя штрафнет рублей на сто, тогда как?

— За повышение производительности не имеет права... — крикнул Егор. Сердце у него отчаянно забилося. — Я напишу в газету, — пригрозил он, понижая голос.

— М-м! — нерешительно возразил Колабин, внимательно разглядывая Егора. Он знал, что начальство подкайливать не разрешит. Но, с другой стороны, неудобно одергивать ударника, уплотняющего свой рабочий день, и он сказал холодно: — Жалея тебя, предупреждаю: если сошло благополучно, так только потому, что грунт устойчивый. В слабом сразу бы закупнолило.

Новая смена уже приступила к работе. Забойщики, приходившие полюбопытствовать, расходились. Кто посмеивался, кто задумался. Но всем после слов мастера стало ясно, что высокая производительность Егорова звена связана с большим риском.

Егор и Мишка, как обычно, вышли из шахты вместе. Они сдали спецовки в раскомандировочной и долго еще сидели в коридорчике на длинной скамье, Мишка нехотя огрызался, когда их задирали. Егор молчал. Только однажды, когда он ходил к Катерине, у него было так гадко на душе. Ему вдруг захотелось напиться и нахулиганить, но он вспомнил о Марусе, тяжело вздохнул и посмотрел на товарища.

— Здорово! — сказал тот и невесело улыбнулся. — «Штрафнем, говорит, рублей на сто».

В глазах Егора вспыхнули злые искорки.

— Схожу я в партком к этому... Черепанову.

Мишка неожиданно сказал:

— Ты его зря не любишь. Он парень хороший...

11

Река вышла из берегов... Мутные, грязные воды ее, завиваясь бурунами, резво хлынули на крохотные, любовно возделанные поля и огороды, на ровные канавки орошения, заплескались у стен убогих фанз поселка... Все живое бросилось к пустынным склонам ближнего нагорья. Спешили женщины с грудными детишками, с наспех связанными узлами. Малыши постарше цеплялись за одежду взрослых, бежали, падали, кричали и исчезали под катившимися со стороны реки водяными валами. Река вздувалась все выше, лезла из берегов неудержимо, стремительно...

Жесткая рука бабушки, как железные клещи, сжимала ручонку Ли Фун-чи. Мальчик семенил за старухой, но все норовил оглянуться назад. Братья и сестры летели рядом, точно выводок напуганных цыплят, а мать и отец замешкались: выводили из хлевушка годовалую свинью — гордость семейства. Теперь они бежали, держась за веревку, захлестнутую лямкой под

грудью животного. Отец отставал: он тащил еще какую-то ношу в мешке. Ли Фун-чи видел сверток и на плече матери. Потом она мелькнула уже без свертка: с трудом удерживала бестолково метавшуюся свинью. Когда водяной вал стал настигать бегущих, сбивая их с ног, животное кинулось вперед, и женщина, проводочась за ним, выпустила из рук веревку. Люди бросали вещи, теряли детей, а жадная вода гналась за ними, глотая их, словно сказочный дракон. Потом те, кто уцелел, сидели на каменистом голом склоне под палящим солнцем и тупо смотрели на долину, залитую пенящимся бурным потоком, по которому плыли обломки строений, деревья, вырванные с корнями, кучи соломы, бочки, плетни и распухшие тела утопленников.

Почти каждый год река губила посевы и уносила массу человеческих жизней, и хотя жители долины знали о ее склонности к жестоким причудам, они всегда оказывались не подготовленными к ним.

«Тяжело покинуть родной угол, зная, что не найдешь его, когда вернешься обратно, — говорила бабушка, покачивая на коленях притихшего внука. — Обидно бросать в пасть вечно голодного зверя нужды свое здоровье, силу и молодость, но горше всего утрата любимых... Больно ранит живых падающий меч смерти. Каждый удар ее отдается в сердце близких, как удар топора по корням дерева отдается в раскидистой его вершине. Гибнут корни дерева и сохнет зеленая крона. Гибнут живые привязанности, питающие заботой и радостью душу человека, и сохнет, черствеет душа...»

Бабушка говорит тихо, медленно, важно, гладит плечи внука, и слезы капают скупым дождем... По всему склону горы воют, рыдают женщины... Какое горе и разорение упало на жителей долины! Плачет и мать Ли Фун-чи. А отец смотрит сощуренными пустыми глазами на реку, которая недавно хватала его за пятки, и молчит. Трубочка его тоже пуста, и странно, точно мертвые, лежат на коленях узловатые, раздавленные работой руки. Эти руки не привыкли к праздности..

«Бабушка, я вырасту большой, возьму большую мотыгу и отведу реку», — обещает маленький Ли Фун-чи.

«Куда же ты ее отведешь, дружок?» — говорит бабушка, улыбаясь сквозь слезы.

«Вон туда!» — Ли Фун-чи неопределенно машет в сторону.

«Там такие же бедные люди, как и мы, — говорит бабушка. — У них своего горя достаточно».

Мать вдруг вскрикивает особенно пронзительно, Ли Фун-чи бросается к ней и просыпается...

Детский плач тревожит, а затем радует его слух: — Зи-на! Зи-на!

Луша уже на ногах, в комнате мягкий полусвет от настольной лампы, за кружевом оконных штор синяя ночь... Черные косы жены свешиваются над постелью, где барахтается, размахивая крошечными кулачками, бесконечно дорогое существо. Похоже, Зина ловит тяжелые косы матери. Ли Фун-чи смеется про себя, глядя на эту милую картину.

Мирошка спит спокойно. Вот корни, которыми Ли Фун-чи крепко врос в жизнь... Но другие дорогие сердцу образы встают перед ним. Он вспоминает сон и задумывается. Ему хорошо, а они? А им? Вот бабушка, хлопотливая, добрая, веселая говорунья... Вечно озабоченная работяга-мать... Отец... Сестры... Ведь это тоже корни, которыми душа Ли Фун-чи привязана к жизни! И они не отсохли, не оборваны. А небо родной страны, ее горы и реки — все такое жестокое к бедным жителям и такое любимое!..

Неужели там никогда не будет радости и покоя? Неужели бабка умрет, так и не узнав жизни без боязни за завтрашний день? Зи-на, Зи-на, какая ты счастливая, что родилась не у тех мутных вод, не на тех горячих и голодных берегах. Там рождение девочки — несчастье. Если она третья в семье, ее могут бросить в рисовое болото. Таков звериный закон борьбы за существование. Но должно ведь и туда прийти счастье?

Ли Фун-чи вспоминает, как он покидал свою деревню, родную свою страну... Ничего тогда не понимал!.. В стране уже существовала коммунистическая партия.

Уже шла борьба против императора и иноземцев... А Ли Фун-чи, озабоченный поисками работы, лишь краем уха слышал о докторе Сун Ят-сене, о партии гоминдан, созданной им, которую захватили и растлили помещики и генералы императора. Ведь Ли Фун-чи жил на севере, где властвовала реакция, а республика Сун Ят-сена возникла, существовала и была задавлена на юге Китая.

Во время белого террора, организованного гоминдановцами, погибли в провинции Шаньдунь два брата Ли Фун-чи. Простые парни-грузчики... Ли Фун-чи узнал об их смерти с большим горестным волнением и гордостью. Если бы он сам не ушел в Россию, он тоже не остался бы в стороне, раз его братья ввязались в борьбу. Видно, дело разгорелось там не на шутку! Прав ли он был, позволив жестокой нужде вытолкнуть его за порог родного крова, родной страны?

Эта мысль не в первый раз приходила в голову Ли Фун-чи, но едва он вспоминал похожее на плоскую тарелку лицо обиралы-чиновника, его толстую спину с плетью тонкой косы, свисающей из-под черной ермолки, едва вспоминал жирного помещика, шествующего по богатым дворам осененного зеленью дома, пропитанного запахом снеди, какая-то спазма сжимала горло Ли Фун-чи. Ненависть голодного к сытому. Озлобление труженика, погибающего в тенетах нищеты, теряющего силы в борьбе за каждый глоток воздуха. Чем только живы там дети и старики?! А в тоды неурожаев, когда поля и дороги устилаются умирающими, все превращаются в стариков. А когда люди не ходят, а лежат вытянувшись, их кажется особенно много в притихших селениях... В тесно скученных деревнях не то, что на полях помещика! Тяжелой поступью проходит голод по китайской земле. Страшные болезни идут за ним... Пустеют фанзы... Но так мало земли у бедняков, что вслед за мором опять, как пена, как горькая накипь, вскипает излишек ненужных рук, голодных ртов. Живой шлак, в который превращается часть народа, бьет через край котла, именуемого государством, уходит в сторону. Так ушел и Ли Фун-чи. Ушел и вдруг впервые ощутил себя человеком. Мог ли

он сожалеть о прошлом, где все было сплошным унижением? Нет, он с чистым сердцем перешагнул в новую жизнь и с радостью утвердился в ней, принимая ее, как принимает свет и тепло измученный, озябший путник. Он осматривается с признательностью, он тянется к этому теплу. За его спиной тьма, холод и голод. Со страхом вспоминая о них, он всем своим существом ощущает благодатную перемену. Так и Ли Фун-чи... Теперь его сердце болело только о тех, кто остался там, во тьме. И чем лучше он жил, чем свободнее и глубже дышал, тем больше думал о них.

Все эти мысли приводили Ли Фун-чи к думам о Сталине. Он рос сам, и вместе с ним росла его привязанность к человеку, который жил от него за тысячи километров, но с которым он уже привык общаться повседневно. Чувство удивления, восхищения и безграничной, страстной благодарности охватывало все его существо, когда он пытался представить значение Сталина в своей жизни, в жизни всего советского народа и в жизни человечества.

— Если бы я мог сделать хоть что-нибудь нужное для него!

И чем больше он думал о Сталине, тем больше проникался убежденностью, что свет из Кремля дойдет и до Китая.

— Луша! — окликнул он жену, приподнимаясь на подушке.

Она устроила удобнее головку ребенка на своей согнутой руке, поправила пеленку и только тогда посмотрела на мужа; влажно блестящие черные глаза ее выражали ласковое внимание.

— Что? — спросила она, подходя и присаживаясь рядом с ним.

Он сел тоже и крепко обхватил ее плечи. Он до сих пор не мог преодолеть привитой многовековыми обычаями сдержанности китайцев в обращении с женщинами и детьми, но он упрямо боролся с нею, как с одним из позорных пережитков прошлого, хотя, целуя при посторонних жену или ребенка, всякий раз испытывал невольное смущение: в Китае поцелуй воспринимается

как нарушение приличия. Ли Фун-чи с удовольствием нарушил сейчас это приличие и спросил жену:

— Скажи, ты могла бы поехать со мной в Китай?

На лице женщины расплеснулись внезапная бледность и испуг.

— Зачем? — воскликнула она.

— Нет, не сейчас, — с живостью ответил Ли Фун-чи, увидев ее тревожное волнение, — а когда там будет советская власть...

— Тогда я поеду с тобой... мы поедем с тобой, — сказала она, вздыхая с таким облегчением, что Ли Фун-чи сразу представил невозможность оторвать ее от родной почвы, которой для нее была не местность, а весь общественный строй, вырастивший ее.

— Вот и у меня это же! — сказал он, зная, что она поймет его. — Ведь правда: родина там, где больше чувствуешь себя человеком. Но и Китай станет той родиной, где хорошо будет человеку.

12

В партком Егор не пошел. Снова всколыхнулось у него чувство старой обиды, которую, сам того не зная, нанес ему Черепанов, снова вспомнилось и отчуждение любимой девушки и свое падение...

«Ведь это из-за Черепанова я чуть не отсидел в тюрьме», — думал Егор.

Ему казалось, что тот настроен к нему тоже неприязненно, а интерес дела требовал посоветоваться с кем-то отзывчивым, кто дал бы совет и помог воздействовать на зловредного мастера. Тут Егор вспомнил последний доклад Ли Фун-чи, его горячий призыв повысить производительность труда...

— Вот я и хочу повысить, — с горечью сказал Егор, как будто уже обращаясь к председателю прииска, и круто свернул с намеченного было пути.

У Ли Фун-чи шло заседание конфликтной комиссии. Рассматривали выполнение договора старательской артели с управлением. Сидя в смежной проход-

ной комнате, Егор томился, сгорая от нетерпения, рассеянно прислушивался к голосам спорящих. Прииском помещался теперь в новом помещении, из окон которого открывался вид на шахтовые копры вдоль бывшего русла речки Ортосалы, на людный поселок вдоль левого ее увала. Егор, занятый своими мыслями, сначала ничего не замечал. Подогретая ожиданием досада так и кипела в нем. Потом он прислушался к словам Ли Фун-чи:

— Нет, ребята, вы неправильно требуете, — говорил тот, обращаясь к старателям. — Льгот вам теперь предоставлено много, но нельзя превращать предприятие в дойную корову. Вы не с частным хозяином имеете дело, имейте же государственное соображение! Нельзя рубить сук, на котором сидишь.

Ли Фун-чи говорил с сильным акцентом, но слова выговаривал правильно, лишь изредка скрадывая окончания их. Голос его звучал искренней, серьезной убежденностью...

«Вот у Колабина как раз и нет этого самого государственного соображения! — подумал Егор... Из глубины его души то и дело всплывало воспоминание о том, как Колабин ухаживал за Марусей, но Егор, не желая придать делу личный характер, сердито отмахивался от таких представлений. — Не хочет видеть, что нам нужно работать как можно скорее, ловчее... Мало ли правил навывдумывали старые техники!»

— Здравствуй, товарищ Ли Фун-чи! — сказал Егор, входя в комнату, когда представилась возможность.

— Здравствуй, товарищ... Нестеров, — ответил Ли Фун-чи, не сразу вспомнив фамилию молодого шахтера.

«Знает меня», — подумал Егор, разглядывая в упор симпатичное ему весело-умное лицо председателя. Но вопрос, который так волновал его с полчаса назад, представился ему вдруг совсем неважным. В самом деле, что серьезного можно рассказать сейчас? Ну, начал подкайливать забой снизу... Ну, удалось в течение нескольких дней вдвое повысить выработку звена... Даже свой брат — шахтеры не придали этому значе-

ния. Стоило ли ради этого волноваться и даже устраивать конфликт с техническим руководством?

— Как жизнь идет? — спросил Ли Фун-чи. — Ты на какой шахте работаешь?

— У Локтева. На первой, — коротко ответил Егор, собираясь с мыслями.

— В соревновании участвуешь?

— Да втянулись нынче, — неохотно начал Егор, но сразу оживился и торопливо выложил все, что наболело у него на душе в последнее время.

Ли Фун-чи слушал с жадным вниманием, придвинувшись вплотную к шахтеру, так что угольно-черные, слегка раскосые глаза его заблестели перед самым лицом Егора.

— А знаешь, ведь это здорово! — вскричал он, обеими руками стиснув плечи Егора. — Шут тебя побери, додумался раньше инженеров! Вот что значит, когда человек болеет общим интересом! Сильно меня рассердили сегодня рвачи. А ты молодец! Просто очень молодец. Чувствую, важное нашел в своей работе. Пошли сейчас к Черепанову, он рад будет. Пойдем, пойдем! — говорил Ли Фун-чи, одеваясь и замечая нерешительность Егора. — Тут вопрос государственного значения, и мы все обязаны помочь тебе.

Егор пошел, подчиненный и захваченный жизнерадостной уверенностью председателя прииска, однако ощущая неловкую связанность.

Но встреча с Черепановым произошла неожиданно просто. Он выслушал Егора с большим интересом, угостил папиросой, закурил сам и, оставляя за собой дымный хвост, взволнованно прошелся по комнате.

Его тоже сразу захватила мысль о возможности улучшить работу в шахтах.

— Помнишь, я тебе еще в старом клубе говорил о переходе на хозяйские... — весело напомнил он Егору. — Ты мне тогда сказал: чего, мол, там делать? А вот и нашел чего!

— Нашел, — подтвердил Егор. Он все-таки избегал взгляда Черепанова и смотрел больше в окно, за которым влажно блестел на солнце рыхлый тающий снег. Не отрывая глаз от этого чудесно тающего снега, Егор

добавил: — Обидно, что вместо поддержки одна протсмешка. Пришел Колабин со своей указкой — и все сразу ему поверили, что дело, мол, рискованное.

— Сколько процентов вы дали сегодня? — спросил Черепанов.

— Двести четырнадцать, — ответил за Егора Ли Фун-чи.

— Здорово! Грунт у вас, говоришь, средний... а если в слабом?

— В слабом можно мельче подкайливать.

После небольшого раздумья Черепанов сказал оживленно:

— Надо вам хорошо освоить это подкайливанье. Ведь потом придется других обучать. А насчет штрафов уладим. Штрафовать не будут, но мешать постараются наверняка. На помощь вашего мастера Колабина рассчитывать нечего. И это вполне понятно: он хотя молодой, но старыми традициями пропитан крепко. Ты что думаешь — мастер или инженер обрадуются твоему открытию? Ничего подобного! Они скажут: «Позвольте, ведь нас учили, что так работать нельзя». И по-своему они будут правы. Но ведь горное дело называется искусством! Значит, возможности для творчества в нем большие. Вот и твори, товарищ Нестеров, не бойся, что тебя одергивают. А мы создадим тебе условия.

13

В комнате было жарко натоплено. Потатув любил тепло. Простая деревянная кровать его стояла у самой голландки. Сверх плюшевого одеяла он накрывался дохой, в ноги бросал овчинный полушубок.

— Небось сало не вытопится, — говорил он сослуживцам, заходившим иногда в его маленький домик. — А кости теплу рады. На улице любого мороза не боюсь, но дома — чтобы душа таяла.

Потатув сидел у стола в меховой безрукавке, в низеньких валеных ботиках, оседлав очками мясистый нос, и задумчиво смотрел на исписанный лист бумаги. Облокотясь на стол, он подтирал кулаками красные

широкие уши, отчего жирные морщины косо набегали от его щек к вискам.

Письмо написано жене в Киренск. Потатуев давно уже жил отдельно от семьи. Единственный сын Кешка выродился ни в отца, ни в мать — дебелую и глуповатую иркутянку. Он был хил, хитер и в тридцать лет все оставался Кешкой, бездельником и пропойцей.

Глаза Потатуева рассеянно пробежали ровные, твердо выписанные строчки.

«София Николаевна, здравствуй, мать моя!

Сыну не кланяюсь. Сердит за мотовство его и распутство. Деньги мне не даром достаются. Служба трудная и беспокойная. Старею, а надежды на покойную старость нет. При нынешних порядках не наживешь палат каменных, а если и наживешь, так с железной решеткой. Недавно засыпало старателя в яме, так столько было комиссий и беспокойства, что я заболел. Сердце стало пошаливать. Скучно живу, и в семье радости нет. Не обижайся, мать, на стариновское брюзжанье. Сама понимаешь, не от радости это. Хоть бы оженила ты нашего дурака, что ли. Только путная за него навряд ли пойдет, а халду взять — лишняя тяжесть на шею. В общем, смотри, тебе виднее. В отпуск я ныне не приеду, не ждите. У нас здесь большие работы начинаются — недосужно будет».

Потатуев вздохнул, макнул ручку в плоскую чернильницу и дописал:

«К осени пошли мне валенки кухнарские, папашины. Деньги переведу двадцатого числа сего месяца. С приветом, муж твой Петр Потатуев».

Он встал и, шаркая ботиками, заходил по комнате. В сенцах стукнула дверь. Потатуев выглянул в переднюю, недовольно нахмурился: через порог переступил косой Быков. В старом ватном пиджаке и в сбористых шароварах он выглядел теперь настоящим старателем-неудачником.

— Ну, чего ты? — окрысился на него Потатуев. — Знают ведь: не люблю, когда на дом ходят, а все равно идут!

Быков виновато переступил с ноги на ногу. Взгляд его был занескивающим и злобноватым.

— Насчет работы я, Петр Петрович.

— Знаю, что не в гости пришел. Можно бы и в конторе поговорить, — возразил Потатув и, пристально оглянув старателя, приподнял одну бровь. — Ты в прошлом году работал в артели на Пролетарке... в той, которую разогнали за хищение золота?..

— Был такой грех, — хрипло ответил Быков и выжидательно кашлянул.

— Хм! — Потатув погладил усы, чуть усмехнулся и спросил: — Где сейчас Санька, китаец этот?

Быков оживился, повеселел:

— Сидит он. Говорят, вышлют их из района, арестованных-то...

— Ну вот, — сурово оборвал Потатув, — каждому по заслугам воздается. А ты чем же занимаешься теперь?

— Все старался, да толку мало.

— Не везет?

— Еще как! Может, дали бы мне другую работу?

— Какую же другую? У меня, батенька мой, старательский сектор, а не завод, — выбирать не из чего.

— Я все могу, — упрямо сказал Быков.

— Как это все? Кузнечное дело знаешь?

— И кузнецом могу соответствовать. Тятенька свою кузницу держивал. Приходилось.

Потатув ответил не сразу.

— Работа ответственная — наварка инструмента для шахт.

— Петр Петрович! — взмолился Быков. — Допустите, ради Христа! Уж я бы постарался. Не верите мне, рукам моим поверьте. Вот они, — с этими словами Быков вытянул длинные руки ладонями к Потатуву, словно задушить собрался.

— Руки у тебя действительно... Ладно уж. Дам записку к заведующему механической мастерской. Но смотри, чтобы не пришлось отвечать за тебя!

На другой день рано утром к дому Потатова подали лошадь, запряженную в санки. Петр Петрович вышел в полушубке, в ушастьей беличьей шапке, широко расселся в санях, принял от конюха вожжи.

Хрустел под полозьями заледеневший снег, звенел

ли застывшие лужи. По сторонам дороги чернели проталины. Морозец пощипывал щеки, но солнце вставало по-весеннему яркое.

«Не успею по холодку вернуться, — думал Потатув, — придется санки оставить на руднике».

Он ехал на прииск Лебединый посмотреть работы богатой старательской артели. Старатели работали там на россыпи, а с правой стороны ключа на Лебединой горе были заложены первые рудные штольни.

Пока лошадь спускалась в долину, Потатув зорко осматривал сверху прииск. В вершине — нечесаная грива ельника, редкие избушки старателей, в центре — новые постройки рудничного управления, бегунная фабрика, склады, дальше опять старатели. Работами рудника руководили молодые якутские специалисты.

Для Потатужева якуты и эвенки неразличимы. Раньше он покупал у инородцев меха, ездил с ними на оленях в дальнюю тайгу и слышал, что, по мнению ученых, они обречены на вымирание. Значит, и церемониться с ними было нечего.

Он прошел по старательским делянкам, спускался в глубокие зимние шурфы, пригрозил снять одну артель за неправильное ведение забоя, нашумел в другой из-за крепления и только к обеду, усталый и злой, вернулся на рудник.

В столовой былолюдно. Потатув взял тарелку щей, выпил стаканчик водки и нехотя, без аппетита, сжевал пару жестких котлет.

Знакомый якут инженер остановился у стола, протянул Потатуву узкую руку.

— Здравствуй, толубчик! — пробормотал старик.

— Как поживаете, товарищ Потатув?

— Ничего, живу помаленьку. Житье мое теперь под тору идет.

— Почему вы так думаете?

— Не думаю, а годы свое берут. Что у вас нового?

— Заканчиваем на фабрике установку второй чаши Бильдона. Хотите взглянуть?

— Надо бы, — согласился Потатув.

В здании фабрики он долго наблюдал, как в чаше с глухим гулом кружились тяжелые жернова-бегуны.

Мутная вода так и вскипала под ними, струилась вниз по решеткам промывальных шлюзов. Две завальщицы в красных платках, запорошенных седой пылью, подбирали лопатами руду и сбрасывали ее в чашу.

В смежном отделении постукивал мотор, гудели в топке дрова и мерно шлепала о шкив сшивка приводного ремня.

Выйдя из фабрики, Потатуев посмотрел наверх, где бегали вагонетки бремсберга: от штольни к фабрике и обратно.

— Быстро вы все это оборудовали, — обратился он к инженеру, и в голосе его прозвучало невольное уважение.

— Поднимемся туда! — предложил якут.

Потатуев взглянул на крутой склон горы, кивнул утвердительно: работы Лебединого рудника его очень интересовали.

Два штрека, северный и южный, были пройдены метров по сто в обе стороны от восстающего шурфа. Новичок в горном деле, увидев, что они действительно пройдены без крепления, ощутил бы некоторую робость. Конечно, порфиры — крепкая порода, но кто знает, может быть где-нибудь вверху уже подтаяла трещина, заполненная льдом, и вдруг глыба, сотрясенная очередным взрывом, обрушится со сводчатого потолка. Потатуев не был таким новичком, к порфирам относился даже с уважением и поэтому озирался со спокойным любопытством.

Забойщики подчищали отпаленную породу, подтаскивали тяжелую тушку перфоратора. Длинные кишки шлангов, наполненные сжатым воздухом, волочились следом.

Перфоратор неистово затрещал в напряженных руках бурильщика, выбрасывая из скважины мучнистую пыль. Потатуев посмотрел на бурение, на широкую жилу золотоносной руды, темневшую в порфирах, походил по другим забоям и направился обратно, оставив инженера в руднике.

— Сухо тут у вас, хорошо, — сказал он коротконогому, большеголовому запальщику, стоявшему в дверях компрессорной камеры.

— На вечной мерзлоте работаем, — ответил запальщик и, поправив сумку с динамитными патронами, висевшую у него на поясе, широко улыбнулся. — Подумать страшно — вечная мерзлота. Навсегда, стало быть.

Потатуев достал новую пачку папирос, ногтем отдрал наклейку, угостил запальщика. Закурили.

— Зачем динамит на себе носишь, не боишься?

— Чего бояться?

— А как взорвешься?

Запальщик беспечно ухмыльнулся.

— Чтобы взорваться, надо стукнуть по нему либо уронить. А я с ним привык: запросто обращаюсь. На Сосновом приiske динамитный склад был далеко, так я патроны под подушкой держивал, чтобы не замерзали.

Потатуев покачал головой.

— Не у меня работаешь, я бы тебя взгрел. Все до поры до времени.

— Именно, — охотно подтвердил запальщик. — Я уже пуганый. Помните, в позапрошлом году произошел взрыв на Куронахе. Ведь это я тогда был.

— Когда избушку-то разбросало? — оживленно спросил Потатуев.

— Вот, вот. Я тогда принес динамит, положил с краю на плиту: «Пускай, думаю, отогреется», и пошел себе. Только приоткрыл дверь на улицу, а доска-то с динамитом возьми и перевернись. Как взгудело, всшумело, и ничего я больше не помню. Очнулся метров за семь в стороне, в сугробе. Глянул — от избушки только два-три венца осталось, кругом бревна раскиданы, дрова обгорелые дымятся...

— Дивились мы, как ты уцелел.

— Я и сам дивился. Только на лбу кожа была сорвана, видать, об дверь треснулся.

— Крепкий у тебя лоб, — пошутил Потатуев. — В другой раз так не повезет. Закажи заранее, чтобы похоронили в вечной мерзлоте, тогда до второго пришествия сохранишься, вроде березовского мамонта.

Он стал подниматься по лестнице, но запальщик задержал его:

— Вот давеча вы сказали: сухо у нас... И то — сухо, аж в горле пересохло! Одолжили бы десяточку на похмелку. За мной не пропадет, ей-богу. Два дня кряду пил, голова сейчас гудит.

Потатуев отвернул полу легкого полушубка, вытащил бумажник, поплевав на пальцы, отделил от пачки две пятирублевые бумажки.

— Пьешь?

— Насквозь проспиртованный. Зато меня никакая болезнь не берет. И в воде не тону, но уж ежели в огонь — сразу вспыхну.

14

На всех проталинах прямо из-под снега поднимались завернутые в тончайший пух синие цветы. Сморщенные кулачки листьев показывались следом и разом разворачивались, бледнозеленые, также покрытые густым пушком.

Поляны синели цветами, а рядом лежали остатки зимних сугробов. Может быть, в расчете на холодное это соседство запасались цветы теплой пуховой одеждой.

Утром Надежда хотела подняться на ближайшую гору, но всюду было столько воды, ноги так тонули в сыром мху, что она вернулась с полдороги. Несколько подснежников, сорванных ею, стояли на столе в граненом стакане. Серебристые пузырьки воздуха блестели под водой на их мохнатых стебельках — казалось, цветы еще дышали. Ветки лиственницы и верба с сережками в золотой пыли зелено распушились на окне в бутылке с отбитым горлышком. От этих веток в комнате пахло весной.

В открытую форточку доносились крики и смех играющих детей и еще глухой, но неумолчный ропот бегущей воды.

Надежда поглядывала на окно, на цветущую вербу и думала о том, что весна нынче дружная, и лаводок обещает много хлопот, о том, что в больнице обновили все белье, но прачки работают недобросовестно и за-

стирывают еще недавно белоснежные простыни и рубашки. Нужно будет серьезно поговорить с прачками, нужно заказать для белья еще один шкаф. Надежда думала также, что хорошо бы обучиться на фельдшера или на акушерку, но уж очень мало у нее грамотности...

Она вязала кружево для простыни. Волосы у нее были не уложены и двумя светлыми косами падали на спину. Простенькое платье из бумажного крепа красиво обрисовывало ее плечи и весь крепкий стан, на босу ногу надеты самодельные суконные тапочки.

Она быстро нанизывала крючком тонкие петли. Клубок подпрыгивал под столом, когда Надежда подтягивала его за нитку. Из петель выходили узоры листьев и сложные переплеты. Она вязала их машинально, почти не считая, мысли ее унеслись далеко: Надежда думала о Москве. Хоть бы разок взглянуть, какая она есть!

О Москве Надежда думала часто. В ее воображении это был сказочно яркий город, где двигались по улицам толпы пестро одетых людей — белокожих, желтых, черных, — людей, приехавших из всех стран жаловаться московским большевикам на свои обиды. Все они стремились в Москву потому, что это единственный в мире город, где творятся справедливые законы, где все веселы и довольны.

Думая об этих обиженных людях, Надежда отождествляла их страдания со своими. Ей казалось, что она тоже была в рабстве, и теперь, освободившись от него, жалела всех, кто мог терпеть унижения. Так она сделалась активисткой и стала работать в МОПРе.

Порыв ветра вспарусил занавески, захлопнул форточку. Надежда открыла форточку снова, постояла у окна, жадно вдыхая свежий воздух, потом подобрала с полу уроненный клубок, обвила вокруг головы толстые косы и пошла на кухню.

В кухне возле двери приготовлены тонко наколотые дрова. Чтобы их шло меньше, Надежда наложила на дно очага ряд кирпичей, и огонь горел теперь под самой плитой, быстро нагревая кастрюли и сковородки. Она растопила плиту, налила чайник свежей водой из

деревянного крашеного бочонка, затем взяла тряпку и стала наводить порядок на полке, переставила миски и кастрюли, сняла ящичек, куда складывала всякую мелочь, и решила выбросить лишнее. Присев к столу, она начала перебирать пузырьки, свертки с синькой и содой. Какие-то коробочки, обмылки, крышка от разбитого чайника, гвозди...

«Зачем это мне? — с удивлением подумала Надежда. — Гвозди... ну, это в хозяйстве всегда нужно». Гипсовая копилка-кошка с отбитым ухом... Поколебавшись, Надежда положила ее обратно. «Пусть лежит, отдам ребятишкам».

Среди склянок попался флакон с настойкой бодяги на доньшке. Красивый зеленоватый флакон с граненой пробкой — подарок знакомой вдовы-горюхи. Память о «семейном счастье»! Много лет берегла его Надежда, залечивала примочкой синяки и ссадины.

Опустив руки, долго сидела она сейчас, глядя в невидимую точку затуманенными глазами.

«Господи боже мой! Как может человек обижать самого себя!» — Надежда вспомнила последнюю драку на Пролетарке, гневное лицо избитого Егора, поднялась и швырнула флакончик в открытое окно. Звякнула о камень вылетевшая граненая пробка... Надежда поставила почти опустевший ящик на полку, тщательно вымыла руки.

В это время кто-то стукнул входной дверью. Надежда отошла от умывальника и выглянула в коридор.

Вид темной мужской фигуры, неподвижно стоявшей у двери, вызвал у нее чувство щемящей тревоги.

— Кто это? — спросила она, невольно пугаясь.

— Я, Надежда Прохоровна... — сказал, подходя, Черепанов. — Роль вам занес. Шел, знаете, мимо... Встретил Марусю и вот... занес.

Надежда вздохнула облегченно.

Черепанов протянул старательно исписанную тетрадку, сшитую из серой бумаги.

— Да вы пройдите в комнату, у меня руки мокрые. Я сейчас... Нет, не в ту дверь, сюда, напротив.

Надежда повесила полотенце на гвоздь, пригладила волосы. К Черепанову она относилась с тем же дру-

желюбнем, как и к остальным знакомым, запросто предложила ему остаться пить чай. Он согласился очень охотно, но сидел точно на иголках, громко звенел ложечкой в стакане, крошил на скатерть печенье.

— Богатая нынче весна, — говорил он, обращаясь к Надежде ярко светящимся взглядом, румянец так и пробивался на его смуглом лице, и весь он был беспокойный, порывистый. — Ходил я вчера к разведчикам... Что в тайге делается, рассказать нельзя! Все звенит, поет... В небе голубизна, глубина такая, смотреть — голова кружится! А земля дышит хвоей, смолкой, прелью весенней. Шел я и думал: хороша жизнь! Ах, хороша! Только не всегда мы умеем ею пользоваться. Каждым днем, каждым часом дорожить надо!

Надежда вспомнила о флаконе с бодягой, о годах, многих годах своей жизни, затоптанных, загубленных забулдыгой-мужем, и тяжело вздохнула.

— Жить и радоваться... Иметь рядом милого человека, любить его, вместе с ним делить горе и счастье... Вместе с ним работать, учиться, всю жизнь перестраивать на новый лад, — продолжал Черепанов, но Надежда, захваченная его словами, сказала с печалью:

— Если бы можно было родиться сызнова.

— А вы попробуйте! Неужели вы себя в старухи уже записали? Рановато, Надежда Прохоровна! Еще как полюбить сможете! И вас полюбить могут. Вот я, к примеру, целый год о вас думаю... — голос Черепанова сорвался, но тут же зазвучал с прежней силой. — Увидел тогда на Пролетарке — шли вы вся розовая, синеглазая, в слезах... Увидел, залюбовался, пожалел и полюбил... Столько времени живу с думкой о вас, Надежда Прохоровна! Работаю, делами занят по горло, а в душе, в сердце одна вы, единственная! Если я хоть немножко правлюсь вам, махните вы рукой на то, что было у вас. Давайте начнем вместе все заново!

Надежда онемела от изумления...

— Чего же вы испугались? — спросил он с мягкой, но страстной настойчивостью. — Ведь я люблю вас и не хочу вас ничем обидеть или оскорбить. Выходите за меня замуж, от всего сердца прошу!

Надежда не знала, что сказать... С тех пор как она

осталась одна, ей много делали подобных предложений, но от Черепанова она этого не ожидала. Он казался ей очень серьезным, очень умным и всегда занятым.

Когда у нее от кухонного жара в столовой начала болеть голова, он помог ей устроиться сестрой-хозяйкой при больнице. Иногда она обращалась к нему по общественной работе. Ей и неловко было занимать его внимание и приятно, что он по-товарищески, как к равной, относится к ней. Надежде не приходила мысль об иных отношениях между ними.

«Разве ему такую жену надо? Видный человек, образованный. Да за него любая девушка с радостью пойдет», — подумала она смущенно и замялась, не зная, как повежливее отказаться.

— Правда! — добавил он бодрым тоном и даже улыбнулся, хотя по глазам его было заметно, что ему совсем не до смеха. — Мы с вами хорошо бы зажили!

Черепанов уже успел порасспросить Марусю о прошлом Надежды и знал, что она ненавидит своего бывшего мужа. Молчание ее пугало и волновало его, и он то и дело ерошил свои густые волосы.

— Вы хорошенько подумайте, — попросил он.

— Я уж и то думаю, Мирон Устинович! — сказала Надежда. Ей было жаль его, и она смотрела не на него, а на его руки, которым он никак не находил места. — Вы уж меня простите, дорогой, не ровня я вам. — Она подняла синие глубокие глаза на его лицо и сказала грустно: — Мне с мужем здорово не повезло, и сейчас я словно из тюрьмы вышла. От всего отстала. Мне одуматься надо, поглядеть, как добрые люди живут. Да и постарше я вас. — Тут Надежда покраснела. — И вообще далеко не ровня... Вы не обижайтесь, пожалуйста.

— Нет, зачем же? — промолвил он, горько усмехнулся и на минуту задумался, опустив голову.

Костюм на нем был новый, но зоркий взгляд Надежды еще давеча обнаружил отсутствие одной пуговицы на пиджаке. Теперь, когда Черепанов сидел несколько ссутулясь, пиджак оттопыривался бортом на груди, показывая какие-то бумаги, торчащие из внутреннего кармана.

— Вот так и чувствовало мое сердце, ведь столько раз собирался поговорить! — печально проговорил Черепанов.

Надежда вздохнула.

— Давайте я вам лучше пуговку пришью.

Он посмотрел на нее удивленно, хотел обидеться, но в ее открытом взгляде светилось такое чистосердечное добродушие, что он махнул рукой и тихо рассмеялся.

— Шутите?! Пуговку-то я и сам пришью.

— Ну, чаю налью, — уже смелее предложила Надежда, довольная тем, что рассмешила его.

Он посидел с полчаса и ушел, еще раз попросив подумать, а Надежда осталась у стола да так и просидела весь вечер, сумерничая в одиночестве со своими думами.

15

Рыжков отбросил одеяло, сел на кровати и прислушался. Смутная тревога охватила его, разгоняя остатки сна; за окном слышался глухой шум воды. Шумела ли она на канаве или в речке? Рыжкову вдруг представилось, как в сумраке весенней ночи разливается она по долине, плещет, разбиваясь по лестницам шахт, затопляет просечки. Он легко сбросил с кровати большое тело, на цыпочках подошел к окну и выставил бороду в форточку. Холодный ночной ветер омыл его лицо, и он ясно расслышал нестройные голоса многих людей со стороны Ортосалы.

Рыжков собрал свою одежду, прошел на кухню и, включив свет, начал одеваться. Он сам еще не знал, что будет делать, поднявшись среди ночи. Усталость после вечерней смены еще наливалась тяжестью тело, он не выспался, зевал... и торопился.

Он притворил за собою дверь на крыльцо, взял в чулане лопату («на всякий случай») и крупно зашагал по улице поселка.

По долине горели костры. Сквозь багровый дым неясно маячили фигуры людей. Это сторожевые бригады караулили паводок. Накрапывал дождь, и темные

разорв
В кан
крыта
Рыжко
сообра
людей

Потату
костра
ка, он
из кам
кую ра

вас чер

на лопа

Пот

Ан нет,
точно в
бы спа
сти ник

Рыж

шахты

не сиди

ро смен

скорого

придетс

взгляну

ста, зат

шурша

дымной

кова его

«Ком

Старает

подумал

когда и

День

разорванные тучи быстро двигались над прииском. В канавах тяжело вздыхала, беспокойно ворочалась покрытая пеной темная вода. Она заметно прибывала, и Рыжков, понаблюдав за нею минуту-другую, начал соображать, куда ему податься. Громче звучали голоса людей на дамбе, и он направился в ту сторону.

— Ты чего поднялся? — окликнул его у канавы Потатуев. Лицо Потатуева казалось багровым от света костра. Спрятав руки в карманы просторного дождевика, он стоял, плотный и тяжелый, будто вытесанный из каменной глыбы. — Что, спрашиваю, поднялся в такую рань?

— Надо же поглядеть...

— Глядеть нечего. Это уж наше дело... А когда до вас черед дойдет, позовем.

— Черед дойдет, — подтвердил Рыжков, опираясь на лопату, — жарко, пожалуй, будет.

Потатуев подошел поближе и сказал, посмеиваясь:

— Нам по-стариковски погреться бы в ином месте... Ан нет, служба спрашивает: в ночь, в полночь бежишь, точно встрепанный, в любую погоду! На твоём месте я бы спал сейчас, тепленько, уютненько и ответственно-сти никакой.

Рыжков погладил ладонью ручку лопаты, помолчал.

— И на нашем месте тоже беспокойно... Ну как шахты затопит, моргай потом глазами...

— Чего вам моргать, с вас не спросят. А впрочем, не сидится дома, так иди становись на дамбу. Там скоро сменяться будут... — Потатуев посерьёзней, добавил скороговоркой: — И то, работать сегодня в шахтах не придется, всех, пожалуй, на канавы погоним. — Он взглянул в сторону, неожиданно легко сорвался с места, затопал по сырой земле, замахал руками, громко шурша намокшим дождевиком. И уже издали, из-за дымной завесы, наплывшей от костра, донесся до Рыжкова его резкий, хриловатый голос.

«Командир! — отметил с усмешкой Рыжков. — Стараются человек. Ишь ты, неумный! — И тут же подумал с легкой тенью враждебности: — А чего орет, когда и без крику обойтись можно?»

День наступил погожий, и теплый ветер быстро со-

гнал остатки снега, раскисшего после ночного дождя. Вода валом валила в долину. Многие костры уже догорали, оставляя на земле пятна серой золы, похожие на огромные лишай. Возле них, на кучах порожних мешков, на брезенте спали люди из ночной смены. Сон их был крепок, но беспокойен. Часто то один, то другой вскидывался со сна и, сидя, таращил бессмысленные глаза. Потом зажимуривался и разом падал словно мертвый — досыпать положенное время.

— Прямо как на войне! — крикнул Мишка, перешагивая через спящего шахтера. — Гляди, Егора, весь народ на канавах. Буфеты наладят, тогда совсем походное житье.

— Бурный нынче паводок! — откликнулся Егор. Он отделился от группы шагающих шахтеров, догнал Мишку. — Когда нас вызывали наверх, чтобы послать сюда, я сначала подумал: прорвалась вода. Испугался, и шахту мне жалко стало... так жалко, будто дом родной.

Возле моста водоотводной канавы шахтеров перехватил конный Локтев в синем пиджаке, заляпанном глиной.

— Срочно восемьдесят человек на устье Пролетарки к штреку артели «Труд». Захватите со склада сотню мешков для земли! Остальные на дамбу к Потатуюеву!

Он ударил лошадь и поскакал, разбрызгивая грязь, к нагорной канаве, откуда перехлестнул через борт мутный широкий поток. Разлив был мелкий, и по нему уже бежали рабочие. Они волокли за собой мешки, набитые землей, тащили охапки мха, доски, камни.

Рыжков работал вторую смену. Уходить ему не хотелось. «Уйдешь, а дома все равно беспокойно», — думал он. Лопата у него была особенная, черенок для нее он сделал сам, чтобы соответствовала силе и росту. Сейчас он действовал ею так, что какой-то старатель, поглядев на его жилистые руки и широкие, плавные броски, покачал головой и только сплюнул, не найдя подходящего выражения для охватившего его чувства восхищения и зависти.

Увлеченные азартом работы, шахтеры забывали даже о куреве, и все ярче сверкали на солнце их лопаты выветренными о землю краями.

«Года
ния пропу
медведь,
лю. — Ну,
даль, стара
яма готова
ние работ
метров. Ма
подземное!»

Вода вс
но стай огр
тивала их,

Толпа ж
док на мш
кова разгл
жды. На д
лость, появ
одна забота

— Кого
рентич? —
покурим!

— И то
карманам и
ной Егором,

— Ну ка
Рыжков
Сплюнул.

— Ничег
зять, но в эт
шум идущей
го! — сказа

слегка заки
ну. — Служа
поразомнутс
дороги, ишь

Егор уль
было приятн
борьбу с по
сознанию св

он взглянул
— Сегод
14 А. Копте

«Года четыре назад мы такой паводок без внимания пропустили бы, — думал Рыжков, утапывая, как медведь, накиданную им на борт канавы сырую землю. — Ну, затопило бы старательские ямы... эка невидаль, старателей этим не удивишь, день-два — и новая яма готова. А нет — так на буторку перейдут на летние работы. А тут шахты... ходы-переходы на сотни метров. Машин сколько! Целое царство-государство подземное!»

Вода все прибывала. Люди топтались у канав, точно стаи огромных птиц, и прозрачная дымная сеть окутывала их, стелясь по долине.

Толпа женщин с кайлами и лопатами шла в распадок на мшище добывать мох. Зоркие глаза Рыжкова разглядели среди них статную фигуру Надежды. На душе у него, несмотря на тревогу и усталость, появилось хорошее, теплое чувство: у всех одна забота.

— Кого ты там высматриваешь, Афанасий Лаврентьич? — спросил подошедший Егор. — Давай-ка покурим!

— И то следует! — сказал Рыжков, пошарил по карманам и достал кисет — от папироски, предложенной Егором, он отказался. Оба закурили.

— Ну как? — спросил Егор, кивая на воду.

Рыжков пошевелил плечами, разминая кости. Сплюнул.

— Ничего. Одолеем. — Он хотел еще что-то сказать, но в это время с шоссе послышался разноголосый шум идущей толпы. — Подмогу послали с Незаметного! — сказал Рыжков и, выпрямившись во весь рост, слегка закинув бородатое лицо, посмотрел в ту сторону. — Служащих взяли за бока, пускай, дескать, и они поразомнутя. Ничего! Видать, не больно пристали с дороги, ишь гогочут!

Егор улыбнулся, обнажая белые зубы. Ему тоже было приятно видеть, как дружно вышел народ на борьбу с половодьем. И, все еще улыбаясь, радуясь сознанию своей нужности в этом согласном коллективе, он взглянул на Рыжкова:

— Сегодня ночью в Сталинском управлении на Ку-

ронахе изловили двоих... Хотели они воду выпустить из канавы около четвертой шахты.

— Зачем выпустить? — с недоумением спросил Рыжков.

— Ну, затем чтобы затопить шахты. Вредители. Ребята не утерпели, натолкали им по загривку, а после в ГПУ сдали. Одного признали беглым кулаком, а другой работал на товарной базе. Ей-богу, правда! — побоялся Егор, заметив недоверие Рыжкова.

Рыжков взглянул на подходившего Потатуюева, бросил окурок в канаву и покачал головой:

— Все равно мне это непонятно. Дурость какая, право!

Лицо у Потатуюева усталое, помятое. Услышав последние слова Рыжкова, он насторожился.

— Что ворчишь, старик?

— Да вот Егор рассказывает — на Сталинском поймали злоумышленных... Шахту, мол, хотели затопить.

Потатуюев, не мигая, взглянул в синие, детски чистые глаза Рыжкова.

— К стенке таких надо... Сколько силы тратишь, ночей не спишь. — Он махнул рукой и пошел вверх по канаве.

Рыжков и Егор посмотрели ему вслед.

— Не жалеет себя человек, — сказал Рыжков. — Цельную ночь на виду толчется.

— А может, оттого и толчется, что на виду, — неожиданно возразил Егор. — Ты на него не гляди — он хитрый. Я к нему зашел на дом с артельщиком красноармейской артели... он нас так погнал!

Рыжков снова взялся за лопату, промолвил задумчиво:

— Без хитрости не проживешь, а погнал — так не надо ходить, когда отдых. Чай, он немолодой — намотается, покой нужен.

В тени возле крылечка Надежда стирала белье. Она торопилась пораньше управиться с домашними делами. Завтра с утра назначено гулянье и спортив-

ные выст
впервые
быть на
пятиднев
летнему
Она п
остирки
По в
стрелкам
кустами
лодыми
бельками
они за б
Надеж
утоптанн
ную тепл
тило ее.
она прид
ражалось
лась, ког
лубизна,
Черепано
Чтобы
ком ладо
земли, на
дежда ср
дило на
жение сво
круглого
занные пл
Теплый ве
блестели
«Хорош
Вот бы по
на себя
нибудь!»
лась. Это
лень удив
Женщи
белье и с
— Ай
14*

ные выступления на футбольной площадке, и Надежде впервые хотелось просто так, развлечения ради, побывать на народе. После паводка прошла только одна пятидневка, а уже наступило настоящее лето, и полетному мягкий ветерок обдувал лицо и шею Надежды.

Она перебрала в первый раз белье, слила мыльные остирки в таз и, взяв ведро, пошла на канаву.

По высоко наваленным бортам канавы тянулась стрелками яркозеленая радостная трава. Внизу между кустами она пробивалась гуще, перемешанная с молодыми листьями княженики, лютика и слабыми стебельками незабудок. Прохладно и щекотно цеплялись они за босые ноги.

Надежда зачерпнула воды, поставила ведро на утоптанной площадке и села рядом на суховыветренную теплую землю. Беззаботное, легкое чувство охватило ее. Упираясь пальцами ног в шероховатую глину, она придвинулась к самой воде. Безоблачное небо отражалось в ней, и у Надежды даже голова закружилась, когда она посмотрела в эту светлую бездну. «Голубизна, глубина такая», — вспомнились ей слова Черепанова, и она улыбнулась.

Чтобы усилить впечатление, она прикрылась щитком ладони и, придерживаясь за бревно, торчащее из земли, наклонилась. Но тень ее упала на воду, и Надежда сразу увидела близкое иловатое дно. Это походило на пробуждение. Долго разглядывала она отражение своих полузакрытых длинными ресницами глаз, круглого подбородка и полных щек. Волосы, не связанные платком, окружали ее голову сияющей короной. Теплый ветер тихо шевелил пушистые завитки, и они блестели на солнце, точно осыпанные золотой пудрой.

«Хорошая я, — подумала Надежда радостно. — Вот бы посмотрел кто на такую бабу... Сидит и сама на себя любуется. Белье-то, поди-ка, унес кто-нибудь!» — вспомнила она тут же, но не встревожилась. Это безразличие к своему имуществу и внезапная лень удивили ее, и она громко рассмеялась.

Женщина внизу, на канаве, бросила полоскать белье и с любопытством посмотрела на Надежду:

— Ай нашла чего?

— Нашла... Как же, кусок золота с конскую голову! — ответила Надежда и, взяв ведро, пошла к дому, легко ступая по траве маленькими не по росту ногами.

Она принесла из кухни горячей воды, наливая ее в корыто, покосилась на кайло, торчащее из-под ступенек.

«Надо будет сдать. Который день валяется под крыльцом», — и чтобы не забыть, достала кайло и положила на верхней ступеньке.

— Здравствуй, Жигалова! — весело окликнул ее Фетистов, подошедший со стороны шоссе. На нем была серая, пирогом, фетровая шляпа, рубаха с заплатанными локтями и совсем новые шаровары, которые раздувались на ветру пузырями.

— Вот так вырядился! — посмеиваясь, сказала Надежда.

— А разве плохо? — спросил старик, снял шляпу, повертел ее для чего-то перед носом и, примяв еще глубже, осторожно надел на свою маленькую седую головку. Он теперь работал только при клубе на штатной должности столяра-декоратора. Во время постановок «стоял на занавесе», присутствовал почти на всех репетициях, а когда напивался пьяным, то тихонько похрюпывал где-нибудь за декорациями.

— Я к тебе с поручением, — сказал он, присев на крылечке. — Хотим мы завтра представить что-нибудь на гулянье. Вот и нужно вечером собраться в клубе.

— Что же так вдруг? Можно ли успеть до завтра? Фетистов сморщил бесцветные брови, бритое лицо его приняло очень значительное выражение.

— Все можно. Режиссер говорит — повторим, мол, старую пьеску да прибавим новые частушки. Ребята готовят всякие физкультурные номера, а мы малость прохлопали.

— Надо было еще до завтра дотянуть! — сказала Надежда, встряхивая отжатую простыню. — Поменьше бы вы пили со своим режиссером, а то с похмелья и голова не варит. Ишь, спохватились! Скажи, что приду, вот только с бельем управлюсь.

— Ну и распрекрасно! — одобрил Фетистов, сделав

вид, буд
баба-гер
стодушн
— К
— А
спокойн
палкой,
— Е
промолв
ся, не о
— Я
любви и
вым хар
тит на
Когд
брызгая
испорти
Уж не
панова?
Над
круглы
сзади,
человек
венная
стоял В
...Ег
из рай
как вол
вался,
них он
с кем-то
и он ва
ного. О
боев тел
выклянч
что у не
селили
копила
— Т
упредил
женеро

вид, будто не расслышал насчет выпивки. — Ты у нас баба-герой. А Катерина тебя честит... ух как! — простодушно посплетничал он на прощанье.

— Какая Катерина?..

— А Григория кривого баба. Захватила, мол, ты спокойное местечко при больнице, ну и того... елки с палкой, приманиваешь, мол, мужиков.

— Ее кривого приманила, что ли? — презрительно промолвила Надежда. — Ей на долю всегда достанется, не об чем, стало быть, тужить.

— Я так и сказал, — ответил Фетистов, при своей любви к спорам отличавшийся кротким и миролюбивым характером. — «Чего, говорю, разоряешься? Хватит на твою долю нашего брата!..»

Когда он ушел, Надежда продолжала стирать, брызгая мыльной водой, но хорошее ее настроение испортилось. Каких мужиков имела в виду Катерина? Уж не разболтала ли соседка о сватовстве Черепанова?

Надежда сняла белоснежные хлопья пены со своих круглых, крепких рук и неожиданно вздрогнула — сзади, мягко ступая, словно подкрадываясь, подошел человек. Она обернулась, взглянула на него, и мертвенная бледность расплеснулась по ее лицу. Перед ней стоял Василий Забродин...

...Его выпустили до суда под расписку о невыезде из района. Сначала он, ошалеv от свободы, рыскал, как волк, по Незаметному, принюхивался, присматривался, пока не наткнулся на старых собутыльников. От них он перекочевал еще куда-то. Его угощали водкой, с кем-то он целовался, кого-то бил. Потом все исчезло, и он валялся уже один возле бараков Верхне-Незаметного. Очнувшись с тяжелой головой и ноющим от побоев телом, он снова пошел к приятелям, но с трудом выклянчил только на похмельку. Тогда-то он вспомнил, что у него есть жена. Собранные сведения сразу разведали его: работает сестрой при больнице, значит накопила деньжонок.

— Только ты к ней не больно разлетайся, — предупредила его знакомая мамка. — Она, говорят, с инженером путается.

Вчера вечером неизвестный старикашка угощал Забродину водкой на грязном зимовье по Ортосалинской улице, рассказывал об ороченском золоте и между прочим сообщил, что Надежда живет с секретарем парткома. Василий слушал и мрачно пил, закусывая одним хлебом. То ли от пьянства после долгого воздержания, то ли от смешанной еды у него сделался понос, и резкие боли в животе изводили его.

— Теперь твои дела по части семейной жизни табак! — нашептывал старик, очень напоминавший Забродину жидкой бородкой и приспущенными веками вороватых глаз покойного отца — содержателя почтовой станции на Черняевском тракте. — Она в этого Черепанова, как кошка, вцепилась.

— Ну и наплевать! Мне бы только деньги... — пьяно бормотал Забродин и, глядя на торчащую перед ним седую бороду, как сквозь сон припоминал звонкие тройки и веселых ямщиков, которые обучали его разным пакостям. Сгорела давным-давно станция, расстрелян партизанами отец за выдачу красных солдат отряду японцев. Все миновало...

— Мне бы только деньги! — твердил Забродин, дрожащими руками хватаясь за бутылку.

— Чудак-рыбак! Ежели она со служащим гуляет, так ей ведь наряжаться нужно. Значит, жалованье копейка в копейку. Черепанов человек партийный, а у партийных насчет женского полу мнение особое: жить, мол, со мной живи, а насчет жратвы или одежды сама зарабатывай. Самостоятельное равноправие!

Забродин слушал, наливаясь злобой. Он страдал в домзаке; а она, вместо того чтобы поинтересоваться его участью и послать ему передачу, содержала образованных любовников.

...Сейчас он стоял перед ней несколько смущенный: его поразил ее цветущий вид. Бросилась бы она к нему на шею, и он размяк бы и простил на первое время: все-таки приятно иметь такую здоровую, красивую бабу! И видно, она крепко помнила о нем, если до сих пор не обзавелась новой семьей.

«Зря, пожалуй, я отлупил ее тогда», — подумал он, и нечто похожее на сожаление ворохнулось в его дрян-

ной душонке. Но подойти первым он не хотел: раз она знает за собой провинку, так пусть заслуживает прощение. Он ждал, но она не бросилась к нему, не проявляла ни малейшей радости, а стояла, опустив розовые от стирки руки, и на прекрасном лице ее было суровое, гордое отчуждение.

Такой прием не понравился Забродину, но он вспомнил, как она побледнела, увидев его, — значит испугалась. Это сознание доставило ему злобноватую радость.

Надежда не почувствовала душевных переживаний бывшего своего мужа. Она лишь видела его широкие, обострившиеся под рваной рубахой плечи, опухшее с похмелья диковатое лицо, слышала запах водочного перегара, грязи и пота. Перед нею стоял не только чужой, но и чуждый ей по духу человек, с которым она не хотела и не могла уже иметь ничего общего. Почему же он стоит здесь и смотрит на нее так, будто она обязана принять за должное его внезапное появление?

— Ну-с, любезнейшая моя супруга, как вы изволили поживать без меня? — сипло, пришепетывая, спросил он наконец, прерывая молчание, становившееся враждебным.

— Зачем пришел? — уже спокойно отозвалась Надежда.

— Вот так вопрос! Домой пришел, извольте любить да жаловать.

— Дома тут никто для тебя не приготовил, и жаловать не стану. Хватит, попил моей кровушки, проваливай, откуда пришел. — Она не нашла других слов и сделала вид, что принялась снова за стирку. На минуту ей пришла было мысль откупиться от него деньгами, но тут же она решила не уступать ни в чем этому ненавистному теперь человеку. Все равно ее маленьких сбережений не хватит для него, и, промотав их, он опять придет к ней шуметь и скандалить.

— Смотри, Надежда! — мрачно пригрозил Забродин и сел на ступеньку крыльца, где незадолго перед тем сидел Фетистов. — Никуда я не пойду! Давай бросай корыто! Хватит свои юбочки размывать — отгуля-

ла с инженерами. Слышишь? Муж пришел голодный, а она и ухом не ведет.

Надежда слушала, стиснув зубы. Глаза ее блестя ожесточенной усмешкой. Муж пришел! Беги, жена, за бутылкой. Клади его, воюющего, в свою постель!

— Проваливай, откуда пришел! — упрямо повторила она, и в голосе ее Забродин услышал новые, жесткие нотки.

«Избаловалась!» — подумал он и, повернувшись на месте, машинально отодвинул в сторону ручку кайла.

— Ишь, нагуляла жиру, забрыкалась! — попробовал он шутить, чувствуя, как озлобление начинает охватывать его. «С ней по-доброму поступают, разговаривают, точно с путной, а она куражится!» — А ну! — Он встал с крыльца и попробовал оттолкнуть ее от корыта.

— Не трогай! — уже совсем смело сказала Надежда и, стряхнув с плеча его широкую грязную руку, близко взглянула в оскаленное по-волчьи лицо. — Уходи, глядеть на тебя не могу! Ты мне сколько лет солнце застил!.. Отмаялась... — Надежда не успела договорить, отброшенная жестоким ударом. Из разбитого рта ее брызнули струйки крови, тяжелые косы свалились на плечи.

Медленно поднялась она с земли и тоскливо огляделась кругом. Только бабы из соседнего барака с любопытством глазели на ссору. Где ты, Москва, радостная и справедливая? Будь она там, никто не посмел бы ее ударить!

Небывалое возмущение поднялось волной в душе женщины. Стремительно, в порыве гнева, повернулась она к Забродину.

— Зверь ты! Гадкая ты гадина! Такая жизнь... — Надежда протянула руку розовой ладонью кверху, точно показать хотела ему эту новую жизнь. — Такая жизнь красивая, а ты ломаешь ее! Жить с тобой? Да разве это можно? Это все равно что в помойной яме! Бей, бей... Но душу свою топтать я тебе больше не дам!

— Я из тебя ее вовсе выну... — крикнул Забродин и, схватив кайло с крылечка, сразмаху рубанул им Надежду.

И тогда мучительный испуг глянул из сухих, огромных, потемневших глаз Надежды. Оттолкнув Забродина, она побежала, но не к людям, а к себе в дом, пятная кровью ступеньки крыльца.

Он вбежал следом, догнал и, схватив за локоть, ударил ее накоротке в спину. Надежда вскрикнула, но не от боли, а от дикого отчаяния, оттого, что он схватил ее. Рванувшись из последних сил, она бросилась в свою комнату и закружилась по ней вокруг стола, как тот жеребенок, который когда-то умирал на ее глазах. Это было последнее видение, острое и яркое, а потом Забродин опять схватил ее, и она сразу потеряла сознание...

Еще охваченный холодной яростью, Забродин посмотрел на женщину, брошенную им ничком на пол (падая, она ударилась всем лицом). Сквозь прорубленное кайлом платье, облепившее ее спину, бил родничок крови, и ткань в этом месте шевелилась, то пузырясь, то снова опадая рваными краями. Густокрасные лужи подплывали под половики. Ветки лиственницы распустились на окне, верба уже отцвела и покрывалась узкими листиками. В комнате пахло весной и свежeproлитой кровью.

Маленькие босые ступни Надежды еще вздрагивали. Забродин взглянул на них и, ничего не тронув, пошел вон.

К крыльцу со всех сторон сбегался народ. Молодые шахтеры поднимались группкой навстречу Забродину по ступенькам. Когда он показался в двери в окровавленной одежде, с кайлом в руках и остановился, ворохато блуждая взглядом, они слегка подались назад — юные еще, жидковатые мальчишки. Им был знаком азарт драк, но здесь явно произошло убийство... Убийца, как матерый волк, прижатый в угол сворой собак, готовый рвануть первого смельчака, стоял перед ними. Он в самом деле был страшен, и потому, едва он шевельнулся, они все разом бросились на него.

Рыжков сидел с Черепановым на скамейке возле спортивной площадки. Кругом толпился народ, смотревший на игру спортсменов, которые готовились к праздничному соревнованию.

Китайцы следили за игрой с особенным участием, толкали друг друга локтями, громко переговаривались и отчаянно хохотали, когда футболисты, сшибаясь, падали на траву. Спокойнее держались моложавые безусые якуты. В толпе преобладала молодежь. Огромная фигура и рыжеватая борода Рыжкова вызывали немало веселых шуток, но сам он, увлеченный футболом, не замечал никого.

За последнее время он даже запомнил несколько мудреных названий: голкипер, корнер, форвард.

— Корнер — это, стало быть, в угол, потом аут еще есть. Аут — значит мяч, вышибленный за линию, — объяснял он Акимовне, возвращаясь домой поздно вечером.

Резвые прыжки футболистов вызывали в нем чувство неудержимого азарта. Он, задирая бороду, следил за гулким полетом мяча, притопывал, нетерпеливо ерзал по скамейке и смеялся, как ребенок, когда забивали гол. С одинаковым участием следил он за напряженными моментами игры у ворот обеих команд. Восхищала его сама игра, требующая выносливости и сноровки.

— Удумали же хитрость, чтобы только ногой пинать... — обратился он к Черепанову. — Человек, он же сроду рукой норовит схватить, а тут, при таком азарте, попробуй удержишься. Раньше об этих играх и понятия не имели. В бабки только игравали да в городки, а моды, чтобы спортом заниматься, не было.

— Надо тебе записаться в футбольную команду, — пошутил Черепанов.

— Я бы непрочь, — неожиданно серьезно сказал Рыжков. — Однако корпус мне мешает. Корпусный я, — пояснил он, заметив недоумение Черепанова. — Росту уж очень большого, неловко мне с ребятами бегать. А в волейбол пробовал... Как поддам-поддам,

аж и мяча не видать. Он, как слепой, сигает черт-те куда.

Черепанов смеялся, подбрасывал носком сапога мелкие камешки у скамейки, потом встал, поправил ремень, ниже надвинул на смуглое лицо козырек кепки, хотел было итти, но движение в толпе привлекло его внимание. Заплаканная женщина расталкивала обступивший ее народ, размахивала руками, громко причитала.

Черепанов молча тревожно всматривался и вдруг побледнел — по толпе прошел смутный говор:

— Зарезал... Муж зарезал...

— Что случилось? — спросил Рыжков и поднялся. — Эй, чего там?

— Забродин жену убил! — крикнул ему пожилой шахтер. Остальных слов его Рыжков не разобрал, а сразу обернулся к Черепанову: тот охнул так, словно его ударил кто.

— Что ты, Мирон Устинович?

Странная гримаса искривила лицо Черепанова. Он молча резко отвернулся и пошел в сторону Ортосалы. Но так же неожиданно остановился: он вспомнил о Забродине, повернул назад и заспешил к поселку, все убыстряя шаги.

«Жалел он ее, голубушку! — догадался Рыжков и в тяжелом раздумье присел на скамейку. — Эко горе какое! И откуда этот изверг вывернулся?»

Егор и Маруся пробежали мимо. Рыжков проводил их взглядом и остался сидеть в оцепенении: известие об убийстве Надежды оглушило его. Он вдруг понял, что и для него Надежда была больше, чем просто знакомая. Смутная тоска завладела им. Он совсем не волновался о том, взят ли Забродин. Дело было неоправимо. Значит, незачем бегать и суетиться: помочь уже ничем нельзя. Рыжков вспомнил Надежду такой, какой она была на Пролетарке, вспомнил, как приходила она к ним в гости на днях, попробовал представить ее мертвой и не мог. «Мерзавец этакий», — подумал он о Забродине и сразу пожалел, что столько времени покрывал его старую провинку.

Это было давно, когда Рыжков хищничал по прито-

кам Гилюя и глубокой осенью заблудился в тайге. Несколько дней он пробирался то сквозь пахучую молодь листвяка, то брел темными ельниками по гниющему моховистому валежнику, по кочкам переходил через лесные болотца с водой, усыпанной желтыми и красными листьями. Однажды в светлосером осиннике он увидел двух сохатых: буланую безрогую лосиху и лосенка. Они сдирали с деревьев кору, и, глядя на них из-за кустов, Рыжков только крикнул с досады. Потом он выпрямился во весь рост, громко гаркнул и долго стоял, слушая, как разносился по лесу удаляющийся треск ветвей.

Он ослабел, но все шел, пробавляясь ягодами и сырыми грибами, на юго-запад, пока не дошел до высокого хребта Тукурингра. Здесь, привлеченный криками воронов, он нашел остатки горного барана, растерзанного каким-то крупным хищником.

Ночью недалеко от ели, около которой Афанасий расположился на отдых, бродил медведь. Заслышав тяжелую походку косолапого костоправа, Рыжков подтянул поближе суковатую дубину и привстал в ожидании. Однако медведь был настроен миролюбиво. Он пошарил в кустах, уркая, ушел ниже в распадок и там, скрытый ночным туманом, долго забавлялся — отгибал дранину от расщепленного бурей дерева: отдерет, потом отпустит и слушает, как застонет она, с жалобным гудением ударяясь о ствол.

Утром, когда солнце разогнало туман, Рыжков увидел с утеса серебряные излуины реки Гилюй. Рыжков спустился вниз и побрел берегом по узкой тропе. На этой-то тропе он и встретился впервые с молодым Забродиним.

Забродин шел тоже один, ведя в поводу навьюченную лошадь. Он дал Рыжкову хлеба и отправился дальше, очень неясно объяснив цель своего путешествия. Рыжков и не старался особенно расспрашивать, а перед вечером, верстах в двадцати от места встречи, наткнулся на убитого китайца. Китаец был убит ударом кинжала в спину...

Позднее на прииске заговорили об исчезновении спиртоноса Ван Лина, который ушел с Васькой Забро-

диным и пропал. Посланные для розыска стражники изловили Забродина и доставили к уряднику. Урядник продержал его месяца полтора в кутузке и за недостатком улик выпустил.

Тут бы и вступиться Рыжкову, но он собирался с семьей в район Джалинды и побоялся, что его затащуют по судам. Скорый на руку урядник наклепал бы одинаково и правому и виноватому. Могло и так случиться, что Забродин, имея деньги, откупился бы, а Рыжкову самому приписали бы убийство китайца. Он решил смолчать, а потом считал, что времени прошло много и никому неинтересно разбирать старое дело. Привычка хищника держаться подальше от всякого начальства вынудила его оставить убийцу ненаказанным.

Теперь Рыжков сидел, упираясь локтями в колени, и думал: «Надо было тогда на Незаметном пойти в домзак и сказать: «Припаяйте ему, товарищи, покрепче, он еще в старое время человека убил». Но кто же знал, что его так скоро выпустят? Говорили ведь, что он выслан из района».

— Футболом интересуешься? — раздался над ухом Рыжкова хрипловатый голос. Рыжков даже вздрогнул от неожиданности.

По ту сторону скамейки стоял Потатуев, одетый в серый пиджак и узкие брюки, заправленные в короткие сапоги. Обрюзглое лицо его багрово блестело из-под белой фуражки. Воротник рубахи потемнел от пота.

— Развлекается молодежь, — сказал Потатуев с грубоватым смешком и сел рядом с Рыжковым. — Играет ветреная младость, а нам, старикам, в могилку пора.

Рыжков промолчал. Он все еще сердился на Потатуева за напрасную работу в артели «Труд».

— Что молчишь, богатый стал?

Рыжков скупно усмехнулся.

— С вами разбогатеешь!

— А разве нет? — весело спросил Потатуев. — Кто же тебе велит в забое торчать? Просись в сменные мастера.

— Грамота моя этого не позволяет.

— В горном деле на одной грамоте далеко не уедешь, — сказал Потатусев. — Практики нам нужны, а практика у тебя изрядная. Могу написать тебе записку на третью шахту к смотрителю, нужен мне верный человек.

— Да я уже приобык на своем месте.

— Приобыкнуть везде можно. Стал бы мастером, завоевал бы авторитет среди рабочих...

— Как бы это я завоевал его?

— Ну, мало ли как... Замером, например... Тому прибавишь, другому. Надо же поддержать своего брата рабочего.

Нельзя было понять, шутил Потатусев или говорил серьезно. Глаза его были настороженно прищурены, а на губах играла усмешка. Рыжков покосился на него, сказал простодушно-строго:

— Зачем же лодырей плодить? Это уж вроде мощенства. Другое дело, кабы у хозяина... Там вся игра на том стояла, кто кого обжулит.

Потатусев в замешательстве потербил тесный воротник рубахи, сказал с заминкой:

— Экий ты несуразный — шутики не понимаешь. А еще старый таежник!

— Знаем мы ваши шутики, — угрюмо пробормотал Рыжков, — боком они нам выходят.

Потатусев с изумлением посмотрел на Рыжкова.

— Где с тобой так шутили?

— Да хотя бы и на Пролетарке. Посадили людей на пустоту, и горя мало.

Потатусев напряженно захохотал.

— Какая же шутка? Голубчик ты мой, к чему ты это вспомнул? Обстоятельство, никакого отношения к разговору не имеющее.

Он встретился со взглядом Рыжкова и сразу оборвал смех. Синие глаза старателя горели бешенством. Теперь он сидел выпрямившись, упирался ладонями о края скамьи и сверху вниз смотрел на Потатусева.

— Смешно вам? А по-моему, это прямое отношение к разговору имеет. Беззаботно вы к людям относитесь. Подумаешь, благодетель нашелся за чужой счет!

— Что ты взбеленился, Афанасий Лаврентьевич? Мы с тобой раньше дружно жили.

— Еще бы не дружно! Золото у меня задаром скупал, было из-за чего дружить!

Потатуев испуганно оглянулся, сердито сказал:

— Перестань чушь пороть. Я не мальчик, чтобы меня разыгрывать!

Рыжков наклонился к Потатуеву, касаясь бородой его уха, жарко зашептал:

— Забыли, как с Санькой Степанозой переправляли краденое хозяйское золото? Когда у Титова-то служили... Эх вы, гусь лапчатый! Верой-правдой служили и себя не забывали! А золото, что скупали у старателей в двадцать четвертом году, куда девали? С этим-то навряд ли расстались! — Рыжков посмотрел на трясущиеся, пересохшие от волнения губы Потатуева, отвернулся и добавил сквозь зубы: — Все под себя гребете, а над чужой бедой похохатываете! Стыдиться надо бы...

Рыжкову стало до того досадно, что он забыл даже о Забродине и Надежде. Рассердившись на Потатуева, он встал и крупными шагами пошел прочь.

Дверь в квартире не заперта, но Акимовны дома не было. В кухне на полу валялось опрокинутое сито, тонкий мучной след тянулся к нему от стола. На лавке в незакрытой квашнекисло тесто. Рыжков посмотрел на беспорядок и только теперь до боли ясно ощутил, что Надежды уже нет. Вот и жена побежала туда, бросив все свои бабьи дела, и даже дверь забыла прикрыть.

Рыжков медленно, точно связанный, вышел на крыльцо и посмотрел в сторону дома, где жила Надежда. Там толпился народ.

Два конных милиционера проскакали по каменистой дороге.

«Видно, ушел Васька-то», — подумал Рыжков, и ему сразу стало жаль, что Забродин мог уйти. Заползлый тяжелый гнев охватил Рыжкова. Он сжал огромный кулак и с силой опустил его на теплое от солнца перильце крыльца. «Дать бы ему раза, рылом бы его об стенку. Убил человека и смылся спокойнень-

ко. Как же так?» С этой мыслью Рыжков сорвался с места. Преодолев волнение и томительную жалость, он через несколько минут вошел в дом Надежды.

В комнате плакала Акимовна, тихо разговаривали женщины, слышался плеск воды.

В коридоре на ящике сидел Черепанов, закрыв лицо руками.

— Ну как, Устиныч? — участливо спросил Рыжков и, почувствовав, что сказал пустое, смущенно переступил с ноги на ногу.

Черепанов поднял голову.

— Взяли его... Да теперь все равно... — сказал он незнакомым, глухим голосом.

— А она? — опять смущаясь своей бестолковостью, спросил Рыжков.

Черепанов молча пожевал губами и вдруг зарыдал, по-мальчишески вытирая кепкой бегущие слезы.

18

Заведующий шахтой Локтев, нагнувшись, трясся рысцей по просечке, покачивая жестяным фонариком. Из мрака выступали в неверном, скользком свете мокрые бревна-огнива — крепление низко нависшего потолка, — размочаленные концы палей, светлые раны изломов на лопнувших от давления подхватах.

Черепанов не отставал от Локтева. Подземный мрак заброшенной просечки навевал на него невыразимую тоску. В таком же мраке лежала теперь Надежда. Совсем близко... в каком-нибудь километре — только продолжить ход под землей. Черепанов бежал легко, но чуть не задохся от торестной судорожной слазмы в горле. Такая вся светлая была Надежда и добрая, и вдруг это дикое зверство, эта кровь, безжалостно пролитая, эти следы босых маленьких ног на белом полу... Холодные капли воды срывались с потолка, падали на шею Черепанова, не покрытую шахтеркой, и он все больше горбился, торопливо шагая за Локтевым. Толстый пухлолицый Локтев в шахте был куда проворнее, чем наверху. Он цепко спускался по крутым лесенкам,

легко просек
переходах.
«Вот с
лен», — с
миная ч
детским с
и Ли Фун-
смерть Над
— Я уб
явил Ли Ф
земле!
— Да,
земле, и, о
Черепанов
— О че
Они све
затем в све
очень ожив
— Сейч
дыхаясь, и
лок. Погов
— Удир
шил свечу
рысю по л
В краси
ры. Все что
В дальн
громко пер
вым — шах
держал кру
рог. Тут же
китин.
— Техни
чтобы их лом
ков. — Из-з
звене делится
но, не прыга
Егор с сер
— Надо
работе, а не
— Больши
Г. А. Уоптяева

легко проскальзывал в узкие отверстия на лестничных переходах.

«Вот он вполне определил себя в жизни и доволен», — с грустной завистью думал Черепанов, припоминая чистенькую квартирку Локтева, наполненную детским смехом и щебетом. Он вспомнил также Лушу и Ли Фун-чи и то возмущение, которое вызвала у них смерть Надежды.

— Я убил бы его там, как бешеную собаку, — заявил Ли Фун-чи. — Таких негодяев нельзя держать на земле!

— Да, дорогой товарищ, таким не место на нашей земле, и, однако, они все еще существуют! — сказал Черепанов вслух.

— О чем ты? — спросил Локтев, оглядываясь.

Они свернули в новую просечку, довольно людную, затем в светлый высокий коридор-штрек. В нем было очень оживленно.

— Сейчас перерыв, — сообщил Локтев, слегка задыхаясь, и потушил свечку. — Пройдем в красный угол. Поговорим с ребятами, а потом в забой.

— Удивительно, — сказал Черепанов и тоже потушил свечу и вытер платком мокрую шею, — как ты рысью по шахте бегаешь и не худеешь!

В красном уголке у стоек-столов теснились шахтеры. Все что-то жевали, стучали мисками, кружками.

В дальнем углу Черепанов отыскал Егора. Егор громко переговаривался через стол с Точильщиковым — шахтером из бодайбинцев. В одной руке Егор держал кружку с чаем, в другой — надкушенный пирог. Тут же боком протиснулся к столу Мишка Никитин.

— Технические нормы установлены не для того, чтобы их ломать, — рассудительно говорил Точильщиков. — Из-за тебя их другим увеличат. Заработок в звене делится поровну, значит и работать нужно ровно, не прыгать выше других.

Егор с сердитой усмешкой глядел на бодайбинца.

— Надо добиваться, чтобы платили каждому по работе, а не держаться за старую норму.

— Больше всех хочешь загребать?

— Да, на лодырей работать не хочу.

Мишка толкнул Егора локтем в бок.

— Ты что, меня тоже за лодыря считаешь? — спросил он. В голосе его прозвучала обида.

— Брось ты! — отмахнулся Егор и сразу стушевался, увидев подходившего Черепанова.

После смерти Надежды Черепанов прямо почернел, и Егор чувствовал себя виноватым перед ним за свою прежнюю злую ревность.

— О чем спор? — спросил Черепанов.

— Да вот насчет уравниловки. Милое прикрытие для лодырей! Насчет нормы тоже агитируют, морду посулили набить. «Все равно, говорят, получишь наравне с остальными».

— С первого числа уравниловку ликвидируем, — сказал Локтев, положив пухлую ладонь на широкое плечо Мишки. — Вводится дифференциация.

— Как это понимать? — спросил Мишка.

— А так, что забойщик будет получать при сто-процентной норме девятый разряд, а откатчик — шестой.

Лицо Мишки сразу омрачилось.

— Выходит, я стану меньше получать, чем до сих пор?

— А ты переходи в забойщики, — посоветовал Локтев. — Что ты за Нестерова держишься, когда сам можешь работать самостоятельно?

Звонок прекратил разговоры. Шахтеры поспешили к забоям.

— Я еще не успел тебе сказать, — обратился Локтев к Черепанову: — был сегодня у меня заведующий техникой безопасности, походил по шахте и написал в книге распоряжений, что будет штрафовать сменных мастеров, широко применяющих подкайливание. Я с ним разругался. Прямо с верхней полки покрыл...

— Это зря, — укоризненно сказал Черепанов. — Ты же член партии, инженер! Матом тут не помо-жешь.

— А на днях в тресте опять написали инструкцию о том, где можно работать с подкалкой, где нельзя, — раздраженно продолжал Локтев. — В слабых грунтах

подкалка по инструкции не применима, а у нас на Орочене грунта в большинстве слабые. Вот и потолкуй с бюрократами.

Черепанов посмотрел на огорченное лицо Локтева и сразу представил всю серьезность положения, если мог ругаться даже такой добродушный человек.

Егор уже приступил к подкалке, когда они пришли в его забой. Некоторое время оба молчали, наблюдая за слаженной работой звена.

— Как же ты расстанешься с Егором? — спросил Мишку Черепанов.

— В одной смене работать будем, — весело сказал Мишка. — Завтра попробую сам подкайливать. Как только овладею подкалкой, так и перейду в самостоятельный забой.

— А остальной народ интересуется? — обратился Черепанов к Егору.

— Очень даже! Ходят, смотрят.

— Надо бы собрание устроить по этому поводу, — сказал Локтев. — Скоро в шахтах установим ленточные транспортеры; при работе с подкалкой они будут загружены полностью.

— Сначала надо мобилизовать общественное мнение через печать, — возразил Черепанов. — Я хочу посмотреть, как работают, и написать в газету.

— Работали бы мы хорошо, да инструмент никуда не годится, — сказал Егор сердито. — Третье кайло откидываю сегодня. Утром мягкое попало, остальные ломаются.

— Никитин, найди срочно сменного мастера и позови сюда, — приказал Локтев Мишке. — Я его сейчас раскатаю!

Черепанов поднял кайло, потрогал пальцем сломанный носок и сказал:

— Перекал при оттяжке в кузнице. С кузницы надо начинать, а не с мастера. — И, глядя на это допотопное орудие труда, простое, ловкое, для всех доступное, Черепанов подумал о великом значении рабочей смекалки и вдруг с острой болью, обжигающей душу, представил это же орудие в подлых руках убийцы. Он не слышал, как Локтев возразил озабоченно:

— В кузнице я вчера уже был. Ведь в других забоях тоже жаловались. Кузнецы хорошо работают. Я половину инструмента там проверил, ни одного кайла забраковать нельзя. Откуда же мастер плохие берет? Выброшу я его отсюда. Пусть летит на все четыре стороны...

— Слушай, Нестеров, напиши сам письмо в «Алданский рабочий», — восторженно сказал Черепанов, перебивая Локтева.

— Какое письмо? О чем?

— О том, как ты сейчас работаешь. Напиши, как сделался ударником. Подробно объясни метод подкалки — понимаешь? Чтобы заинтересовать других.

Егор даже вспыхнул от волнения.

— Заинтересовать письмом мне трудно будет. Я же никогда ничего такого не писал.

— Напиши, напиши! — обрадованно подхватил Локтев. — Самые факты изложи на бумаге и приходи ко мне. Мы вдвоем еще обдумаем, и я помогу тебе лучше составить. — Добродушное лицо Локтева неожиданно приняло суровое выражение и даже как будто похудело, глаза сузились: он увидел идущего к забойу Колабина.

Колабин приблизился и спокойно посмотрел на него.

— Скажите на милость, откуда вы берете такой инструмент? — спросил Локтев и, подняв с полу брошенное Егором кайло, сунул его к самому носу мастера. — В кузнице инструмент что надо, а попадает в забой... — Локтев медленно побледнел и почти крикнул: — Показательные работы в забое — и такой подрыв! Завтра же получите расчет!

— Товарищ Черепанов, что же это? — взмолился Колабин. — Не могу же я проверять каждое кайло!

— Каждое проверять не можете, а за порядком следить обязаны, — ответил Черепанов. — Локтев правильно говорит: забой у Нестерова показательный, а вы ему условия не создаете. Пора уже отказаться от старой практики!

— Здорово же это получается! — восхищенно говорил Мишка, поглаживая ладонью лист бумаги, крупно исписанный карандашом. — Мы с тобой, Егора, помнишь, весной работали... По шахте наше звено хорошим считалось. Одним из лучших! А больше двух кубометров на человека мы не подавали при всем старании. А теперь у нас выходит по четыре и четыре с половиной. Как же раньше никто не сообразил, что нужно не только силой брать, но и сноровкой?

Егор не ответил, взял письмо, начал перечитывать его, беззвучно шевеля губами.

— Так, значит... — сказал он вслух, — при слабом грунте сантиметров тридцать... в крепком — до восьмидесяти.

Мишка, глядя на него, усмехнулся.

— Чудно мне, Егора, как это ты молчал, молчал да и надумал! Я вот работать хорошо могу, а обдумывать не в моей натуре. — Мишка закурил и присел рядом с Егором на его койке. Оба жили теперь в одной комнате в доме ударника. Некоторое время сидели молча. Никитин, легкомысленно-веселый и нетерпеливый, первый нарушил молчание.

— Когда пойдешь к Локтеву, спроси, продвинул ли он вопрос насчет железных тачек. Пускай в самом деле создают условия. Ты как предполагаешь, Егор, будет народ переходить на подкалку?

— Должны бы!.. Чего ради отказываться? Затрата энергии та же, а выработка в двойном размере. Глупость будет, если кто не захочет.

— А очень даже просто, и не захотят. Плохо еще мы головой работаем. Научились начинать с завески огнива, вот и будем его завешивать сто лет подряд! А чтобы попытаться по-новому — этого нет. Непременно найдутся такие, что будут орать против: почему, мол, Егор умнее нас оказался?

— Ну, пусть покричат, — ответил Егор, поднимаясь. Он застегнул воротник косоворотки и, надев кепку, положил в карман пиджака свернутое письмо.

— Я от Локтева еще к Марусе зайду, — сказал он Мишке. — Ты ступай в клуб один, не жди меня.

Егор всегда засиживался у Рыжковых подолгу. Когда не было Маруси, поджидал ее, разговаривая с отцом; когда заставлял ее дома — не было сил подняться и опять идти в свою холостяцкую комнату.

Конечно, Мишка Никитин хороший товарищ, и жизнь у них с каждым днем полнее становилась, но семья Рыжковых попрежнему неотразимо притягивала Егора. Однажды он попробовал набраться твердости и не ходил к ним почти полмесяца, но до того измучился и похудел, что когда явился в выходной день, Акимовна ахнула:

— Совсем замордовался парень! Вот она, ударная-то работа! А мой Афоня ничего, господь с ним... да еще ровно помолодел.

На этот раз Маруся оказалась дома, что бывало довольно редко. Она сидела у окна и шила, легко постукивая машинкой. Кровать стариков в углу, покрытая новым одеялом, стояла нетронутой, видимо Рыжков еще не отдыхал. Он работал с Егором в одной шахте, но в разных сменах.

— А отец где? — спросил Егор, снимая кепку в дверях комнаты.

— В баню отправился. Что же ты стоишь, проходи!

Егор прошел в комнату, сел напротив у стола, положил на клеенку большие, чисто вымытые руки и посмотрел на Марусю.

— Давно я тебя не видел! — сказал он и потрогал за край тонкое, легкое шитье, ползущее с машины. — Шьешь... Что это будет?

— Что-нибудь да будет. Не тани, а то шлепну вот!..

— Ну, шлепни, — попросил он, влюбленно разглядывая ее длинные полуопущенные ресницы. Светлый пушок золотился на смугловато-румяном лице и крепких руках девушки. Кашлянув, Егор сказал хрипловатым голосом: — Интересное дело: сама ты смуглая, а волосы у тебя русые.

— Какая есть! — сказала она, взглянула сердитыми карими глазами и покраснела.

— Вот и рассердилась... Я потому говорю, что мне

в тебе всякая малость нравится. Только ты меня совсем уж с толку сбила, я даже не знаю, как подойти к тебе...

Егор помолчал. В квартире тихо, только машинка постукивала слегка да бойко тикал на посудном шкафчике круглый будильник. От этого молчания, которое билось в ушах Егора нарастающим звоном, лицо Маруси еще посуровело, но щеки ее так и горели.

— Маруся! — решительно сказал Егор. Она вздрогнула и подняла на него блестящие глаза.

— Ну? — во взгляде были нежность и ожидание, а голос звучал сухо. Он слышал только голос, потому что в этот момент не глядел на нее.

— Слушай, брось ты волынить, выходи за меня замуж, — твердо проговорил Егор и заторопился, не давая ей времени возразить: — Люблю я тебя уж который год! Сама знаешь, человек я не вздорный. Если и было чего (она нахмурилась, неприятно задетая), так я сам о том сто раз пожалел.

Он наклонился через стол и посмотрел близко в ее лицо.

Маруся покачала головой:

— Нет, Егор, подожди говорить об этом... — Увидела, как задрожали у него губы, стало жаль его, так жаль, что самой впору заплакать. «Какая нервная барышня стала!» — подумала Маруся о себе с издевкой, не понимая, что смятение это неожиданное оттого, что она уже любила Егора. Погладила его большую руку и сказала: — Ты же еще совсем молодой!

— А старому и жениться незачем, — возразил он грустно. Снова она отталкивала его. Это становилось просто невыносимым. — Я бы тебя ни в чем не стеснял, — сказал он угасшим голосом, — все-таки научился уже отличать плохое от хорошего.

— Потоди, нам сейчас учиться нужно...

— Не хочу я годить, надоело мне. Я тебе вот что скажу: кабы любила ты меня, не стала бы так рассуждать. Года у меня самые хорошие, а тебе, выходит, старика ученого надо? Эх, Маруся! Как же студенты на студентках женятся? Стало быть, семейная жизнь ученью не помеха...

— Да еще какая! Вам-то, мужчинам, конечно, ничего, а у нас дети родятся. Он вперед выучится, а она останется на бобах.

— Значит, любви не было, ежели останется на бобах, — ответил Егор и встал, комкая в руках кепку. — Видно, не столкнуться нам, Марья Афанасьевна. Вы бы мне прямо сказали: противен я вам, что ли... Я бы тогда перевелся отсюда, хоть на Сталинский. Пропадут я здесь!

— Зачем мне наговаривать, чего нет, вовсе ты мне не противен. Скучно тебе... так поухаживай за кем-нибудь, вот сколько девчонок понаехало!

На такие слова (не совсем, впрочем, искренние) Егор только поморщился, махнул рукой и тихо вышел из комнаты.

Маруся подбежала к открытому окну и проследила из-за занавески, как шел он между низкими зелеными кустами, направляясь к шоссе. Две здоровенные девахи встретились ему на дорожке и долго оглядывались на него, громко хохоча и подталкивая друг друга локтями.

«А что, если и взаправду начнет ухаживать? — подумала Маруся, неприятно задетая и даже возмущенная поведением веселых девок. Такая возможность показалась ей немыслимо грустной. — Захочу выйти за него замуж, когда ему уже другая понравится».

— Удивительное чувство — любовь! — задумчиво говорил Ли Фун-чи. — Встречаешься с женщиной, разговариваешь с ней и спокоен. И вдруг в один день, в один час все меняется. Тот же человек остался, но ты думаешь о нем, волнуешься, стремишься к нему. Что тут происходит, Мирон?

— Не знаю, Ли Фун-чи. Может быть, секретарю парткома не полагается так говорить, но не знаю. Вот совладать с этим чувством можно: ходу ему не дать, подавить его силой разума, если чувствуешь ошибочен выбор. А как появляется оно? Повидимому, сте-

чение многих обстоятельств, а не просто искра роковая.

Оба остановились на увале и, наверно в сотый раз, залюбовались знакомым видом: там новый дом вырос, там новая линия деревянных сплотов-шлюзов повела воду на склон горы. Растет производство, ширится!

Но на лице Черепанова нет выражения прежней ясности. Брови хмуро сдвинуты, а по углам рта резко прорезались морщины, придавая горечь улыбке. Оба шли на совещание, героем которого, «именинником», как шутя они называли его, был Егор. Шли и разговаривались о любви его к Марусе, о том, что это была бы замечательная пара.

— Как я хотел, чтобы Надя расцвела для меня... — с грустью признался Черепанов. — Скажешь — эгоист! Но ведь она же не видела счастья в жизни. Что она хорошего видела, Ли Фун-чи?!

— Не надо, Мирон, травить себя! Я понимаю, рана свежая — болит. Луша до сих пор плачет, как вспомнит, и мне жалко. Очень!

— А как ты полюбил Лушу? — спросил Черепанов, помолчав.

Ли Фун-чи покосился на него, невольно стыдясь своего счастья, не желая показывать его сейчас, но глаза его так и засияли.

— Очень просто. Хотя нет, не просто. Ходили вместе в вечернюю школу, подружились, сидели за одним столом. И все ничего. Тоненькая, черненькая девочка, хохотушка. Не замечал в ней женщины. — Ли Фун-чи сорвал на ходу прутик каменистой березы и, ошипывая мелкие ее листочки, продолжал уже серьезно: — Вот ходили и ходили в школу. Один год. Другой. Но как-то раз я заболел и не был с неделю. Весна уже наступила. Тепло такое! Ночи белые. Иду в школу с тетрадками, с книжками и чувствую — что-то беспокойно мне. Подхожу к школе. Солнце на закате. А на крыльце стоит Луша, прислонилась к перилам и молчит, смотрит на меня. И я остановился. Смотрю — она и не она. На лице румянец. Глаза широко открытые, черные, смеются и не смеются, и вся тянется ко мне, не сходя с места. И я тогда чуть с ума не сошел от радо-

сти. Почувствовал: что-то большое, светлое вошло в мою жизнь, без чего нельзя жить дальше. И мы опять сели рядом за стол, но не учились: ничего не понимали. Только слушали и понимали друг друга. И с тех пор не разлучались.

— Хорошо! — задумчиво произнес Черепанов без зависти, но и без участия: слишком несчастливым он признавал себя, чтобы радоваться сердечному успеху друга.

И Ли Фун-чи почувствовал это.

— Мне думается, совещание будет бурным, — перевел он разговор на другое. — Я за эти дни все шахты обошел. Со всеми забойщиками потолковал. Сомневаются многие, а ведь бесспорный вопрос...

— Не трансцендентный? — с неожиданным лукавым ехидством спросил сразу оживившийся Черепанов.

Ли Фун-чи заметно смутился.

— Ты брось! — сказал он, улыбаясь. — Я теперь эти кирпичи только для себя откладываю.

Совещание еще не начиналось. Егор то и дело доставал из кармана свернутый номер «Алданского рабочего», находил свою статью и с удовольствием перечитывал четкий заголовок: «Новые методы работы». Внизу так же четко набрано: «Егор Нестеров». Текст, очень складно составленный Локтевым, Егор запомнил почти наизусть.

«Знатным человеком стал, — думал он. — Теперь эту газетку по всему району читают и, наверно, интересуются, кто такой Егор Нестеров».

Вчера из Сталинского приискового управления приезжали забойщики-ударники для ознакомления с его работой. Егор даже растерялся, когда к нему в забой явилась целая группа в сопровождении Локтева и Ли Фун-чи.

— Давай инструктируй товарищей, — сказал Локтев, весело подмигивая Егору круглым глазом. Он гордился тем, что подкалка возникла на его шахте, и носился с ней, как со своей собственной идеей. Косность ороченских горняков огорчала его не меньше, чем Егора.

Егор вспомнил оживленные лица сталинцев в забое,

долгую беседу с ними и с Ли Фун-чи в столовой после смены и удивленно подумал: «Подумаешь, инструктор выискался! Ведь ты, Егор Григорьевич, вовсе еще малограмотный».

— Скорей бы начинали, — сказал подошедший к нему Рыжков. Теперь, когда о подкалке написали даже в газете, Рыжков проникся большим уважением к молодому Егору.

Газету ему прочитали сначала в красном уголке шахты, потом он долго разбирал ее по складам дома.

— В большие люди пошел Егор, — сказал он Акимовне и заставил ее еще раз прочитать статью вслух. — Сколько я его расспрашивал про эту подкалку, не раз сам ходил глядеть, а все сомнение какое-то... Так и другие сомневаются. Вот посмотрим, что еще на производственном совещании решат.

Совещание в самом деле вышло очень бурным.

— Мы сюда приехали зарабатывать, а не учиться, — откровенно высказался кривой Григорий, работавший теперь тоже на первой шахте. — Человек же не машина. Там переставил винты и пошел наворачивать по-новому, а я этак не могу! Ежели мы все увеличим производительность, нам прибавят технорму. А потом опять тянись!

— Хорош у Серка обычай: хоть не везет, да ржет! — крикнул кто-то с места.

— Что такое есть эта самая подкалка? — сказал бодайбинец Точильщиков и встал между скамейками, сутуля угловатые мощные плечи. — Это есть нарушение всяких понятий о ведении правильного забоя. Я как ударник даю сто двадцать процентов нормы. Мой рабочий день и так уплотненный до отказа. Переходить на новые методы отказываюсь. У нас же на Орочене грунта слабые, и получатся сплошные кумпола.

Рыжков слушал выступавших, поглядывал на лицо Егора, залитое беспокойным румянцем, думал и не мог придумать, на что решиться.

Грунт на Орочене действительно слабый, и это было главным козырем у противников подкалки.

Мнения шахтеров разделились. Споры возникали между соседями, между отдельными группами. У две-

рей, где набрались курильщики, в густом табачном дыму стоял сплошной гул. Черепанов, сидевший в президиуме на сцене клуба, сердито моргал председателю собрания. Председатель хватал колокольчик и потрясал им, только усиливая шум в зале.

Ли Фун-чи, пошелтавшись с Черепановым, попросил слова.

— Я, товарищи, кровно заинтересован в применении подкалки, — сказал он, подходя к рампе, — так же как и вы. Насильно мы, конечно, никого не тянем. Только получается странно: людям дают возможность облегчить труд, а они отказываются...

— У нас сыпучка! — крикнули из задних рядов.

— Нестеров сам начал работать в слабом грунте. И у него не было опыта, который он может передать вам теперь.

— А нормы увеличите?

Ли Фун-чи так и не смог настроиться на ораторский тон. Его перебивали поминутно.

— Зимой у нас пекаря часто получали больше забойщиков, — говорил он, сердито поблескивая глазами. — Больше получали плотники, кузнецы... А ведь главная наша рабочая сила — это вы, горняки-забойщики. Все остальные — подсобные. И вот теперь, чтобы создать вам лучшие условия, мы ликвидировали уравниловку. Труд забойщика должен стать ведущим! А разве он станет ведущим, если вы хотите иметь старые нормы? Нет! Не станет! Нестеров в прошлом месяце заработал тысячу четыреста рублей... — В зале ахнули, и Ли Фун-чи намеренно помолчал, отыскивая взглядом лицо Егора. — Да-да, тысячу четыреста!.. — как бы в раздумье повторил он. — А нынче он получит еще больше. Спрашиваю: разве он работает дольше вас? Нет, также шесть часов. Или он старается до седьмого поту? Тоже ничего подобного. Ударники, перешедшие на подкалку, работают спокойно. Все дело в распределении труда. Этим ведущим ударникам увеличение нормы не страшно. И себе и производству польза. Смотрите, как заинтересовались новыми методами на Сталинском.

— Там грунта крепкие.

— При таких грунтах и мы давно бы перешли.

Ли Фун-чи развел руками, выражая недоумение.

— В разном грунте разная глубина подкалки, только и всего. — Он еще минут двадцать толковал о соревновании, подкалке и уплотнении рабочего дня. Отходя от рампы, он кивнул Егору.

Егор, наступая на чужие ноги, долго пробирался вперед. Он очень волновался, когда выслушивал некоторых горняков, упрекавших его в желании возвыситься над ними. Никогда о нем так много не говорили, и он с непривычки робел и стеснялся.

Он вышел вперед и долго пристраивался у сцены, не зная, как стоять, забыв, с чего начинать; поставил одну ногу на изломанную скамью, прислоненную к стенке, облокотился на колено, смахнул кепкой пыль с сапога, подбоченился.

— Долго ты там будешь переминыться? — крикнул ему Григорий, потеряв терпение. — Задрал ногу-то, ровно у фотографа. Лицом повернись к народу!

— Дай ему с духом собраться. Торопыга какой!

— А и вправду, чего он корячится битый час!

Егор, не обращая внимания на выкрики, поставил ногу поудобнее, отыскал взглядом в президиуме Черепанова.

— Можно, что ли?

— Давай, давай, — сказал тот.

— Я, товарищи, совсем не хочу быть впереди других как личность, — сказал Егор, стоя в полуоборот к публике и помахивая кепкой. Голос у него вздрагивал, щеки горели. — Личность моя самая неинтересная: простой я парень и малограмотный. Но я хочу работать лучше всех, и тянуть меня обратно никто не имеет права. Здесь я не личность, а государственный человек. — В зале раздался смех, и Егор стушевался было. — Да, тут я ударник, — поправился он. — Тут я обязанный итти напролом, не обращая своего внимания на разные хаханьки. Вот в газете пропечатано, как я работаю с подкалкой. Вы все, наверно, читали?.. Я еще вот что хотел сказать: при подкалке труд в забое разделяется — откатчики только на откатке работают, а забойщики на кайлении. При подручном кре-

пильщике мне в одном забое работы не **хватает**. Я предлагаю перейти на спаренные забои. Пусть мне дадут два смежных забоя, и я буду работать в них одним забойщиком при четырех откатчиках. Если мне создадут условия: чтобы был хороший инструмент, чтобы во-время подносили крепежник, тогда я обязуюсь выполнять техническую норму в двух спаренных забоях не меньше чем на сто семьдесят процентов.

Когда Егор сел, в зале поднялся гвалт. Обещание перевыполнять норму за двух забойщиков многим шахтерам показалось хвастовством. Другие, задетые странной самоуверенностью молодого, несловкого парня, решили тоже перейти на новые методы. И первым из них попросил слова Точильщиков.

21

— Хочу я, старуха, обратно на старание податься, — сказал Рыжков жене, придя однажды с занятий ликбеза.

— Да что ты, Афоня? — испуганно спросила Акимовна, поднимая с подушки голову, повязанную мокрым платком. У нее даже прошла головная боль, так всколыхнуло ее это сообщение. — Или случай какой?

— Нет, все в порядке. Просто есть у меня думка. — Рыжков положил на полку тетрадки, потом достал одну снова и, осторожно перелистывая страницы, сказал: — Вот, погляди-ка! Сам написал! Чернилком! Только буквы не совсем ровные — близко вижу хуже, чем издаля.

— Хвастаешь? Ты мне зубы-то не заговаривай! — вскричала Акимовна и, подойдя к мужу, строго посмотрела на него. — С шахты-то почему надумал уходить? Или с начальством контры получились?

— Контров никаких нет. Отношение со всех сторон хорошее, мне даже мастером предлагают идти в якутскую смену... Только тянет меня на старанье, прямо покою нет. — Рыжков говорил медленно и негромко, как будто речь шла о самом пустяковом деле, но в душе побаивался, что жена начнет сейчас спорить, а мо-

жет быть, и плакать, и мрачнел лицом, все еще перелистывая страницы ученической тетрадки. Но Акимовна только укоризненно покачала головой:

— Эх ты-ы, единоличник!

Она не заплакала, и он облегченно вздохнул, но слова ее неприятно укололи его. Он никогда не жил в деревне и понял по-своему, что его упрекнули в желании отделиться от товарищей — обидный упрек для настоящего таежника.

— Я же в артель буду вступать, чтобы большой коллектив был.

— Мало тебе двух-то лет в трудовой артели показалось? Хорошо ведь сейчас живем, гляди, сколь всякого добра накупили! Небось на старанье не до тетрадок было. Брось ты это дело, Афоня, право!

— Нельзя бросать, Аннушка, невозможно. Я теперь тоже кое-что соображать начинаю, новой забойной технике обучился. Ну... так вот и нужно, чтобы на старанье было то же. — Рыжков присел к столу, начал свертывать цыгарку — папирос он не признавал, считая махорочный дым «самым чистым», и продолжал с важностью: — Шахта — это хорошее дело, да ведь не везде же можно вести крупные хозяйские работы. На небольшой россыпи или на приисках, где площади уже испорчены, без старателей не обойдешься. Только здесь надо рассуждать с понятием. В маленьких артелях никакой организованности нет. Механизацию на пять—восемь человек не заведешь, а без нее можно работать только на большом содержании. Кроме того, научились мы теперь распределять труд между собой, и сразу видно стало, сколько рабочей силы пропадет зря в мелких артелях. Стало быть, самое выгодное есть крупный коллектив. Трудовую артель ты теперь забудь! Тогда мы работали безо всяких льгот и машин. А теперь такое дело: можно организовать гидравлику — это раз, можно большие буторные работы — это два, или шахтовые с кулибиной — это три. Поняла? — Рыжков поднес к сухонькому лицу Акимовны огромную ручищу с прижатыми пальцами и сказал: — Выбирай любое!

Акимовна из всей этой непривычно длинной речи

поняла лишь одно, что Афоня с шахты уйдет обязательно, хотела было отругать его хорошенько, но только посмотрела на него и вздохнула. Синие глаза его, мохнато обросшие светлорусыми ресницами, так и лучились под косматыми бровями. «Ну что с ним натолкуешь! Как к стенке горох. Раз решил — перессолит, да выхлебает», — подумала она и спросила:

— С квартирой-то как будет?

— Пока здесь будем помещаться. Старатели теперь приравнялись к рабочим. Раз я тут живу, куда же меня девать? А после свой домик выстроим, как настоящие жители. Завтра пойду с начальством разговаривать.

— Егор тоже переходит? — спросила Акимовна, не глядя на мужа. Она была огорчена и сердилась, но стоило ей взглянуть на него, и вся ее досада таяла, точно легкое облачко: впервые за долгие годы совместной жизни она видела его таким успокоенным и счастливым. Но ведь он упрямый, а упрямцы, часто даже в ущерб собственному благополучию, поступают так, как им однажды захотелось. Он и сам не рад потом, а все гнет по-своему, пока не упрется лбом в непреодолимую стену. Шахтер — это звучало тордо и независимо. Старатель — отдавало горечью.

— Егор из шахты никуда не уйдет, — сказал, подумав, Рыжков. — Его теперь стараньем не переманишь. Прошлую смену они снова по шесть кубометров на брата подали. Из газеты не выходят: разошелся парень, спасу нет. Подумать только, как выработка выиграла! В прошлом году кто бы мне сказал, что за смену можно завесить восемь огнив, я бы не поверил. А Егор и до двенадцати завешивает. Ведь это около двух метров погону! Вчера я к нему заходил... Лежит на постели и книжку читает. Тоненькая такая книжка, вроде тетрадки. «Интересуюсь, говорит, горным делом». Учительница к ним на дом приходит, к ударникам-то. «Осенью, говорит, в школе будем заниматься». Он ведь тоже малограмотный. — Рыжков не без гордости подчеркнул слово «тоже», но Акимовна была слишком озабочена, чтобы обратить внимание на его самодовольство.

— М
— М
ветил Р
гадал м
получил
спраши
самого
— Ч
Нет у н
не торо
один стр
— Т
ков. —
лены. П
сердцу.
— В
замуже
— Т
— М
выключ
Не миг
жизнь
Светлы
ли, гля
задерн
поправ
штору.
«То
шится
она до
растап
боками
мовна
ряй иг
лицо».
—
глянув
пиджа
летом
—
брался
16 А. В

— Молодая учительница-то?

— Молодая... в твоих годах будет, пожалуй, — ответил Рыжков и рассмеялся, от души радуясь, что разгадал мысли жены. — Чего у них с Марусей-то опять получилось? Который уж день у нас не бывает. «Как, спрашивает, поживает Марья Афанасьевна?» — а у самого ажно голос рвется. Зря она откладывает.

— Что же я поделаю, коли она такая поперешная? Нет у нее, стало быть, охоты выходить замуж, я ее и не тороплю. Колабин тоже за ней увивается, и техник один строительный...

— Техники все женатые, — сердито перебил Рыжков. — Это и гадать нечего, у всех дома жены оставлены. Пускай бы шла за горняка — как-то ближе к сердцу. Вот я уже сам с ней поговорю.

— Выдумывай-ка! Мужское ли дело девчонке об замужестве говорить! Постыдился бы...

— Так ведь я же отец!

— Мало ли что! — сказала Акимовна и повернула выключатель: ровный белый свет разлился по комнате. Не мигающая свеча, не лампа-коптилка! Словно всю жизнь повертывала Акимовна такие вот выключатели. Светлые сумерки, голубевшие за окном, сразу потемнели, глянув синевой сквозь переплеты рам. Акимовна задернула занавески в своей и Марусиной комнатах, поправила зацепившуюся за подоконник тюлезую штору.

«Только начали жить по-людски, и опять все нарушится!» — грустно подумала она. Пройдя на кухню, она достала с печки пук занозистых лучин, принялась растапливать плиту. Примус, блестя незахвачанными боками, празднично сиял на полке. Разжигать его Акимовна не любила: «Шумит больно, засорится — ковыряй иголкой. Боязно: неровен час, пыхнет огнем в лицо».

— Опять плиту топишь? — спросил Рыжков, заглянув на кухню уже в кепке и сшитом Акимовной пиджаке. — Зачем же я тебе горелку покупал? Дрова летом экономить надо. Теперь леса отдалели.

— Ладно уж с экономией своей! Далеко ли собрался?

— Хочу в партком сходить! Маруся ежели скоро придет, так с ужином меня не ждите. Я еще в клуб зайду. Может, новостей каких узнаю... Старик Фетистов нынче оконфузил меня насчет политики, спасу нет!

Акимовна приготовила ужин, поставила его в духовку, чтобы не остыл, вымыла руки и прошла в комнату. Ей вдруг захотелось плакать. Теперь, когда Афанасий ушел, ее снова охватило сомнение: а будет ли после перехода его на старание так же хорошо, как сейчас? Впервые за свои пятьдесят лет она жила в настоящей уютной квартире и готовила настоящие обеды, ожидая с работы мужа и дочь. Однако она не ограничивалась только этим, а постепенно обрастала все новыми заботами: доставала у знакомых баб отростки с трудом завезенных комнатных цветов и по нескольку раз в день переставляла с места на место банки со слабыми еще растениями; воевала с курами, совершавшими разбойничьи набеги на огородные грядки, на единственную клумбу с белыми левкоями и золотисто-оранжевыми бархатцами. Недавно хохлатая пестрая курица вывела одиннадцать цыплят, и эти едва оперившиеся пostrелята, к великому сокрушению Акимовны, совсем отвыкшей в тайге от домашней живности, успевали пакостить всюду. Только вышугнет она их из своего огорода, они уже роются в соседском; сбегает туда — глядь, они полезли в помойку, и она поспевает как раз во-время, чтобы вытащить намокшего, жалко цымкающего птенца.

Для порядку она ворчит и ахает, хотя эти новые для нее хлопоты глубоко захватили ее. Но ей все кажется, что она бездельничает, и вот в хозяйстве прибавляется большеухий, длиннорылый поросенок; потом кошка, оставленная уезжающей знакомой; потом Шарик с перебитой лапой, и, наконец, когда рабочий день домохозяйки уплотнен до отказа, Акимовна начинает посещать женские собрания и приносит домой целую кипу какого-то шитья для детских яслей.

В непрестанной милой суетне нашла она свое маленькое счастье доброй жены и матери, и все это пришло вместе с шахтовым производством.

В ней вдруг проснулась старая, давно забытая неприязнь к старательской работе, которую она испытывала в первые годы замужества. Полная тревог и огорчений, встала перед нею прожитая жизнь.

«Всю свою молодость закопал Афоня в эти проклятые ямы. Зачем же еще теперь снова связывается он с этим делом?» Акимовна подумала о том, что старание не принесет им счастья, и ей стало страшно. Найти бы его сейчас и попросить от всего сердца: «Не уходи из шахты, Афоня!» Но разве он послушается? Даже когда она была молодая, ее любовь не смогла отвоевать его у тайги. Сама уступила, сама пошла за ним на лишения. Акимовна вспомнила прошлое, улыбнулась сквозь слезы и, вытерев щеки шершавой ладонью, прошептала грустно:

— Стыдно тебе, Анна Акимовна! По раздумью-то завсегда как по болоту, поколь не выбредешь — зыбко. Пускай делает, как ему по сердцу. Верит, значит будет хорошо.

Она достала с полки тетрадь Афанасия, начала просматривать крупно и коряво исписанные страницы:

«На колхозных полях работают трактора и комбайны».

«Что это еще за комбайны такие?» — подумала она и припухшими от слез глазами прочитала дальше: «Красная Армия стоит на страже мирного труда». Акимовна бережно отвернула следующую страницу. Здесь было очень грязно написано чернилами: от неумелых нажимов перо, поцарапав бумагу, разбрызгало зеленоватые пятна. Сама Анна Акимовна давно уже умела и читать и писать — выучилась от Маруси.

Рыжков спокойно шагал по улице, поглядывая на освещенные окна, в которых маячили неясные тени. Спать на приiske ложились поздно, и сейчас около барачков еще шумел отдыхающий народ. Пилюкали гармошки. Смеялись женщины. Пьяный горланил песню, навалясь на увешанную бельем изгородь. Парочки дви-

гались под руку по обочинам шоссе. Песок хрустел и шуршал под их ногами, и они ворковали сдержанно, как лесные голуби.

«Каждую весну ведут своих любушек ровно слепых! — добродушно отметил Рыжков. — Эх, молодость!»

В долине было темнее и тише, чем на прииске, — там все движение совершалось под землей, но Рыжков хорошо представлял, какая сложная сеть ходов и переходов тянулась там, внизу... Ветер охлаждал его лицо. Звезды стояли над ним, отливая водянисто-прозрачным блеском, точно осколки горного хрусталя. Все принадлежало ему, и он шагал по своей изведанной земле с чувством победителя.

Черепанова в парткоме не оказалось. Кабинет его был закрыт, а в смежной комнате проходили занятия курсов по горному делу. Седоватый инженер, не закончив фразу, строго-вопросительно взглянул на Рыжкова, и тот, смешно приподняв плечи и мягко ступая на носки, заспешил к выходу.

Выйдя, Рыжков остановился в раздумье. Инженер за стеклами окна говорил что-то, округло разводя руками. Слов не слышно, только видно, как шевелятся короткие седоватые усы и дряблые над белоснежным воротничком щеки. Ссутуленные спины слушателей выражали напряженное внимание. Женщина в темном халате и красном платочке распахнула крайнее окно и начала трясти скатерть, тихо всхлопывая мягкую ткань. Ее появление спугнуло Рыжкова, и он отошел, раздумывая, почему бы ему не зайти на квартиру Черепанова. Парень свой, приисковый, с народом обращается просто. Кроме того, он принимал когда-то участие в делах артели «Труд», и Афанасий Рыжков считал его чуть ли не сотоварищем в переживании прошлых трудностей.

Рыжков решительно свернул с шоссе и пошел по тропинке в сторону общежития служащих. Спросив уборщицу в коридоре, он сразу отыскал по номеру нужную дверь и, не постучав, вошел.

То, что он увидел, смутило его, он даже крикнул от удивления. Раскосмаченный Черепанов стоял посреди

комнаты в глубокомысленной позе, а на столе виднелась недопитая бутылка, красные маринованные помидоры и селедка с зеленым луком.

«Зашибать стал! Вот беда! — огорченно подумал Рыжков и побагровел за свое непрошенное вторжение. — Партийный человек, нехорошо, неприятно ему будет, что его так застали».

Черепанов вздрогнул от неожиданности, повернулся и сказал, ясно выговаривая слова:

— Здравствуй, Лаврентийч! Как это ты надумал?

Но Рыжков, избегая его взгляда, торопливо насунил кепку на самые глаза, быстро шагнул к двери:

— Ладно уж... Я завтра утречком после смены зайду в партком. Извиняйте... нечаянно зашел.

— Как это нечаянно? — удивился Черепанов и вдруг догадался о причине бегства Рыжкова. Теперь покраснел он сам, и пятна загара на его лице сделались бурыми. — Вот это действительно, вывел ты меня на свежую воду! Теперь придется прослыть пьяницей. Нет, я знаю, что ты никому не скажешь! — добавил он, заметив, как обиженно дрогнули брови Рыжкова. — Ты ведь из тех, которые привыкли обо всем помалкивать. Ишь ты, какой пряткий: выглядел — и сразу наутек! Моя, мол, хата с краю! Нехорошо так, Лаврентийч! — Черепанов схватил старателя под локоть, потащил к столу. — Вот, смотри.

С большого листа бумаги глянуло на Рыжкова лицо Надежды. Черты его были еще неопределенны, но глаза так и светились упреком и страданием.

Рыжков посмотрел, нерешительно сказал, пощипывая себя за мочку уха:

— Похоже ведь...

— Хочется мне нарисовать ее такой, как она была... да все не выходит. Не могу смириться: на людях ведь погибла! Видели, как он пришел, как бить ее стал, и никто не вмешался во-время, не отогнал зверя... — Крохотный живчик беспокойно задергался под глазом Черепанова, и он умолк, тяжело и часто дыша.

— Верно! — с горечью подтвердил Рыжков. — Побоялись, стало быть!

— Нет, не то, Лаврентыч! После-то взяли же его... А ты помнишь, когда паводок был и все мы работали... одним дышали... Кто тогда о себе думал? Кого бы побоялись? Или ударников наших возьми. На работе — настоящие большие люди, а семья... Вот тут еще не дошло... Тут еще много надо, — с этими словами Черепанов прошел по комнате. Черные глаза его лихорадочно блестя. — Заглянул я на днях к одному ударнику, а он пьяный. В квартире беспорядок, жена разлохмаченная, на лице у нее синячище! Ну, взял я его под грудки, потрянул и говорю: «Что же ты, сукин сын, вытворяешь? Я тебя привлеку за это!» Он молчит, сопит, а жена в слезы: «Брось ты его, говорит, муж ведь он мне! Как-нибудь помиримся!»

Черепанов взглянул на Рыжкова и спохватился.

— Что же ты стоишь? Садись, рассказывай. Угощайся помидорами. Только водки нет. В бутылке — уксус. Нюхай, — Черепанов сунул бутылку горлышком к носу Афанасия, и тот нюхнул во избежание всяких сомнений. — Проезжал по приискам, опоздал к ужину, вот мне наша уборщица и принесла всякой чепухи. Вечер у меня сегодня свободный, начал рисовать, да не выходит... А ты и нагрязнул!

Черепанов достал из ящика стола большую папку, развязал. Рыжков с любопытством начал разглядывать рисунки. Старатели суетились около бутары. Смеющийся китаец, обнаженный до пояса, с рожками платка над бритым лбом, стоял, держа пустую тачку, и Рыжков тоже невольно улыбнулся, глянув на его выпуклые зубы. Цветы, опять старатели на отдыхе, приисковые виды, щенок, зевающий на стуле, и просто отдельные предметы, схваченные с большой живостью.

Поощренный доверчивостью хозяина, Рыжков потер о шаровары пальцы и сам вытащил несколько рисунков.

Черепанов, несколько отстранясь, сидел напротив, спокойно предоставляя Рыжкову любоваться своим искусством. Черные глаза его были смягчены выражением затаенной грусти.

Рыжков разворошил всю кипу, нашел еще несколь-

ко набро
подумал
хотостя
стенам
ги и на
ками бу
нате чел
над кни

— А
сказал
но на с

— Д

Рыж

взгляну

— З

салинск

Клондай

Кабы я

ше в тр

на Клон

году пр

ходил я

не могу

ные шу

его сей

нападае

мородк

Тут Ры

зять ил

лянку,

лей ра

мы теп

ся бы

началь

механи

ра наз

дело.

Чер

молча

ко набросков с Надежды. «Сильно тоскует о ней!» — подумал он о Черепанове и оглянул скромную его холостяцкую квартиру. Все прибрано. Чистенько. По стенам полки, уставленные тесными рядами книг. Книжки и на столе, одни открытые, другие с белыми хвостиком бумажных закладок: сразу видно, живет в комнате человек, много читающий и любящий подумывать над книгой.

— А ведь я к тебе, Мирон Устиныч, по делу, — сказал Рыжков, спохватившись. — Хочу ведь я обратно на старание.

— Да ну? Что так?

Рыжков смутился немножко, но в глаза Черепанова взглянул прямо.

— Знаешь россыпь, что открыли старатели на орто-салинской террасе повыше Орочена? Хорошее золото... Клондайком ее, эту россыпь, назвали. Обидно мне... Кабы я весной на шахту не пошел, кабы не увяз раньше в трудовой артели, был бы сам первооткрывателем на Клондайке. Я ведь эту терраску еще в позапрошлом году приметил. На днях начнут там деланки нарезать; ходил я туда нынче раз пять и уж которую ночь спать не могу. Ельничек там поломанный, старые разведочные шурфы... Прикипела у меня душа к золоту. Я бы его сейчас прямо пудами намывал. Такая жадность нападает, спасу нет! Веришь — нет, сплю и во сне самородки собираю. Для себя мне крупинки не надо... — Тут Рыжков вспомнил о Потатеве и запнулся: «Сказать или нет?», но смолчал. — Хочу я перейти на деланку, — продолжал он горячо, — и научить старателей работать с подкалкой. Вот, скажем, работали бы мы теперь такой же артелью, как трудовая, и получился бы большой толк. Я завтра буду говорить со своим начальством, чтобы организовать большую артель с механизацией. А они ладят меня в сменные мастера назначить, так уж ты, пожалуйста, вступишь в это дело.

Черепанов, не спуская с него пытливого взгляда, молча кивнул головой.

Полная женщина с открытой грудью, с двумя подбородками над ниткой сверкающих камней лукаво играла заплывшими, но все еще огневыми глазами. Пела она залихватские волжские частушки, поводя плечом и слегка подбоченясь, отчего черное шелковое платье сильнее обтягивало ее стареющее тело. Человек у пианино тоже был в черном.

— Видать, добрая штука была... артистка-то! — тихонько шепнул Егор, взглянув на Марусю. Теперь ее гордо приподнятый носик уже не смущал его, и, глядя на ее гладкий под светлыми волосами лоб, на внимательно обращенное к сцене лицо, он вспомнил, как обрадовалась она вчера его приходу. Он не был у них после своего неудачного сватовства недели три и когда явился снова, она так растерялась, что не смогла скрыть волнения.

Потревоженная шепотом Егора, Маруся повернула голову и, не отвечая, слегка улыбнулась ему, чуть полуоткрыв пухлые, яркие губы. Столько понимания и ободряющей нежности было заключено в этой улыбке, что у Егора перехватило дыхание. Он наклонился, коснулся ее плеча и, чувствуя, что она не отодвигается от него, близко заглянул ей в глаза. Она ответила той же новой, милой улыбкой и доверчиво положила свою теплую руку в его широкую ладонь...

После концерта Егор проводил Марусю до дому, а потом долго шлялся по светлой дороге, и длинная тень его быстро шла перед ним, когда он подходил к Марусиному дому, словно спешила опередить его, и медленно тащилась сзади, в другую сторону, откуда глядела луна. Камни, приваленные к обочинам, влажно отсвечивали, а в канавах, заросших травой, лежала густая тень, окаймляя шоссе двумя черными полосами. Егор перепрыгнул через канаву и пошел прямо по траве, серебряной от росы.

Он видел, как двигалась тень Маруси по освещенному изнутри полотну занавески, видел, как поднимала она руки, выбирая из волос шпильки. Погас в ее окне свет. Затихали голоса последних гуляк, а он все про-

должал ходить, пока побледневшая луна не скрылась за неровными вершинами гор. Звезды таяли и исчезали в нежной сиреневости неба, и только на западе, напротив малиновой полосы зари, долго еще блистала одинокая крупная звезда.

Табуны серых облаков мчались над горами к востоку. Лужи блестели повсюду после ночного ливня, и светлые капли дождя еще лежали на листьях придорожной травы. Изредка с кустарника с унылым писком вспархивали намокшие пичужки. Порывами, словно пробуя свою силу, налетал холодный ветер.

Глинистая грязь чавкала под копытами лошади. Потатув вяло покачивался в седле, досадливо хмурился, поглядывая по сторонам. Он возвращался домой с дальнего прииска.

«Как наладить отношения с Рыжковым?» — размышлял он, ощущая странную сосущую пустоту под ложечкой. Это не было чувство голода. Противное, вызывающее тошноту ощущение возникало у Потатова всякий раз, когда он думал о своем спрятанном золоте и о Рыжкове. Возрастающая активность старого таежника пугала его. «Денег ему дать?.. Не возьмет, пожалуй. Как он тогда окрысился на меня! Не любит, за Пролетарку злится». Мысли у Потатова были серые, смятые, как бегущие над ним облака.

«Сидел бы сейчас в уютной комнате. Попивал бы кофе с сливками», — подумал Потатув, вспомнил молочно-белые руки Надежды и вздохнул.

«Пропала баба ни за что. Другая на ее месте все сумела бы угодить — и мужу и начальству». Лицо Потатова стало совсем мрачным. Он не боялся смерти: «Всему на свете конец приходит. От смерти ни крепостом, ни пестом не отмашешься», — говаривал он, повторяя слова своего отца. Но Потатуву казалось обидным умереть, не испытав того, что предназначено ему в жизни. А он уверен был, что предназначено ему многое. Для чего же, спрашивается, он трудился, хлопотал, копил? Особенно беспокоили его полтора пуда

золота, скупленного у старателей, вышедших с Алдана на Невер во времена золотой лихорадки, и спрятанного в тайничке в Киренске. Сможет ли он когда-нибудь пустить его в ход?

Мысли Потатueva снова вернулись к Рыжкову. Беспокойство и ненависть охватывали его. Он подхлестнул лошадь уздечкой, сердито прищипорил ее круглые бока каблуками сапог.

На конном дворе он сдал лошадь конюху, потом заглянул в шорную и выругал шорника за лопнувший в пути ремень стремени.

Шорник, чернявый и мелколицый, с кудрявыми штопорами волос, спадавшими на самые брови, ответил с улыбкой:

— Вы, товарищ Потатусев, любую стремя порвете. Грузный вы очень.

— А я тебе наказывал: изготовь мое седло так, чтобы на сто лет хватило. Завесил глаза, как худая бабенка, не смотришь ими. Во мне не десять пудов, вес для моего роста и возраста нормальный, а ты скажи, зачем тебе понадобилось узоры на ремне накалывать?

Потатусев сердито повернулся и, не слушая, что там еще говорил шорник, пошел к дверям.

В углу шорной, возле дверей, стояла деревянная койка с лоскутным одеялом, со многими подушками в пестрых наволочках; на койке, накрывшись ватным пиджаком, спал конюх, ноги он подкорчил по-особенному уютно. Потатусев посмотрел на спящего конюха, на дождь, сеющий за окном, и сразу почувствовал зябкую дрожь и усталость.

«Промерз», — решил он и, выйдя на улицу, пошел не в контору, а к себе домой.

Дома было сыро и неуютно. Потатусев принес из сарайчика охапку дров, растопил плиту и долго стоял у обогревателя, прижав ладонь к чуть теплым кирпичам.

Уборщица принесла свежие газеты, он грубовато выпроводил ее, велел передать в конторе, что ему нездоровится. Она ушла, подрагивая бедрами. Потатусев переоделся и присел к жаркой плите. Равнодушно

прочитал он заголовки статей на первой странице «Алданского рабочего», посмотрел на обороте, и сивые усы его дрогнули: «В бригаде ударника Рыжкова».

«Может, однофамилец», — успокаивая себя, подумал Потатуев и начал читать. Речь шла именно об ороченском Афанасии Лаврентьевиче Рыжкове. Какой-то рабкор бойко расхваливал организатора бригады. Он сообщал, что Рыжков является активистом: ликвидирует неграмотность, выписывает газету, первым в бригаде погасил подписку на заем.

«Активничает, бородатая каналья!» — зло подумал Потатуев. Руки у него затряслись. Он медленно смял газету, рванул ее, потом закрыл глаза и откинулся на спинку грубо сделанного стула. Синеватая бледность разлилась по его лицу. Он похудел и обрюзг за последнее время и сейчас казался совсем старым.

Потатуев встал и заходил по комнате. Его знобило... Он подошел к деревянному шкафчику, налил стакан водки, всыпал туда перцу, размешал, посмотрел на свет, как крутились взбаламученные перчинки, добавил туда же ложку горчицы, помешал еще и выпил. Сначала у него перехватило дыхание, потом он погладил себя по животу и крикнул.

— На доброе здоровье, — тихо сказали от двери. Потатуев быстро оглянулся. У порога, как нищий, стоял Быков, держа в руках снятую кепку.

Потатуев кивнул ему и вцепился зубами в кусок ветчины. От выпитой водки тепло разлилось по всему телу. Он подмигнул Быкову, пошел к нему, громко прожевывая закуску.

— Чего опять притащился?

— Видел, как вы домой прошли, а мне позарез нужно.

— Что так приспичило?

— Сняли меня с кузницы, — негромко и виновато сказал Быков.

Потатуев дрогнул щетинистой бровью.

— Как же это ты?..

— Заметили, стало быть, — буркнул Быков.

Потатуев покраснел от гнева.

— Сняли... Сняли! Какого же ты черта ходишь ко

мне среди белого дня? Ты и под меня мину подведешь! А я тебе что говорил, когда записку давал? Эх, ты!

— Ничего не поделаешь, Петр Петрович, — примирительно сказал Быков. — Спасибо и на том, что дело без суда обходится.

— А наработал так, что и судить могли?

— Могли бы.

— Ну и дурак! — вскричал Потатувев сердито и насмешливо. — Рассказывай, да скорее.

— Понапрасну вы боитесь, Петр Петрович. Никто не заподозрит, что я к вам зашел. Старатель, да и все. А в кузнице так вышло... — Быков почесал давно не бритую щеку, замялся, но, вынужденный быть откровенным, продолжал: — Вышло так, что ударников мы одно время стали хорошим инструментом обеспечивать. Немножко поуспокоились они. Мы тогда ухитрились... сделали запасец поплотнее. Я двух рабочих для этого завербовал с лесоспуска. Когда началась показательная канитель со спаренными забоями, стали они подмену производить. Осмотрит забойщик инструмент в начале смены, а потом пенять не на кого. Ладно все было... А на днях всыпался один... на третьей шахте. Спасибо, не все выболтал! — Быков помолчал. Одним косящим глазом посмотрел на Потатувева. — Что мне теперь делать?

— Иди на старание, — глухо сказал Потатувев. Он сидел у плиты, веки прищурены, руки сложены на животе, пальцы в пальцы. Казалось, он дремал, но глаза его из-под набрякших век блестели ярко. — На шахте от тебя сейчас толку мало, следить будут, — небрежно заметил он и умолк. Быков, выжидая, сл его глазами. Сивые усы Потатувева шевельнулись было и снова обвисли. — Рыжкова ты знаешь? — спросил он твердым голосом, неожиданно вскидывая на Быкова быстрый взгляд.

— Нет... то есть близко, конечно, не знаю. А так, вообще, знаю. Как же не знать? Старый таежник.

— Таежник! — повторил Потатувев и тяжело вздохнул. — Нет уж тайги вольной! Мелкий народ пошел.

Со своими собраниями забрехались совсем! Так бы и поожрали друг дружку! Доносчик на доносчике сидит! — В глазах у Потатоева металась тоска. Он подошел к Быкову, тронул его за рукав и сказал властно: — Иди к старику и просись к нему в артель. Похвали его, он это любит. Понимаешь?

— Понимаю... немножко.

— А ты как следует понимай, — укоризненно и наставительно сказал Потатоев. — Я ведь не просто так тебя посылаю. Надо его убрать потихоньку.

Быков смутился.

— Рыжкова, что ли?

— Ну да... Кого же еще? — в голосе Потатоева прозвучало нетерпение.

— Что же, мы не напротив, — глуповато от неожиданности сказал Быков. — Можно будет... Только как это устроить половчее? Они с динамитом работают?

— С динамитом редко, только большие валуны подрывают.

Быков сморщил плоский клиноватый лоб. Посоображал.

— Как начнут работать с динамитом, суну ему патрон в забой после взрыва. Станет окайливать породу — и того... Или можно стояки подсечь — этак незаметно подкайлю... Ребята как-то рассказывали... Здорово это получается.

— А горные работы хорошо знаешь?

— Не особо важно.

— Тогда про стояки забудь. Сдуру попадешь под обвал сам, а другие останутся. Уж лучше патрон. Самое надежное средство, и подозрения не будет, если до этого отпалку делали. Может, он — патрончик-то этот — от взрыва уцелел. С умом дело проведешь, потом не пожалеешь. Иди, действуй. Только старайся от меня держаться подальше.

Потатоев прикрыл за Быковым дверь на крючок, постоял в раздумье, истово перекрестился и пошел в спальню.

У шахтеров незаметно вошло в обычай собираться в раскомандировочной за час до смены.

Здесь они узнавали самые свежие новости, обсуждали изменения в забойной технике и работу отдельных звеньев.

Егору нравились эти шумные сборища. Недавно его смена с первой Ороченской шахты была переведена на богатый прииск Средний, расположенный тоже на Ортосале, между Ороченом и Незаметным. Он еще не обжился на новом месте, скучал по Марусе и все свободное время проводил возле шахты. «Вроде клуба получается, — думал он, сидя на подоконнике. — Хорошо, когда много дружного народа!»

Сегодня он выходил в первый раз на три забоя.

Мишка Никитин подоткнул за голенище резинового сапога вылезавшую штанину случайно кем-то подменной спецовки, критически огляделся и спросил:

— Если у тебя в спаренном отходило до семи тридцать на рыло, так неужели еще больше можно подать?

— Подадим, — сказал Егор, наблюдая за Мишкиными стараниями примирить короткие не по росту штанины с низкими сапогами.

— Как ты можешь хвалиться заранее? — сказал чернобородый Григорий и протискался поближе, по-сверкивая одиноким глазом.

— Это не похвальба, а расчет. Через полмесяца я перейду на четыре забоя, а потом на пять.

— Ты что, обалдел? — спросил Григорий удивленно и серьезно.

Егор засмеялся.

— Все дело в том, чтобы создали условия. В этом отношении можно многое улучшить. Вот, например, смотритель надзирает, как бы я не похитил золото, а совсем не смотрит за тем, как лучше использовать людей. Раскомандировку мы получаем по порядку номеров, и верховые получают назначение в последнюю очередь. А от них зависит вся подготовка забоя. Так ведь? Я хочу на первом же совещании внести предложение... Пускай сменный мастер учитывает квалифика-

цию каждого человека, чтобы расстановка рабочих была правильная. Пускай подсобные получают раско-мандировки в первую очередь, и тогда нам, забойщи-кам, будет легче работать.

Забойщик Точильщиков, склонив набок круглую, словно обточенный голыш, голову, слушал Егора вни-мательно. Прижмутив глаз от едкого дыма папироски, он стоял, руки в карманы, важный и неподвижный. В прошлом году он, как бодайбинец, считался опыт-ным, а нынче ему приходилось переучиваться у моло-дого Егора.

Егор спустился в шахту за пятнадцать минут до смены. Он осмотрел, в каком состоянии находятся от-веденные ему забои, и проверил качество инструмента. Шесть его откатчиков явились без опоздания, как один. Он начал подкалку в первом забое.

Хронометражистка ссутулилась над тетрадкой в стороне. Тачка нагружается в пятьдесят секунд. Тем-ной птицей несется по узкому коридору откатчик. От-катчиков шесть человек, движения их быстры и разма-шисты. Егор один — кажется, ему не успеть за ними, но он работает по-новому. Он движется в забое спо-койно, удар его кайла легок и скуп. За этой легкостью строгий расчет. Внимателен прищур глаза, твердо сжа-ты губы. Ударить слегка, но там, где нужно. Куча на-кайленной породы все растет.

— Вася! — негромко говорит Егор, и подается стойка. За две минуты завешивается огниво... другое. Кивок головы: — Давай! — и острая скоба впивается в дерево. Труд, бодрый и вдохновенный, тяжелый труд шахтера, превращенный в творчество, захватывает лю-дей целиком. То время, когда один и две десятых кубо-метра считались лучшими показателями, кажется им всем глубокой древностью.

Егор завешивает третье огниво и идет во второй за-бой. Три огнива были пределом рабочего дня несколь-ко месяцев тому назад, а сейчас это сделано в начале смены. Над бровями Егора капельки пота. Он стирает их тылом ладони и начинает подкалку второго забоя, потом переходит в следующий. Когда он возвращается в первый забой, вид у него совсем свежий. Восемь ог-

нив в трех забоях завешено в тридцать шесть минут. Теперь Егор разрешает себе перекинуться парой шутливых слов с товарищами и снова берется за кайло.

А наверху, в раскомандировочной, шумно. Собралась вечерняя смена. Пришли и те, кто работал в утренней. Ожидали приезда с Незаметного представителя обкома союза горняков и райкома партии.

Больше всех шумел и сустился кривой Григорий. Он принимал участие в соревновании с таким же увлечением, с каким раньше искал золото, и каждый день ругался из-за этого с Катериной, никак не понимавшей его делового азарта. Впрочем, Катерина, сама внушившая мужу мысль о переходе на хозяйские, тоже была очень занята. Водкой она уже не торговала. Веселый шинок ее на Пролетарке давно растащили на дрова. Поселившись на Среднем, она усиленно наряжалась, «наводила красоту» и гуляла вечерами по шоссе с молодыми забойщиками.

«Остатнюю дурь вытряхивает», — решил Григорий и по выходным дням почти не заглядывал домой, околачиваясь то в доме ударников, то возле шахты.

Молоденький откатчик пощипал светлый пух первых усов, вытер широкой ладонью мальчишески румяные губы и сказал озабоченно:

— А ну как выдаст Егор меньше, чем в двух забоях?

— Не может быть! — возразил Григорий.

— Почему не может быть? Без привычки очень просто какая-нибудь заминка выйдет.

— Да ведь уже известно по хронометражу, что за первую половину смены он дал больше, чем вчера.

К разговору пристало еще несколько человек.

— Слыхать, раньше всю Ортосалу прочили под дражный полигон. Вот дали бы маху! Драги прошли бы по верху, а золото внизу осталось.

— На наше счастье успели только одну поставить.

— И та несколько раз тонула. А то вовсе бы площадь испортила.

— Пускай теперь после нас по отработкам идет.

На к
сдержан
рок закр
— Пр
Близк
выстрели
— В
— До
Шахт
покойно-н
горле две
толкалис
ши, неук
сапогах.
ние? И
подзатыл
тесные гр
не поздор
Возле
тущей то
ченские
Фун-чи,
разве он
своего п
улыбкой.
Егору Не
профсоюз
ся от гос
дующим
ся духов
гибах тр
этого осл
Над
копра с
голубело
шахтерон
боток, р
будто зе
и вид л
лоте.
Все
17 А. Кош

На крыльце и у открытой двери затопали ногами, сдержанный шум голосов усилился, и задорный тено-рок закричал мальчишески звонко:

— Приехали! На двух машинах!

Близко слышались гудки автомобилей, потом выстрелила лопнувшая шина.

— В аккурат довез!

— Догнал до отказа!

Шахтерские шляпы и спецовки слились в один бес-покойно-веселый поток, замедляющий течение в узком горле двери, где все теснились, торопясь выйти. Шутя, толкались на ступеньках крыльца мускулистые крепы-ши, неуклюжие в своей грубой одежде и резиновых сапогах. Почему не поиграть, когда хорошее настрое-ние? И они «играли», поддавая друг другу ядреные подзатыльники, сшибались плечами, таранили спинами тесные группы. Слабенькому человеку от таких шуток не поздоровилось бы.

Возле высокого шахтового копра окруженные рас-тущей толпой стояли приезжие с Незаметного и оро-ченские ответственные работники. Смуглое лицо Ли Фун-чи, который чувствовал и себя именинником — разве он не подхватил один из первых начинания своего приискового ударника? — цвело сдержанной улыбкой. Но он заметно волновался, желая триумфа Егору Нестерову, а через него и своему прииску и профсоюзному комитету, и потому то и дело отвлекал-ся от гостей и шептался то с Черепановым, то с заве-дующим шахтой или инженером. Тут же пристраивал-ся духовой оркестр клуба. Солнце сияло в светлых из-гибах труб, и стоявшие вблизи люди морщились от этого ослепительного блеска.

Над отвалами кулибины, над бревенчатой вышкой копра с красным флажком, всхлопывающим на ветру, голубело августовское небо. Желто-серый цвет одежды шахтеров, почти сливаясь с цветом приисковых отра-боток, роднил их с окружающей обстановкой. Как будто земля отмечала тех, кто спускался в ее недра, и вид любого из них сразу напоминал о заботах и зо-лоте.

Все рабочие интересовались предстоящей встречей,

большинство радовалось. Было шумно, потом кто-то крикнул:

— Идут!

Все притихли, и в настороженной тишине послышался глухой топот шагов и голоса выходящей смены. А цифра уже обгоняла их, передаваясь от одного к другому среди ожидающих:

— Девять и шесть десятых кубометра на человека.

— Девять и шесть за смену!

— Девять и шесть!..

Все почтительно расступились, давая дорогу, и самые отсталые звенья смены выходили с таким самодовольным видом, словно и они участвовали в триумфе своего Нестерова.

— Идут!

— Идет!

— Ура Нестерову!

— Егору Не-естерову!

Широкие горла труб уставились навстречу героям дня и громом туша и солнечными отблесками приветствовали группу шахтеров, усталых и улыбающихся. Щурясь от света, медленно выходили они из шахтовой двери.

Нестерову и его звену передают цветы, произносят речи. Он снимает шахтерку и, вихрастый, сероглазый, отвечает на приветствия. Солнце смуглит его большой открытый лоб, и он щурится, улыбаясь чуть смущенной улыбкой. Говорит громко. Его слушают. Ему весело подмигивают. Показывают руку с оттопыренным большим пальцем: «Во, дескать, молодец!»

Улыбка Егора становится шире. Он рад общему сочувствию. Когда он умолкает, опять, как взрыв, раздается шум голосов. Гремит музыка. Взлетают над толпой шляпы и кепки. Перекрывая весь шум и гвалт, взвывается давешний задорный теноришко:

— Молодец, Егорка! Не подкача-ал! Ура-а!

— Ура! — подхватывают остальные и долго смеются, торопливо стуча сапогами по лестницам, унося в подземные просечки воспоминания о вихрастом молодце Егорке и его товарищах.

Посл
щении
много
но не то
ждет».

Егор
точно б
астр, ле
и общим
который

Было
построй
Везде в
зовики
хучие б
смотрел
крышу.

— С
голос.

Егор
увидел

— Т
— Д

Егор

гладко
было) и

шляпы,
в ворох

шевелил

— Ч
букет. —

— С
Егор. —

на брата

— Д
стов. —

спросил
букет, л

сом, пон

17*

После митинга Егор не нашел Мишку в помещении раскомандировочной. Удивленный и даже немножко обиженный поспешным его уходом, он нарочно не торопился домой. «Пускай теперь меня подождет».

Егор медленно шел по прииску, держа подмышкой, точно банный веник, огромный букет из махровых астр, левкоев и георгин. Он был доволен удачным днем и общим одобрением и даже этим неудобным букетом, который очень стеснял его.

Было часов семь вечера. Светло желтели новые постройки прииска, широко раскинутого по долине. Везде виднелись груды еще не убранной щепы, а грузовики и тракторы все подвозили свежеспиленные пахучие бревна. Егор остановился против клуба и засмотрелся, как скоро и ловко докрывали плотники крышу.

— Сменился, Егор? — окликнул его знакомый голос.

Егор поискал взглядом и в проеме высокого окна увидел маленькую головку Фетистова.

— Ты чего там?

— Да вот... работаю.

Егор поднялся вверх по качающейся доске, сел на гладко оструганный подоконник (рам в окнах еще не было) и, свесив ноги, посмотрел на столяра. Тот, без шляпы, в брезентовом переднике, топтался у верстака в ворохе стружек. Свободно гулявший по клубу ветер шевелил его реденькие седые волосы.

— Чего это? — спросил он парня, подмигивая на букет. — Или поднести хочешь?

— Самому поднесли, — не без гордости ответил Егор. — Мы сегодня без малого по десять кубометров на брата подали.

— Да ну? — испуганно и весело вскричал Фетистов. — Может, тебе грунт с пустотой попадал? — спросил он и, отложив рубанок, подошел к Егору, взял букет, лежавший у него на коленях, приложился носом, понюхал. — Обожаю цветки, ароматы душистые.

Бывало в Малом театре бенефис чей-нибудь... натащут букетов — убиться можно! Розы там всякие, эти самые, как их... горденции... От запаха не продохнешь. Кайлом работал? — спросил он, прерывая свои воспоминания.

— А то чем еще? Так же, как все.

— Скажет: «как все»! Кто цветы-то подносил?

— Встреча была. С Незаметного приехали и наши.

— С музыкой?

— С музыкой, — ответил Егор, и неудержимая улыбка появилась на его губах.

Фетистов легко вздохнул.

— Похлеще артиста чествуют. Теперь Марусенька твоя тоже возгордится.

Возле дома ударника Егор встретил Мишку. Никитин в темносером шевиотовом костюме и при галстуке выглядел франтом.

— Куда ты вырядился? — спросил Егор. — Быстренько собрался!

Никитин лукаво сощурил тяжелые веки, тонкие лучики морщинок легли на его висках.

— Я начинаю определяться. Знаешь Нюсю... работает мотористкой на второй шахте? Еще у нас на Орочене бадейщицей была. Помнишь? Эх, ты! У тебя память на девок словно у столетнего старика. Ну, да потом поговорим. Ты не обижайся, что я тебя с собой не зову... Сам понимаешь!

Никитин улыбнулся и пошел, пошевеливая на ходу широкими плечами; сипловатым тенорком негромко запел:

И за милого, за кирпичики
Полюбила я этот завод...

Но вдруг он круто повернул обратно и посвистел. Егор обернулся с крыльца. Мишка медленно возвращался, точно напоказ переступая новыми ботинками. Выражение лица его было уже не озорное, а мучительно-напряженное, даже как будто виноватое.

Положив руки в карманы, слегка качнувшись всем телом с пятки на носок, он посмотрел на приятеля и сел прямо на ступеньку.

— Ну? — нетерпеливо спросил Егор, прислонясь к перилам.

— Хочу проситься в партию! — сказал Мишка. — Как ты думаешь?

— Проси, чтобы приняли.

— Боязно!

— Чего боязно?

— А если не примут? Один раз исключили, да еще теперь откажут — срамota получится. Может, мне сперва жениться? Ты не смейся... Меня ведь крыли по бытовой линии, в остальном я за собой ничего плохого не знаю. — Мишка помолчал, искоса зорко взглянул на Егора и продолжал серьезно: — Пил? Верно, пил. За бабами бегал? Бегал, не отрицаю. А теперь хочу решительно сократить по этой части. Сократился уже...

— Поговори с Черепановым, — уже задумчиво сказал Егор, сочувствуя Мишкиной идее, но не веря в ее осуществление. — Заслужить надо. Работать покрепче, активистом настоящим сделаться.

— А ты?

— Чего я?

— Давай вместе!

— Нет, я еще не годный...

— Почему?

— Да так, чувствую, чего-то у меня еще не хватает. Это ведь не просто — пошел да записался...

— Ну, ладно, — сказал Мишка, встал и отряхнулся. — Я и вправду поговорю с Мироном Устинычем. Пускай посоветует.

Егор долго смотрел вслед товарищу. Вот он идет, ударник Мишка Никитин, и невольная улыбка пробивается у тех, кто знал его года два назад беззаботным гулякой-старателем.

Теперь его по виду и не отличишь от какого-нибудь техника, а давно ли, увидев прилично одетого служащего, он говорил, сплевывая: «Гляди, Егорка, лягавый!»

«А теперь сам галстук нацепил! Ишь, вышагивает!» — с грустной нежностью думал Егор. Он очень привык к Никитину за это время. Почему ему стало

грустно, он не знал, но, не торопясь сдать в сушилку уборщице свою спецовку, все стоял на крыльце, занятый новыми мыслями.

«До чего же еще низкое понятие у нашего брата! Боимся мы одеваться по-человечески! Галстук кто наденет — так целое событие. Шляпы у нас носят лишь китайцы да старатели. По нашей моде шляпа только к широким шароварам идет. Деньги копить тоже не умеем: что ни заработаем, либо пропьем, либо в карты проиграем».

Егор сходил в душевую, умылся и надевал в своей комнате чистую рубашку, когда в дверь постучали.

— К телефону!

— Откуда? — спросил удивленный Егор и без пояса, босиком опять вышел в коридор.

— С Орочена, девочка какая-то, — с хитрой усмешкой сказал Точильщиков, тяжело ступая впереди.

В красном уголке, возле стола с газетами и шахматами, висел телефон. Неловко взяв трубку, Егор приложил ее к уху и замер, поглядывая на таинственную разговорную коробку.

Точильщиков, подсевший было к шашечной доске, за которой его ожидал партнер, удивленно оглянулся на Егора.

— Не так держишь. Другим концом к уху! Да сначала повесь и позвони. Вот так, — он позвонил сам и, округлив бледноглубые глаза, заорал в трубку: — Але! Але! Орочен? Подстанция? Соедините обратно с Ороченом. Отбою еще не было, а вы разъединяете! Але! Это Орочен? Вы спрашивали Нестерова? Давайте говорите! — и Точильщиков передал трубку, добродушно похлопав Егора по спине. — С милашками вашими партию никак не доиграем: звонят и звонят! Вот здесь прижми пальцем, а то ничего не услышишь.

— Это я... — нерешительно сказал Егор и насторожился. Где-то далеко зазвенел милый знакомый голос. Что говорила Маруся, он от волнения не мог разобрать и только крепко прижимал к уху телефонную трубку. У него даже пальцы побелели от напряжения.

— Эка ухватился! — заметил снова, не вытерпев,

Точильщиков. — Да ты скажи ей хоть что-нибудь. Чего молчишь, как зарезанный? Скажи, слушаю, мол.

Егор посмотрел на него сердито, но в трубку сказал:

— Я слушаю, Маруся! — и тогда ясно, совсем близко услышал ее голос:

— А я думала, ты уже ушел. Слушай, Нестеров, я тебе в третий раз уже повторяю — приезжай к нам в выходной. У нас будет гулянье.

— Обязательно приеду! — пообещал обрадованный Егор. Он поглядел на пальцы своих босых ног, выглядывающие из-под наглаженных брюк, тихонько сказал: — Соскучился я. — И еще он добавил, смущенный, хотя шахматисты не обращали на него внимания: — Сегодня мы работали в трех забоях... Подали по девять и шесть... Ты слушаешь, Маруся?

— Ну конечно! Ты молодец, Егорик! Ты даже не представляешь, как я горжусь тобой, и... я очень рада. И... я очень буду ждать тебя.

И вдруг другой женский голос, резкий, сухой, спросил:

— Кончили? — затем в трубке что-то треснуло и наступила тишина.

— Маруся? — спросил Егор, подождав, но она не ответила, а в телефоне разом заговорило несколько далеких и близких мужских голосов. Осторожно повесив трубку, Егор пошел к себе, тихо ступая по прохладным, чисто вымытым половицам.

«Я буду ждать тебя! Я очень буду ждать тебя...» — шептал он, слепо идя по коридору. «Егорик». Неужели это она так смешно и хорошо назвала его?

Маруся в легком платье из цветистого маркизета то и дело выбегала на крылечко и, ожидая Егора, смотрела на изгибы шоссе. Он подошел незаметно с другой стороны и залюбовался, наблюдая, как стояла она, такая стройная, держа руку щитком над глазами. В огородиках никла подсыхающая ботва картофеля

и цепкие ветки китайской фасоли. Пахло шафраном. Окна бараков были открыты. Куры вяло рылись в мягкой земле у завалины.

— Маруся! — окликнул Егор.

Девушка обернулась стремительно, не скрывая радости:

— Ну, вот! Явился! — воскликнула она, обжигая его блеском карих глаз и улыбкой. Лицо ее, обрамленное светящимися на солнце волосами, зарделось ярким румянцем. — Пришел! Пришел! — повторяла она весело, не отнимая рук из ладоней Егора.

— А мы уж заждались. Где, мол, наш сокол замешкался? Все глаза проглядели! — сказала Акимовна, одетая в синюю сбористую юбку и сиреневую поплиновую кофточку. — Пошли, старик! — заторопила она Рыжкова. — Бери корзину-то!

Она замкнула дверь и поспешно догнала Рыжкова. Егор и Маруся пошли следом.

Трава у придорожных канав уже начинала желтеть. В зарослях кустарника красновато курчавились листья, сожженные первыми утренниками. Просторно-широкой лежала теперь долина, и редко где зеленело на ней еще не срубленное дерево. На порубках всюду белел — лоснился шелком серебристый пух отцветшего иван-чая.

— Лесу-то даже на поглядку не осталось. До гулянья далеко, наверно? — сказал Егор и взял Марусю под руку. — Наши поехали сюда на четырех машинах. Ребят и девчат много собралось. Мишка вдвоем с Нюсей.

— С какой Нюсей?

— С невестой. Он ведь тоже жениться хочет.

Маруся засмеялась, покраснела, вскинула на Егора длинные ресницы.

— А кто еще думает жениться?

— Я думаю, и Маруся Рыжкова, — сказал он и заглянул ей в лицо. — Я ведь теперь уверен, что ты за меня пойдешь.

Вместо ответа она прижалась к нему плечом, и он замолчал, стараясь шагать в ногу с нею.

«Ишь, любятесь», — заметил Рыжков, слушая их

разговор. Он нарочно не оборачивался, чтобы не смущать их. Довольный всем, он посмотрел на идущую рядом жену. Акимовна шла, придерживая обеими руками кружево шарфа, слегка наклонив бледное, но еще красивое лицо. В черных волосах ее, просвечивающих сквозь узорчатое шелковое плетенье, серебрилась седина. Много пережила она от беспокойной жизни в тайге, но никогда не корила ею Рыжкова. Подумав об этом, он растрогался, хотел сказать жене что-нибудь ласковое, но ничего не придумал и только расправил окладистую бороду.

В стороне от шоссе, за Ортосалой, шумело гулянье. Здесь речка текла вольно. Перейдя ее по мостику, Рыжковы и Егор начали присматривать себе удобное местечко.

На зеленой поляне играла музыка и плясали веселые пары, окруженные шумливой толпой. Тут же шустрый затейник в голубой майке проводил массовые игры. Всюду под деревьями и кустами сидели группы пестро одетых людей.

У высокого куста стланика Рыжков остановился, воткнул палку в дерн и заявил:

— Лучше этого места теперь не найти. Здесь и устроимся, а то старуха совсем уж заморила меня голодом.

Пока Акимовна, ползая на коленях, расстилала холщовую скатерть и разбирала содержимое принесенной корзины, Маруся и Егор уже затерялись на поляне, где играла молодежь.

Вокруг затейника кружился двойной цепью пестрый хоровод. Яркая его майка мелькала то на одном конце поляны, то на другом. Маруся приподнялась на цыпочки, осмотрела играющих. Лицо Никитина мелькнуло в толпе, и она помахала ему рукой.

— Кому это? — спросил Егор.

— Мише...

Рядом играли в жгуты. Раскрасневшаяся дивчина наскочила вдруг на Егора и начала пороть его ремнем. Изумленный неожиданным нападением, он начал было защищаться, но Маруся, задыхаясь от смеха, крикнула:

— Беги! — и он нехотя побежал, но, подхлестнутый покрепче, ударился рысью. Пробежав круга два, он, наконец, сообразил, в чем дело, и втиснулся на пустое место. Маруся уже стояла напротив, и рядом с ней Егор увидел Мишку и Нюсю — рыжеватую блондиночку с полной грудью и молочно-белой шеей. На румяных щеках ее порхали веселые ямочки, серые глаза смешливо щурились.

«Похоже, выбрал себе Мишка ровню по характеру», — подумал Егор. Тут его снова стегнули. Он заскочил в круг, потом метнулся обратно, выхватил у долговязого парня ремень и погнал его самого, сопровождаемый хохотом зрителей.

Сложенные за спиной руки Маруси еще дрожали от смеха. Мишка, не оборачиваясь, показал ему кукиш. Егор подбросил ремень Нюсе и пошел дальше, делая вид, что прячет его под пиджаком. Но избранница Мишки оказалась очень энергичной и через два-три шага Егор убедился, что она умеет не только смеяться.

Когда они вчетвером подошли к занятому Рыжковыми участку, там сидела уже целая компания.

Старик Фетистов, очень веселенький, встал и приветствовал молодежь довольно еще связной речью... Точильщиков, тоже успевший «заложить», в новой шляпе, желтых крагах, сверкающих под напуском шаровар, тихонько наигрывал на двухрядке «Бродягу».

Мишка облапил Фетистова и, слегка пошатывая его, говорил нараспев в его маленькое, заросшее, словно у лешего, ухо:

— Женюсь! Правду ты сказал! Парочку я себе нашел. Ах ты, столяр, столяр, а где же твоя столяриха?

— Померла. Вдовею уж лет двадцать. И столяренков нет. Неотроливый я, как еловый пенёк.

Мишка подхватил старика в охапку и, дурачась, баюкая его и жалобно причитая, обежал с ним вокруг куста.

— Не ушиби ты его! — кричала Акимовна, вынимая из корзины холодное мясо и две бутылки черемуховой настойки. — Это молодому упасть с полгоря, а под старые-то кости черт борону подставляет.

Рыжков принес от костра чайник с кипятком, и все

начали усаживаться на траве возле скатерти, уставленной стаканами и закуской.

— Ну, Анюта, давайте выпьем за вашу будущую жизнь! — сказал Фетистов, принимая свой стакан из рук Афанасия. — Мишка, он ха-ароший парень!

— Откуда вы узнали, как меня зовут?

— Тут и узнавать нечего. У нашего брата приискателя только и есть имен: Марья да Анны. Ежели какая новенькая, говори сразу: Марья Ивановна, а если нет, так Анна Ивановна наверняка. Одна-единственная была Надежда Прохоровна, и та погибла! Подумать только: я ведь ее перед самой смертью видел! Очень мне обидно: кабы я попозднее пришел, я бы этого бандюгу встретил!

— А что бы ты сделал? — сказал Рыжков. — Он бы тебя одним щелчком уничтожил.

— Ох, елки с палкой! Как ты, Афоня, толкуешь? Я бы ему засветил чем тяжелым промеж глаз... Главное, чтобы сопротивление оказать. Они такие поблуды, чуть что — всегда трусу празднуют.

— Бирюк подлый! — с сердцем сказала Акимовна. — Какую женщину загубил! До сих пор она у меня в глазах стоит: как работала, как слезы лила. Выпала же злая недоля доброму человеку! А чего стоял этот самый Забродин? Плевка он не стоял! И надо же было Марусе подобрать его тогда! Пусть бы окошел на дороге!

Акимовна отвернувшись, начала рыться в корзине, выбрасывая смятую бумагу, незаметно смахнула со щек слезинки.

После того как на скатерти остались одни крошки, кости да яичная скорлупа, под кустом стало веселее. Попросили Мишку сплясать.

— Наелся я, как дурак на поминках, тяжело будет, — сказал он шутливо, но вышел. Он был в ударе, и после него захотелось плясать всем.

Начал подходить народ, гулявший по соседству. Горняки сначала подтопывали, стоя в стороне, потом зуд в ногах становился нестерпимым, и они выскакивали один за другим, выделявая разные коленца.

Рыжков поглаживал бороду, поглядывал то на

неуловимо быстрые пальцы гармониста, то на очертевших плясунов. Они не жалели ни ног, ни травы, и земля летела ископытью из-под их тяжелых сапог.

Зрители подзадоривали их, громко хохотали, глядя на особо старательных.

— Ох, и хороша выступка!

— Скондачка берет.

Ты, старуха, на носок,

А я, старик, на пятку...

Пошел! Пошел! — Отдирай — примерзло.

— А-ах, батюшки, будто медведи возились — весь мох вытоптали.

Неожиданно, словно его кольнул кто, Рыжков подкинулся на месте, стянул назад сборы широкой рубахи, вышел, развел руками и встал, вызывая охотника, смешной и неуклюжий. Синие глаза его сияли усмешкой.

— Тятя-то! — вскричала Маруся, не ожидавшая от него такой прыти, и всплеснула руками.

Акимовна, покраснев от волнения, отвернулась.

— Срам-то, господи! Ведь не сможет. Под старое тулово молодых ног не подставишь!

Но он уже плясал, легко и просто, с ухватками матерого медведя. Своеобразная дикая грация его сильных движений понравилась всем, а он, припоминая молодость, расходился больше и больше и, наконец, совсем забил своего юркого партнера. Плясал и даже хриловато покрикивал:

Эх, раз, по два раз, расподмахивать горазд!

Обаяние мощи и почти детской радости исходило от него, и Акимовна, не в силах сдержать улыбки, сказала ворчливо, но примиренно:

— Статочное ли дело так скакать пожилому человеку! Ишь ведь! Ишь! — приговаривала она, невольно любуясь, как, откинув одну руку, подбоченясь другою, отхватывал он машистой присядкой. А он завертелся на месте и вдруг, заложив пальцы в рот, полоснул слух зрителей оглушительным свистом.

Старик Фетистов смеялся до слез, придерживаясь за рассошину куста.

— Ну и Афанасий, чистый Соловей-разбойник. Талант в человеке скрывается! От такого посвисту и взаправду трава поляжет и цветы осыплются. Ох, елки с палкой! Сплясал бы и я, да у меня ходуны не действуют. Самонужные подколённые пружины подносились.

Когда усталый Рыжков сел на свое место, молодежь разбрелась по лесу. Егор и Маруся прошли под большими соснами, сквозь пышный подлесок высоко и густо разросшегося стланика, миновали поляны, покрытые светлыми мхами, заселенные пирующим народом, и очутились на берегу Ортосалы. Вольно засверкали перед ними быстрые струи горной этой речонки, лились шумливо прозрачным потоком в каменистом ложе. Большие валуны, окаймленные белоснежной пеной, там и сям серели по размытому руслу. Белели стволы и прополосканные половодьями корни поваленного бурелома. Голубизна неба и зелень леса, подступавшего местами к самой реке, дробились отражением в живом хрустале звенящей воды.

— Вот она здесь какая... непричесанная, — сказал Егор весело. — Не добрались мы еще до нее. А красиво тут, — он посмотрел на Марусю, — но ты красивее всего! — Он обнял ее, притянул к себе и поцеловал.

— Постой! — сказала Маруся и обеими руками ласково отстранила его. — Давай посидим. — И первая, подобрав широкий подол платья, опустилась на береговой камень.

Егор сел рядом, снова обнял ее.

Маруся приблизила к нему разгоревшееся лицо и неожиданно тихонько сказала:

— Егорушка, я да-авно тебя хотела спросить... где ты был тогда ночью?

— Когда ночью?

— Ну, помнишь, перед арестом?

Лицо его помрачнело, он опустил голову и отвернулся.

— Ну, чего же ты молчишь? — уже настаивала

она тревожно. — Куда уставился? Смотри на меня! По бабам, наверно, ходил...

Он как-то скорбно улыбнулся.

— По бабам.

Маруся вспыхнула, сделала попытку освободиться, но Егор сжал ее локти и сказал умоляюще:

— Пошутил я. Ну, зачем тебе? Сколько времени прошло... Подожди... Ну... шуровал я.

— Шурова-ал? Ах, Егор, как же так? — еле слышно прошептала она и медленно поднялась. — Где же... ты шуровал?

— В соседней свердловской шахте, — сказал Егор тоже упавшим голосом. — Хотел себе на одежду... Перед тобой все тянулся. Только ни одного золотника не вынес. Тогда у них старые пайщики уходили в жилое. Говорили, что ночной смены не будет. Я вечером прошел от Ортосалы по штреку... Шахту знал. Прямо к богатому забою. И вдруг слышу... идут. Только успел заскочить в отработанную просечку. До самой утренней смены сидел за камнями.

Егор опустил тяжелые ресницы и затих, как пришибленный. Маруся, нахмурив густые, блестящие искорками брови, стояла на камне, сосредоточенно смотрела на кончик своей отставленной туфли. Но, несмотря на этот холодно осуждающий вид, в душе ее вихрились самые горячие чувства. Презрение таяло от наплыва жалости, и, наконец, не в силах совладать с собой, она опустилась рядом на колени и заглянула в его опущенное лицо.

Они не заметили, как из-за леса с северо-запада надвинулись темные громады туч, отсвечивающих по солнечному краю ослепительной белизной и красноватым золотом, и спохватились только, когда стало свежо и начало погромыхивать.

По всей долине спешили теперь из лесу гуляющие. Мальчишки, оседлав тальниковые прутья, с криками скакали по шоссе в розоватых облаках пыли. Ветер гнул тайгу, свистел в проводах, раздувал платки и юбки женщин, тащивших маленьких ребятишек и корзины с посудой. Многие из тех, кто подвыпил, остались

на месте и спали на голубых мхах под кустами, не слыша приближения грозы.

Наконец стало совсем темно. Сплошная желто-серая, местами черно-лиловая туча зонтом накрыла долину. Края ее, истаявающие и рваные, свешивались над горами. Невидимое солнце еще светило сквозь мутный провал пыльно-белыми, опущенными книзу лучами. Но туча, двигаясь, наглухо закрыла его. Ветер стих, и в этой минутной тишине молния с сухим треском распоролла черноту неба.

Акимовна и Рыжков едва успели дойти до крайних барачков, как все содрогнулось, сотрясаемое громовым взрывом. Упали первые тяжелые капли, покатались дробинками, зарываясь в мягкую пыль на дорожке. Косой холодный дождь, сбиваемый ветром, снова как с цепи сорвавшимся, зашумел по крышам. И сразу зачастил, стелясь над самой землей седым туманом мельчайших брызг.

Рыжков хотел бежать во дворик, обнесенный плетеной изгородью, но Акимовна потянула его под навес крыши.

— Там и без нас полно! — крикнула она, придерживая рвущийся из рук подол юбки. — Переждем тут. Я не боюсь!

Барак стоял в низине, где когда-то рос ельник, а сейчас мокро блестели кусты жимолости и густой голубичник. Серебристый тальник мотался вблизи за дамбой.

Сквозь частую сетку косого дождя бело-голубыми всполохами сверкала молния. При каждом ударе грома Акимовна торопливо крестилась и, молодо поблескивая глазами, хваталась за руку Афанасия.

— Маруся-то где же?

Потом дождь перестал, и сизые клубящиеся тучи медлительно двинулись к востоку. Винзу, у хмурого их края, чуть отставая, плыло жемчужно-белое облако. Запад очищался. Омытое ливнем небо засинело в разрывах туч, но гром еще погромыхивал, удаляясь. И тогда Рыжковы увидели Егора и Марусю. Она шла в его пиджаке, насквозь мокрое платье прилипало к ее телу. Егор держал ее за руку, и оба громко хохотали. Мок-

рая рубашка обрисовывала каждый мускул его выпуклой груди и широко развернутых плеч, складки брюк смешно обвисли, но лицо сияло от счастья.

Крутая радуга перекинулась живым прозрачным мостом между горами, а на юге, где туча желтым маревом опускалась в долину, еще шел дождь. Казалось, уходящая грозовая громада не в силах была сразу поднять свою тяжесть и волочила за собою по земле рваный край дождевой завесы.

28

В новом клубе оченьлюдно, празднично убрано и светло. Ослепительно белыми пучками сияли под потолком раскаленные нити электроламп. Стекла не было видно — так чисто протерла хрупкие пузыри клубная уборщица.

— Абажуры надо бы, — сказал Фетистов, закидывая кверху морщинистое бритое лицо, и в раздумье пожевал сухонькими губами. — Весь свет в потолок уходит, потому как не в чем ему отразиться. Свет — та же волна. Ежели, скажем, онашибнулась обо что-нибудь, так и прет назад с двойной силой.

— Выдумывай! — недоверчиво сказал Егор.

— Что мне выдумывать? Это же наука доказывает. У меня-то, Егора, мозги уж плохо шевелятся. Скинь мне годов тридцать, я бы при нынешних порядках тоже какую-нибудь академию прошел, чтобы после нее полное прояснение в мыслях иметь. Есть ведь такие академии по плотницкому делу! Я бы тогда сгрохал театр, что только ну! И чтобы мне было отведено в нем постоянное кресло.

При последних словах серенькие глазки столяра так залучились, словно он уже видел перед собой это заветное кресло.

— Слышь... Егора... Да будет тебе высматривать! За ороченскими машину только-только отправили. Пока соберутся да подчепурятся, время-то дивно пройдет. Ты тоже вон какие зачесы нагладил. Врасплох-то тебя и не признаешь. Постой! — Он схватил Егора за ру-

кав, но, у
скакал, и
что делае
Старик
ведь «пр
и начал
Тепер
сам с соб
ливее, но
С одина
ских заб
знатца «
положен
голова!
«Дор
когда ег
От моего
я не вре
соваться
Фети
пальцы
людей, к
тал впол
телей, в
вас разв
и сущес
ударник
даже по
опрятны
ти с та
тельностью
ударник
как дик
Намаже
сиди! В
щина к
аккурат
Афанас
замети
тянув т
смотрет
18 А. Ко

кав, но, увидев Рыжкова, отступился от парня. — Поскакал, ишь ты какой бедовый! Вот она, любовь-то, что делает с людьми: и не посидится ему спокойно! — Старик вздохнул, вспомнив далекую молодость: тоже ведь «прихрамывал» за своей столярихой, вздохнул и начал осматривать публику.

Теперь, за неимением слушателей, он разговаривал сам с собой. С каждым годом он становился все болтливее, но и послушать любил, что бы ему ни говорили. С одинаковым вниманием слушал он и лекцию о детских заболеваниях, и вздорные басни уральского рудознатца «колдуна» Евтея, и доклад о международном положении. Чем только не была напичкана его седая голова!

«Дорого мне слово и речь людская, — возражал он, когда его упрекали в склонности почесать языком. — От моего разговору вреда никому нету, потому что сам я не вредный. Мне теперь уж недолго осталось покрасоваться. На том свете надоест молчать».

Фетистов стоял теперь один возле сцены, заложив пальцы сморщенных рук за ремешок, и, разглядывая людей, которые шумели и суетились перед ним, бормотал вполголоса: — Было бы столько мест, сколько жителей, все бы, наверно, пришли? Нравится, чтобы мы вас развлекали? Ну, мы, клубные работники, для того и существуем! Продвигать культуру в массы. Создать ударнику культурный отдых! Вот это задача! Очень даже почетная, елки с палкой! Чистый стал народ, опрятный, нарядный даже. А вот эта уж совсем некстати с таким коком пришла и намазанная до отвратительности. Ты, матушка моя, не на сцене. Тут будем ударников чествовать, открытие клуба, а ты расселась, как дикая барыня. И что это за мода рот красить?! Намажется, ужмет губы и сидит. Ну, да пес с тобой, сиди! Вон и Ли Фун-чи пришел со своей женкой. Женщина как женщина — ничего не скажешь. И прическа аккуратная, и наряд, и собой симпатичная. А что это Афанасий какой чудной сегодня? Он будто — и не он... — заметил Фетистов и даже привстал на цыпочки, вытянув тонкую, жилистую шею, чтобы получше рассмотреть, что случилось с Рыжковым. — Побрился ведь!

Бороду-то снял, ох ты, елки с палкой! — И Фетистов торопливо устремился туда, где сидел старатель.

— Ну, здравствуй, здравствуй! — заговорил с ним Рыжков, улыбаясь. — Что же ты от нас удрал? Не сиделось тебе на Орочене?

— А мое дело такое! Опыт у меня, вот и перевели, — добродушно похвастал Фетистов, с детским любопытством разглядывая Рыжкова вблизи. — Вот закончим полное оборудование на сцене, тогда, может, обратно переберусь. А ты как это надумал... бороду-то?

— Не одному тебе бритому ходить, — ответил Рыжков и провел ладонью по непривычно голой щеке. Белая кожа, сохраняя след бороды, резко выделялась на загорелом лице, синие глаза глядели моложе и ярче. Подстриженные усы не закрывали теперь ни губ, ни крупных зубов, желтоватых и неровных. Как будто Афанасию приделали новую половину лица. Фетистов увидел у него совсем незнакомый, круто выступающий подбородок с приметной родинкой под нижней губой и две глубокие морщины по сторонам рта. — Премию буду получать сегодня, — продолжал Рыжков, довольный впечатлением, произведенным на старика. — Неловко на сцену с бородой лезть.

— Да ведь тебя не раз уж премировали, — возразил Фетистов, не удовлетворенный объяснением.

— Мало ли что! Не было, значит, особой необходимости, а теперь вроде неудобно... Сядешь за стол, в бороде крошки застревают.

— Вот это верно, — сказал Фетистов и, примостившись на краешек рядом с нарядной Анной Акимовной, облокотился на спинку передней скамьи, чтобы видеть лицо Рыжкова. — Я тоже из-за этого самого бреюсь уж лет тридцать.

После второго звонка Фетистов встал и суетливо одернул новую рубаху.

— Итти мне надо. Я ведь здесь тоже у занавесу.

На сцене с потолка свешивались красные полотнища. В глубине на высокой подставке, тоже убранной красным, стоял бюст Маркса. Посмотрев на его бороду, Рыжков сразу пожалел о своей.

«Жил человек — не нам, дуракам, чета, а бороды не стеснялся».

Рядом с Марксом возвышались два больших портрета в рост. Слева, в серой шинели, деловито шагал Сталин. Справа стоял вполоборота к нему Ленин с вытянутой рукой, как будто звал его или приветствовал. Рыжкову вдруг показалось, что прищуренные глаза вождя смотрят прямо на него. Он попробовал податься в сторону: «Все равно смотрит!» — изумленный, он подвинулся в другую сторону... Но тут на него заворчала Акимовна.

— И чего юзгаешься? — спросила она тихонько, но недовольно, вытягивая из-под него примятую юбку.

Тогда он присмирел и начал наблюдать, как поднимались на сцену и рассаживались члены президиума: Локтев, Черепанов, Ли Фун-чи... Между ними оказался и Егор. Хорошего все-таки выбрал он жениха для дочери!

Рыжков обернулся назад, поискал взглядом Марусю. Она сидела близко (место Егора рядом с нею теперь пустовало), серьезная и красивая, и смотрела на сцену широко открытыми, ожидающими глазами.

Когда духовой оркестр грянул «Интернационал», Рыжков почувствовал большое волнение. В приисковом, где ему вручили пригласительный билет, Ли Фун-чи сказал, что он получит премию. Значит, придется отблагодарить, а легкое ли это дело? Правда, Маруся написала на бумажке несколько пужных слов, и если не оробеть, то можно прочитать — буквы крупные, ясные, и Рыжков поминутно трогал в кармане сложенный вчетверо листок.

На столе, позади президиума, громоздились всякие хорошие вещи: патефоны, фотоаппараты, пальто, кофточки, отрезы дорогих материй и даже швейная машина.

— Как дадут тебе, отец, машинку, а она у нас уже есть! — беспокойно шепнула Акимовна. — Лучше патефон...

— Сиди уж, не загадывай.

После доклада директора приискового управления на сцену начали выходить ударники. Их вызывали по

особому списку, и оркестр встречал и провожал их музыкой. Получив премию, они подходили к рампе, и каждый пытался сказать что-нибудь неистово хлопающему народу. Почти все краснели или бледнели и так путались в словах, что Рыжков невольно ободрился: этак-то и он сумеет!

Только Егор, премированный фотоаппаратом и отрезом на пальто, довольно бойко сказал небольшую речь.

«Наторел», — думал Рыжков и, одобрительно разглядывая Егора, заметил на нем цепочку часов. «Золотые. С надписью... Тоже в премию получил».

— Фетистов Артамон Семенович!

«Это кто же такой?» — подумал Рыжков и с изумлением посмотрел на скромно подошедшего к столу старика.

— За ударную работу по оборудованию клубов на Орочене и Среднем премируется грамотой ударника и серебряными часами.

Акимовна даже айкинула, а Фетистов подошел к рампе и слабеньким, дрожащим голосом сказал:

— Товарищи, как мы идем к культурной жизни, то и я оказал свое старанье. Для нашего общества, товарищи. — Старик замолчал, мучительно морща и без того сморщенное лицо. Он, который знал столько всяких премудростей и мог говорить о чем угодно и сколько угодно, тоже вдруг сделался косноязычным и не мог найти ни одной мысли, подходящей для данного случая. — Клуб — это культура, елки с палкой! — прервал он наконец молчанье первой подвернувшейся фразой. — И я благодарю за премию и еще больше буду стараться, чтобы и вперед получать премии. — Фетистов неловко поклонился и ушел за кулисы, сопровождаемый веселым смехом, а оркестр сыграл ему, как и всем, что-то короткое, но очень торжественное.

— Разъело старику губу! — сказала смеясь нарумяненная, с бантами на зеленом платье, Катерина, сидевшая позади Рыжкова. — «Чтобы и вперед получать»! Понравилось!

После Фетистова премировали пятипудовой породи-

стой свиньей кривого Григория, но на сцене выдали ему только бумажку.

— Вот бы тебе этакую свинушку! — шептала Акимовна. — А ему не ко двору. Не было у Катерины заботы...

— Ладно, мать, помолчи! — сказал Рыжков; его охватило беспокойство: может, в приискоме напутали и никакой премии ему вовсе не полагается. А он уже сказал ребятам. «Вот получится оказия! Скажут: нахвастался зря». Ему сделалось душно от таких мыслей, он вспотел и даже расстегнул пуговицы пиджака.

Теперь на сцене стоял Мишка, держал в одной руке грамоту, в другой патефон и тоже произносил «речь», и тоже, как у всех, срывался его голос.

— Меня бы чем премировали! — опять беззастенчиво громко сказала Катерина. — Я бы уж сказанула! Людям честь, а они трясутся.

Рыжков через плечо опять оглянулся на Марусю. Она хлопала в ладоши и улыбалась славной улыбкой, чуть полуоткрыв пухлые губы. «Рада?» — спросил он ее мысленно и повернулся к жене, которая толкала его локтем.

— Тебя выкликают, иди!

Рыжков испуганно вскинулся с места, но идти сразу не решился, пока снова не назвали его фамилию.

Он поднялся на несколько ступенек, тяжело протопал по сцене новыми хромовыми сапогами и остановился у стола, смущенный, большой, неуклюжий в своих сбористых широких шароварах, в синей косоворотке и в пиджаке с расстегнутыми пуговицами.

— За образцово поставленную работу в крупном старательском коллективе премируется грамотой ударника и путевкой в Кисловодск.

«На курорт...» Рыжков, держа в руке полученную грамоту, пошел к рампе, суетливо отыскивая в кармане пиджака бумажку с речью. Карман показался маленьким (ох, уж эта Анна, не могла поглубже сделать!), искал, но бумажки там не было. «Куда же она девалась, проклятая? — растерянно подумал Рыжков. Перед ним мелькали сотни лиц. Больше тысячи глаз

пристально смотрели на него, и оркестр насторожился внизу широкими горлами труб.

Все ожидали, и Фетистов шептал из-за кулис:

— Говори скорей, давай не бойсь!

Тогда Рыжков решился.

— Товарищи! — сказал он и сам испугался своей хрипатости, передохнул и еще раз повторил: — Товарищи! Я ведь старатель... тридцать лет с гаком старался. Все искал фарта.

Он говорил уже обычным голосом, но слова приходили ему на ум совсем не те, которые записывала Маруся. Чтобы не запутаться окончательно, он выговаривал их медленно, бережно свертывая в трубку скользкую, пестро разрисованную грамоту.

— Мы, старатели, сроду за людей не считались. Даже у советской власти мы спервоначала себя за пасынков считали — до того к нам припеклась кличка хищников, — говорил он. — Но понимать надо, что хищничали мы от пужды. Ежели я, товарищи, находил в старое время золото, то какой мне интерес был сообщать об этом хозяину? Он меня первого и вытурит. Покуда я ищу, он мне не препятствует, только следит исподтишка, а почует добычу — сразу налетит... да со стражниками, с урядником... Золото отберут да по шеям, да еще плетей вложат. Это была такая премия за открытие при старом режиме, — ну и старались мыть потихоньку. Другого хлебом не корми, только бы ему по тайге ходить. Искать ему надо, а раз ищет безо всяких прав, стало быть хищник. Права-то раньше даром не давали, их купить надо было. Потому всеми правами промышленники пользовались. Те, которые побогаче... а мы возле них голые ходили и... пьяные, греха таить нечего.

Теперь советская власть вывела нас из пасынков и приравняла к рабочим. Очень мы ей за это благодарные. Теперь, товарищи, я хищничать не стану. И для нас настоящая радость, что наш трест выполнил досрочно программу за три квартала. На Алдане этого еще не бывало. Работаем старательно. А ежели меня опять поманит в тайгу, я возьму документ на право разведки — и пошел. За открытие теперь почет и де-

нежная премия. — Рыжков замолчал, не зная, что бы еще такое сказать, хотел погладить бороду, смущенно отдернул руку от гладкого лица и, не зная, куда девать, положил ее в карман. Бумажка на этот раз сама подвернулась к пальцам. «Вот оказия, откуда она взялась!»

Рыжков достал и развернул ее, но от только что пережитого волнения ничего не мог прочесть: рука тряслась, и в глазах рябило.

— Я теперь, товарищи, грамотный стал, — сообщил он присутствующим, терпеливо ожидавшим, когда оратор снова «станет на линию», покосился снова на бумажку, как петух на зерно, но буквы сливались по-прежнему и доказать на деле свою грамотность было невозможно. Рыжков вздохнул, добавил скромнее:

— Маракую и по печатному и по писаному немножко. Еще скажу, что норму наша бригада выполняет на сто сорок процентов по пескам и на сто тридцать два по золоту. Уравниловку уничтожили. До сих пор считалось: раз артель, значит, все поровну, а от этого был вред. Только лодырей плодили. Теперь у нас каждый получает за фактический труд и стремится работать получше. Жизнью своей я теперь довольный...шибко довольный. Потому я считаю, что фарт свой нашел. И да здравствует наша дорогая советская власть и товарищ Сталин Иосиф Виссарионович и Ворошилов с Калининным!

Больше он ничего не вспомнил, взглянул на свои неудобно большие руки, на грамоту, на непрочитанную речь и ушел за кулисы к Фетистову, провожаемый шумным плеском аплодисментов и тушем оркестра.

За окном кухни красовалась в осенней пестряди рябина. Ее этой весной принесла из леса повариха Ивановна. Маруся помогала сажать. После этого общими усилиями устроили с другой стороны крыльца настоящий садик.

Маруся посмотрела на красные в желтизне листья

ягоды рябины и пожалела о цветах, погибающих на грядках в саду. «Сегодня же достану ящики и высажу астры», — подумала она.

Концы белого в синюю крапинку ситцевого платка торчали на ее затылке, как заячьи уши, широченный фартук поварихи охватывал бедра. Она помогала отбирать бруснику для варенья. Черпала горстью из корзины спелые ягоды, пересыпала их в широкую голубую миску.

— Вы, Марья Афанасьевна, в детском саду словно мамаша. Молодым-молодешенька, а в лице важность такая... — сказала повариха.

Маруся засмеялась.

— Я за эту весну постарела.

Ивановна тоже рассмеялась, ловкими пальцами подсучила рукава халата.

— Тут дело не в старости, не в годах... Душа у вас, видно, при месте стала.

Маруся помолчала, потом заговорила раздумчиво:

— Да, при месте. Я теперь от детей никуда не уйду. Мне с ними хорошо. Но только совсем я еще не спокойна. Что-то мне еще нужно сделать. — Маруся снизу вверх доверчиво посмотрела на рослую повариху и сказала: — Нынче зимой буду в шестом классе заниматься.

— Зачем вам зря мучиться? Голову забивать...

— Нельзя иначе. Луша Ли Фун-чи, прежде чем в ясли поступить, семилетку окончила и еще дальше учиться собирается. А мне тем более надо! А то получается, что я в детском саду вроде завхоза.

Повариха в недоумении развела пухлыми руками.

— Кем же вы хотите быть, Марья Афанасьевна?

— Хочу так, чтобы и хозяйничать и не чувствовать себя недоучкой перед своими педагогами.

Дверь в кухню тихо приоткрылась. Две девочки в синих халатиках вошли и перешитительно остановились у порога.

— Вы зачем сюда? — спросила Маруся, обернувшись на их перешептывание.

— Мы... пить хотим, Марь Афанасьевна.

— Они, наверно, ягод захотели, — добродушно.

ворчливо сказала повариха. — Вода в комнатах есть — я сама утром свежую наливала. Ишь, баловницы!

Бойкая черноглазая Ольга схватила руку Маруси, прижалась к ней гладко причесанной головкой.

— Мы по секрету...

Рыженькая простодушная толстушка Катюша тоже подошла, а в полуоткрытую дверь стали заглядывать все новые детские лица.

— По секрету? — спросила Маруся с недоумением. — Интересно, какие это секреты у вас появились?

— Марь Фанасьевна... — заговорила Ольга с выражением озорной решительности на курносеньком лице, и щеки ее стали как два красных яблока.

— Вы взамуж выходите? — неожиданно перебивая ее, строго спросила Катюша.

Теперь уже Маруся покраснела до ушей.

— Кто это сказал?

— Андрюшка Коркин. А еще он говорил, что у вас теперь будут свои маленькие и вы теперь от нас уйдете...

— Не выходите замуж, — блестя глазками, попросила Ольга.

— Не уходите от нас, тетя Маруся, — хором, недружно сказали от дверей, где тихая суетня все усиливалась.

От смущения у Маруси даже слезы навернулись. Она подошла к двери, и сразу ее облепили со всех сторон.

— Что за переполох такой? — сказала она укоризненно, принимая, наконец, независимый вид вполне взрослого и вполне располагающего собой человека. — Уходить я никуда не собираюсь. Если я... если у меня будет своя семья, я все равно буду работать, ведь ваши мамы тоже работают. И что это за новости — вмешиваться в дела старших? Вот когда вырастаете, тогда... тогда будете рассуждать. А теперь марш в свои комнаты.

— Вот уж сорванцы так сорванцы, — сказала повариха, смеясь. — Мы думаем: они ничего не знают и не понимают, а им все известно. Помогала я сегодня няне накрывать к завтраку. Слышу, Мироша говорит

Танечке: «А наш жених — ударник». Мне и невдомек было, про какого жениха разговор шел. А они свое обсуждение имели во время завтрака.

— Что же воспитательница, разве ее не было?

— Была... Да, господи, они ведь хитрущие! И все шепчутся. Видишь, по секрету пришли! Ну, эти хоть постарше, а те-то вовсе мелкота. — Ивановна взглянула в окно, и на ее расплывчатом лице появилась лукавая усмешка. — Легкий на помине.

Маруся так и встрепенулась.

— Кто?

— Да Егорушка...

— Этого еще сейчас не хватало! — сказала Маруся и побежала к дверям, но на пороге остановилась, стащила с себя платок, пригладила волосы и как раз успела перехватить Егора на крылечке.

— Зачем пришел? — спросила она быстрым шепотом.

— Посмотреть, как ты тут работаешь...

— Тсс! — зашипела Маруся, прикрывая плотнее дверь. Мягкий басок Егора показался ей слишком громким. — Если бы ты знал, как мне стыдно было сейчас! — сказала она, снова заливаясь румянцем.

— А что случилось? — тихо спросил Егор, и столько тревоги за нее выразилось на его лице, что Марусе стало стыдно уже по-иному.

— Да вот... ребятишки все, — сказала она, счастливо сияя глазами, — просят не выходить замуж.

Егор обнял ее за плечи.

— Ох, как ты меня напугала! — сказал он, любясь ею.

Маруся легонько оттолкнула его:

— Народ кругом!

— Пусть смотрят.

— Да ведь я на работе нахожусь. Уходи, а то выбегут опять и устанут на тебя, как на чудо.

Маруся ушла, но через минуту выглянула на крылечко. Егор все еще стоял там. Они посмотрели друг на друга так радостно, словно только что встретились.

— Тебя зовут здесь жених-ударник! — сказала Маруся и ушла уже по-настоящему.

Прямо с работы Рыжков зашел в прииск, чтобы узнать толком насчет путевки.

— Вот до чего довелось дожить! — сказал он Ли Фун-чи, который относился к нему с большим расположением и как к отцу комсомолки Маруси и как к передовому старателю. — Поеду на курорт будто граф!

— Лучше графа, товарищ Рыжков! — улыбаясь, ответил Ли Фун-чи, обветривший и загоревший за лето так, что только зубы белели на его смуглом лице.

— Знамо дело — лучше. При нынешних порядках граф и в подметки мне не годится.

— Верно! — полушутя продолжал Ли Фун-чи. — В старой вашей артели при уравниловке он сошел бы, а при новых методах да с механизацией не годится.

— Не годится! — с хорошей гордостью труженика подтвердил Рыжков. — Учить да учить бездельника!

Оба рассмеялись. Ли Фун-чи находился теперь больше на Среднем, а на Орочене бывал наездами. Строительство нового прииска захватило его так же, как Черепанова.

— В Кисловодск поедете! — сказала Рыжкову секретарь, большеносая девица в яркозеленом берете, некрасивая, но свежая и розовая, и, топая толстыми ногами, прошла по комнате.

«Ну и девчища, богатырша настоящая!» — подумал Рыжков и, присев на стул, прислушался к ноющей боли в левой руке.

— Что за оказия! Пока на курорт не собирался, ровно и не болело ничего, а теперь прострелы начались, — сообщил он, обращаясь к Ли Фун-чи: — то в ногу стрельнет, то поясницу заломит. Не иначе, разнежился. Отдохнуть, оно конечно, не мешает...

Снова, топая ногами, через комнату прошла секретарша, положила на стол открытую папку с бумагами и двумя пальцами, точно дохлого крысенка, поднесла Рыжкову обгрызанную ручку.

— Распишитесь вот здесь в получении путевки. Он посмотрел на ее оттопыренный мизинец, подвиг-

нулся к столу и, заслонив добрую его половину своими локтями, старательно и крупно расписался.

— Путевка у вас с первого октября. Выехать надо поскорее, чтобы не опоздать.

— Когда это, к примеру? — спросил он, разглядывая мелко исписанную бумагу.

— Завтра или послезавтра, — сказала девушка, села на место, подобрала за ухо стриженую прядь прямых желтоватых волос и весело посмотрела на старателя. — Пока нет распутицы, до Невера доедете быстро, а позже дорога может испортиться. Ведь вам только до Москвы ехать суток восемь, если в скором поезде, да там еще дня три. Я-то уж знаю: за лето многих отправляли.

— Ну, тогда я опоздаю, завтра мне никак невозможно. Мне еще надо показать своим ребятам, как работать в спаренном забое. Товарищ Ли Фун-чи, переписали бы мне дней на десять попозднее.

Ли Фун-чи сочувственно улыбнулся.

— Нет, мы переписывать путевки не можем. Ведь это не от нас зависит. Ничего, ехать надо! Всегда будет некогда.

Рыжков огорченно вздохнул. Ему хотелось попасть на курорт к сроку. Но нельзя же было бросить работу в самый горячий момент. Надо убедиться на деле, что старатели освоили подкалку.

Вздохнув, он поднялся, неправдоподобно большой, все еще красивый и статный. Пятьдесят с лишним лет не согнули, не состарили его, и в глазах молоденькой девушки, посмотревшей на него, промелькнуло безотчетное восхищение перед его мужественной силой.

— Ладно, уж как-нибудь устроюсь.

На улице он столкнулся с Черепановым, и они пошли вместе.

— Едешь? — спросил Черепанов. Ему всегда нравился этот упрямый и немного наивный таежник с его неистребимой верой в свое особое старательское счастье.

— Еду. Самому чудно. В первый раз в жизни поеду на курорт. Дорогая же мне премия досталась! А отблагодарить путем не сумел. Надо было насчет работы

потолковать, об ударниках наших тоже, а я все про себя да про себя!

— А как ты отделишь себя от работы? — спросил Черепанов. — Тебя таким новая твоя работа сделала. Что мог бы ты рассказать о себе лет пять назад?

— Пожалуй!.. — проронил Рыжков, вспомнив, как он повествовал на Пролетарке о своем прошлом дочери Марусе. — Тогда и дома нечем было похвастать.

Хотелось Черепанову сказать Рыжкову что-нибудь сердечное, но он только посмотрел на него и решил: «Ничего говорить не надо».

Вместо того справился о здоровье Акимовны, с которой очень подружился после Надеждиных похорон.

— Вместе поедem, — сообщил Рыжков. — Хочу ее с собой взять. Мне без нее схать невозможно. Тридцать лет она со мной в тайге живет. Сотни верст пешком прошла... Всю невзгоду пополам делили, как же я теперь один на гулянье поеду?

— Хорошо это ты надумал, — одобрил с грустной улыбкой Черепанов. Рыжков тоже улыбнулся.

— Когда еще в клубе премии получали, надумал этак. Вижу, радуется она, а сама нет-нет да и вздохнет. Домой приехали, сели чай пить, она и говорит будто шутя: «Мне бы, говорит, хоть раз в жизни премию какую получить». Сместся, а на глазах слезы. Ах ты боже мой!.. «Аннушка, говорю, я тебя сам премирую. Добуду тебе за деньги другую путевку и поедem вместе».

— Что же она?

— Рада, понятно. Со всей охотой собирается.

— Да-а, Кисловодск! — сказал Черепанов протяжно и раздумчиво. — Это очень даже хорошо. Там можно и сердце подлечить и ревматизм. У тебя что болит?

Рыжков почесал за ухом, сдвигая на лоб рабочую кепку, приподнял выпукло-щетинистую бровь.

— Как вам сказать? Знаете, когда хворать некогда, ходишь до той поры, пока вовсе не свалишься. Мне вот пятьдесят пятый год, а я у доктора-то еще ни разу не был и лекарства, кроме водки, сроду не пил.

Рыжков покосился на Черепанова, тот шагнул, спря-

тав руки в карманы рыжей кожанки, лицо его выражало внимание.

— Здоровый я, — продолжал Рыжков увереннее, — а ногами один раз шибко болел. Застудился на канавах и обезножел. Так скрючило, просто спасу нет! Это когда я у Титова работал... Ну и, конечно, никакого пособия. Лечила меня Анна Акимовна. Напарит бывало стланику... Сяду в кадку большую, обкладет она меня хвойными лапами, потом горячей воды, чтоб только тело сдюжило, я и сижу, как груздь. Пропотею хорошенько да на койку — вот тебе и курорт! Она меня и подкармливала, все время в мамках работала. Потом, когда одыбался, ушел хищничать. Я ведь из тайги-то больше тридцати годов не выходил.

— Ну вот, поедешь, посмотришь, как на юге живут.

— Это-то я видал. Я ведь на Дальний Восток морем приплыл с Новороссийска, а урожденный из Донбассу. У меня и отец и дед шахтеры, и сам я с четырнадцати годов в шахту пошел. Каторга была, спасу нет! Интересно мне поглядеть, как теперь там живут. И Москву повидать охота.

— Когда выезжаете? — спросил Черепанов.

— Да дней через пяток выедем. У меня тут еще дела, управиться надо.

Возле своего дома Рыжков остановился и показал на небольшой огород, обнесенный тыном.

— Сажали нынче сами. Картошка добрая уродилась. Вот приеду с курорту, отдельную дачу себе поставлю, елочек насажу, чтобы на долгое жительство со старухой поселиться.

— А Маруся?

— Маруся что! Она замуж пойдет. Это дело решенное. Егору квартиру уже дали — не хуже директорской. Перед отъездом погуляю на свадьбе. Давайте заходите к нам чай пить. — И с этими словами Рыжков потянул Черепанова за рукав тужурки.

Акимовна шила на машинке какие-то кулечки. Старик Фетистов сидел напротив нее, поглаживая черную жирную кошку. Кошка громко пела, хитро жмурила зеленые глаза, съезжала с острых стариковых

его выра-
вереннее,—
я на кана-
у нет! Это
никакого
прит быва-
ладет она
оды, чтоб
Пропотею
порт! Она
работала.
ведь из
на юге
осток мо-
из Дон-
с четыр-
а, спасу
м живут.
в.
тут еще
показал
я уроди-
себе по-
льство со
о решен-
иректор-
Давайге
ми Рыж-
кулечки.
твая чер-
о жмури-
риковых

колен и все цеплялась за его одежду, стараясь примоститься удобнее.

— Смотри, Фетистов, поломаю я тебе ноги, — шутил пригрозил Рыжков. — Не успею из дома выйти, а он, старый воробей, тут как тут.

Фетистов улыбнулся, вытер узкой ладошкой сморщенный подбородок, точно паутину снял.

— Мы ведь не про любовь толкуем! Годиков десять назад я бы еще мог изъясняться о таком высоком предмете. А сейчас вот агитирую насчет провизии. Погляди, Мирон Устиныч, сколько она мешков шьет.

Акимовна, смущенно, боясь насмешки, посмотрела на Черепанова.

— Не бывала я еще по железным дорогам. Сроду и не видывала. На Зею мы через всю Сибирь на таратайках ехали. Вот и собираюсь по-таежному, с припасом.

— Трудно будет с багажом таскаться, — сказал Черепанов. — Продукты на станциях можно покупать.

— Это каждый раз с поезда сходить!

— Ну, конечно, Афанасий Лаврентыч мигом слетает.

Акимовна подумала и сказала упрямо:

— Нет уж, лучше со своим ехать. Куда спокойней! Афоня, он проворный на ноги, но любопытный. Будет ходить по станциям этим, интересоваться всякими разностями да как раз и отстанет где-нибудь.

Фетистов достал из кармана сверкающие часы на длинном кожаном ремешке, щелкнул крышкой, умиленно поглядел на бойкую секундную стрелку.

— Чикай, матушка, чикай. Совсем ведь чутошная, а сколько у ней энергии! Когда ни взгляни — все чикает! — Старик выпятил тощую грудь и пробормотал горделиво: — Не всякому тоже такую премию преподнесут.

— Ты лучше расскажи, как терял эту премию, — посоветовал Черепанов, тронутый наивным самодовольством Фетистова.

— Неужто терял? — спросила Акимовна, довольная возможностью переменить разговор. — Хорош, нечего сказать!

— Но пьяному делу оплошал, — сказал старик с некоторым смущением. — В отпуску был, ну и загулял маленько. А без часов теперь не могу обходиться. Как долго не погляжу, так вот и подмывает: что-то, мол, сделать надо. Погляжу на них и успокоюсь. Ну так, должно быть, поглядел да обратно ими в карман не угодил. Хожу, стало быть, а они на ремешке сверху болтаются и отвязались, конечно. Проспался я на другой день, хватать — нету часов. Ох, елки с палкой! Верись — нет, захворал от огорчения.

— Так захвораеть! Как не захворать! — сочувственно сказала Акимовна. — Поди-ка, отрезал кто для смеху.

— Какой тут смех! Видно же, что отвязались. Ну, а к вечеру приходит в клуб Петюнька Ксаверьев и приносит эти самые мои часы. Возле магазина подобрал...

Увлечшись рассказом, Фетистов забыл о задремавшей кошке, и она совсем было съехала с его беспокойных колен, но в последний момент так вцепилась в них, что старик едва не выронил заветные часы.

— Брысь, проклятушая! — вскрикнул он испуганно и стукнул ее по изогнутой хребтине. — Что ты по мне едешь! Всего покорябала. — И уже извиняющимся тоном старик добавил вслед Акимовне, уходившей на кухню: — Я этих чертей-кошек сроду не любил. А ваша, ничего... довольно симпатичная. У меня жена-покойница целый кошачий зверинец содержала. И все трехмастные! Стану бывало говорить, — куда там! Ведьминский характер имела, не тем будь помянута, покойница.

Фетистов вздохнул, привычным движением опустил часы в карман и взглянул на Черепанова. Тот сидел у стола и задумчиво наблюдал за кошкой, которая, презрительно щурясь, прилизывала свою помятую шубку. Вернее, секретарь парткома смотрел не на кошку: он совсем и не видел ее — какое-то пятнышко на полу, за которое он случайно зацепился взглядом. Черепанов думал о том, что было здесь в тайге десять лет назад... Золотая лихорадка... Люди металась, как листья в осеннюю бурю. Все кипело, охваченное стремлением к

наживе. И среди этой людской стихии точно маленькие островки — партийные ячейки... Десять лет прошло. Много ли сделано за это время в тайге? Возникло большое механизированное производство... Это еще не много: за границей капиталисты и похлеще действуют. Построить завод, шахты, электростанции — не новое дело. Поселки жилые в тайге появились — прекрасно! Но это тоже не главное. Могли бы эти поселки быть и красивее и богаче. А вот люди другие стали за эти десять лет. До неузнаваемости переменились и к лучшему переменились — вот в чем главное, новое, потому что все начинания советской власти и партии устремлены на благо человека. Черепанов вспомнил, как пришел к нему в партком Мишка Никитин и бросил на стол мешочек с золотом... Вспомнил, как пришел советоваться в партком Егор Нестеров, а позже Афанасий Рыжков, как пришел в свое время, девять лет назад, молодой Ли Фун-чи. «Нет, это я сам нашел его!» — поправил себя мысленно Черепанов, все тем же строго-неподвижным взглядом уставясь в невидимую точку. Созданы условия — и люди растут. Вот Маруся Рыжкова, вот Луша, тот же Петюнька Ксаверьев, вернувший часы Фетистову, и сотни, сотни других... русских, якутов, китайцев, корейцев...

— Ну чего ты на кошку уставился, Мирон Устинович! — с дружественной стариковской бесцеремонностью перебил его мысли Фетистов. — Какие такие узоры ты на ней нашел? Пусть лучше Афанасий нас музыкой позабавит!

Рыжков начал было стаскивать салфетку с патефона, но Акимовна окликнула его, и он пошел к ней.

Фетистов добродушно подмигнул ему вслед.

— Ревнует он меня. А зря, я теперь насчет женского полу безобидный. Вот они с Акимовной дружно живут, дай бог всякому. Тебе, Мирон Устинович, тоже не мешало бы семейную жизнь обмозговать. Возьми-ка меня сватом. Я тебе живо хорошую выгляжу. Будь он проклят, Васька Забродин, какую женщину загубил! — Черепанов вздрогнул, но старик не заметил его движения. — Вот бы такую тебе найти, как Надюша, славная она была!

Рыжков, войдя в комнату, услышал последние слова старика и предостерегающе кашлянул. Но Фетистов даже не оглянулся на него и продолжал простодушную свою болтовню.

— Ты, Фетистов, настроил бы сам патефончик-то! — предложил Рыжков и стал накрывать на стол, стараясь звяканьем рюмок отвлечь внимание старика от Черепанова: «Чего привязался к человеку? Вовсе из ума выжил, а еще клубный работник!» — сердито размышлял он.

— Хорошая она была, а разнесчастная, — продолжал вспоминать Фетистов о Надежде. — Она ведь в Егоре души не чаяла. Уж так любила, что и слов нет. — Фетистов даже прослезился и сквозь слезную муть не разглядел, как побледнело до синевы лицо Черепанова.

— А что же... Егор? — спросил Черепанов не сразу.

— Егора-то? А что ж, у него своя любовь. Он и не знал, поди-ка, ничего. А она бывало схватит меня за руки и скажет: «Фетистов, Фетистов, тяжело мне!» Это когда они уже вместе стали гулять — Егорка-то с Марусей. А я и раньше это замечал, что она не в себе бывала. Егора после шибко жалел ее: «Я, говорит, ее больше сестры любил, прямо как мать родную». А ей это и тяжело было, что он ее за мать почитал.

Рыжков, готовый выбросить старика за окошко, сказал с неожиданной горячностью:

— Экий ты болтун, Артамон Семенович! Ну чего ты сейчас наговорил? Скажи, какой приметливый! А того ты не приметил, как трудно жил человек? Что только не претерпел! Значит, уж через край перехлестнуло, если она на то плакалась тебе, чудаку! А Егора-то было ей за что любить да уважать: он глубже всех нас в ее душу заглянул, пожалел и приласкал, как лучший друг... Кабы не он, Забродин ее еще раньше бы убил. Так и не увидела бы она красной жизни. Не просто по-бабы потянулась она к Егору. Я это вот как понимаю, только передать не могу. Нет у меня для этого таких слов. И ты, Фетистов, хоть ты и языкастый, не прикасайся сюда, Христа ради. Не те слова твои, и

понятие совсем не то! Как ты думаешь, Мирон Устинович?!

Черепанов промолчал. Возражение Афанасия Рыжкова взволновало его еще сильнее, чем откровения Фетистова. Уже не было Надежды на свете, но яркая, светлая жила она еще в душе Черепанова, и любое напоминание о ней задевало в нем такие звонкие, такие больные струны... Сколько раз уже казнил он себя за это время, что не сумел, не смог решительно вмешаться в семейную драму Надежды. Сковывала его совесть, которую он теперь проклинал, боязнь подойти к делу с узкой, личной позиции. И открытие о любви Надежды к Егору не оскорбило Черепанова, а еще выше поставило дорогой его сердцу образ.

— Правду ты сказал, Афанасий Лаврентьевич! — сказал он, с трудом нарушив молчание. — Есть чистейшие и прекраснейшие чувства, которые свойственны только таким людям, как Надежда Жигалова. Об этих чувствах надо говорить, как о самом лучшем в человеке и самыми простыми, хорошими словами. Так, как говорил ты.

31

Клондайк... Рыжкову нравилось это звонкое, необычное слово.

— Работаю на Клондайке, — сдержанно улыбаясь, говорил он знакомым. — Шахта у нас.

Шахта находилась на невысокой террасе. Обшитый досками копер ее возвышался среди кустов стланика. Возле копра штабелями были сложены бревна: к зиме собирались возвести над кулибиной низкий и длинный тепляк.

Подойдя к копру, Рыжков остановился и огляделся кругом. По тропинкам, желтевшим в пыльной, засохшей траве, подходили старатели утренней смены. Птицы озабоченно копошились в кустах шиповника и голубики, выклеывая сморщенную ягоду. Рыжков потянул носом ядреный запах осеннего утра и, крикнув, вошел в дверь.

На ярко освещенном шахтном дворе у подъемника

навстречу попался с полной тачкой Быков, недавно принятый в артель. Рыжков добродушно кивнул ему и направился просечками к своим забоям. Второй его забой шел с углубкой по полотну. Там разбуривали скалу, в трещинах которой было золото. Вызванный с ороченской шахты запальщик ожидал, чтобы зарядить скважины и сделать отпалку.

— Сколько шпуров¹ забьете?—спросил его Рыжков.

— Три. Рано меня вызвали. Долгая песня получается с ручным-то буром.

Рыжков широко ухмыльнулся:

— А ты хотел бы, как на рудном золоте, — с компрессором?

Он принял забой и вместе с забойщиком, откатчиками и подручным крепильщиком первой смены вышел из этой просечки. В забое остался один запальщик.

Рыжков начал помогать советами и делом в другом забое. Когда раздались взрывы, он остановился с занесенным кайлом и стал считать.

— Раз... два... — отмечал он глухие удары.

Через некоторое время появился запальщик, весело посмотрел на Рыжкова.

— Ну как?

— Можно okayливать. Я осмотрел.

Рыжков взял фонарик — электрическое освещение в дальние уголки шахты еще не подвели — и поспешил в подорванный забой.

— Идите по домам, — сказал он забойщику, которого сменял. — Мы сами okayлим. Чего уж за пять минут до конца смены начинать новую работу!

Он прошел в глубину просечки один. Остальные старатели вот-вот подойдут. Наверно, они уже спустились в шахту.

Нескладная тень человека метнулась впереди. Рыжков спокойно взгляделся в полумрак: в забое горела только одна свеча, оставленная запальщиком.

«Быков. Ничего мужик, старательный, — подумал Рыжков. — Только ведь он в смежном работал?..»

¹ Ш п у р — скважина, в которую заложено взрывчатое вещество.

Неясная тревога заставила Рыжкова ускорить шаги. Быков стоял к нему спиной и торопливо шарил рукой по взорванной породе. Заслышав шум шагов, он отошел от забоя.

— Ты чего это? — спросил Рыжков, подозрительно оглядывая откатчика.

— Тачку прикатил... Мы из смежного втроем сегодня катали. А здесь и одному при разбурке нечего делать.

— А чего ты в забое шарил?

Быков переступил с ноги на ногу. Косые глаза его воровато забегали.

— Да так...

Рыжков неожиданно сжал ему руку выше запястья, взглянул на растопыренные, сразу посиневшие его пальцы и по-хозяйски полез к нему в карман. Быков рванулся в сторону.

— Но, но! — прикрикнул, как на лошадь, Рыжков и вытащил динамитный патрон. — Башку оторву. К чему такое?

Быков сказал вызывающе:

— Отрывай, не жалко. Я и так неживой хожу по земле. Видимость только одна, а душу вы из меня давно вынули. — Он вдруг упал на землю и бешено завыл.

Рыжков посмотрел на него с брезгливым испугом, толкнул ногой.

— Вставай, пойдем.

— К ним поведешь? К гепеушникам? Убей лучше на месте!

Рыжков осторожно опустил к себе в карман отобранный патрон.

— Отведу до начальства, и пускай оно рассудит, что с тобой делать, а я об тебя рук марать не хочу.

Молча разминулись они с идущими в забой старателями.

— Ты куда, Лаврентьич? — крикнул им вслед подручный забойщик.

— Начинайте очистку, я сейчас вернусь, — сказал Рыжков, спохватываясь. — Да смотрите, с опаской окайливайте. Не сунул ли этот молодчик еще вот та-

кую штучку. А лучше обождите с очисткой до меня: вернусь с начальством. Займитесь пока чем другим.

— Может, помочь отвести? — предложили старатели. — Не сбежал бы.

— У меня не сбежит!

За шахтой они встретили Потатуева. Он шел к ним по солнечной пыльной тропинке. Солнце било ему прямо в лицо, и он жмурился, радуясь последнему теплу. Увидев Быкова в сопровождении Рыжкова, он встревожился, зашагал быстрее, спросил деланно весело:

— Куда это собрались, Афанасий Лаврентьевич?

Рыжков вздохнул во всю свою широкую грудь, и голос у него прозвучал глуховато:

— Поймал вот в забое. Хотел он мне патрон подсунуть. Спасибо, не успел...

Лицо у Потатуева посерело, он сжал губы, встопорщив вислые усы, злобно взглянул на понурого Быкова.

— Не знаю, чего это я ему поперек горла встал? — доверчиво продолжал Рыжков, заметив волнение Потатуева. — Кажись, хорошо принял его и по работе всегда помогал... объяснял, что и как. И вот — на тебе! — старатель в недоумении развел руками. — Хочу отвести его до начальства. Пускай рассудят...

— Ну, покажи патрон! — властным голосом приказал Потатуев.

Рыжков послушно вынул динамит. Потатуев взял его, повертел... и опустил в карман своего плаща. Подумал о Быкове: «У этого олуха смолчал, а там сумеют выпросить».

Потом Потатуев зорко огляделся и сказал Рыжкову:

— Что же, если он на тебя покушался, значит у тебя с ним счеты. Если он вредит, значит и ты не чист. Может, он от тебя избавиться хотел, чтобы следы замести?

Рыжков обалдело посмотрел на значительно нахмуренное лицо Потатуева.

— Вы, Петр Петрович, такими словами... не шутите. По себе, что ли, судите? Верно говорится: когда

свекровка — потаскуха, она и снохе не верит. Ваши-то грехи я зна-аю!

— Мало ли про кого ты знаешь! А раз молчишь, значит у самого рыло в пуху.

Рыжков побледнел. Глаза его загорелись холодным синим огнем, и он сказал, заикаясь от волнения:

— За такие подобные слова я вас захлестнуть могу. Что вы меня запугиваете? Выгородить его хотите... так я сегодня же на вас обоих... Может, вы и подослали его, чтобы свое золото упасти. И я дурак... Надо было мне после того разговору насчет замеров сразу пойти...

— Имей в виду, Афанасий Лаврентьевич, — сказал Потатуев, сипло дыша, — ты меня тогда понял, и я тебя понял... Черт меня дернул разговаривать о делах с таким пнем! Но уж раз молчал до сей поры... ответишь по всей строгости закона.

— И отвечу, не побоюсь. Теперь мне словно молоньей осветило: красноармейскую артель ты не так просто поставил, а с вредом. То-то после засепетил, заюлил. Значит, и нас зря два года маял на пустоте!

Потатуев подошел вплотную, с ненавистью взглянул в лицо Рыжкова и жарко прошептал:

— Вы-то не на пустоте находились. Было там золото неплохое. А вы стороной прошли со своей дурацкой канавой. И шахту заложили вдали от россыпи...

Старатель остолбенел:

«Из сорока человек кровь тянул. Бож-же ты мой! И обличье у него, у такого, совсем человечье... Не перекосило же его при такой кривой душе!»

Рыжков сгреб с головы шахтерку, ударил ею о землю и, забыв о Быкове, быстро зашагал к прииску.

Потатуев посмотрел ему вслед, щеки его тряслись. Вытащив из ножен, висевших у пояса, узкий якутский нож, он сунул его в руку Быкова.

— Беги наперерез... кустами. Успеешь — озолочу!

Потатуев приподнялся на носках, разглядел голову и спину Рыжкова, промелькнувшие за кустами.

«Нет, не успеть Быкову. Да и справится ли? Тот сей-

час как сохатый бешеный». Потатусев подумал о своем приметном ноже, застонал и, сев на министую землю, закрыл лицо руками.

В парткоме Рыжков едва не сорвал дверь с петель. Лицо его было бледно, капли пота проступали на висках и широком лбу. Секретарь посмотрела на него с удивлением.

— Мне бы Черепанова, — быстро сказал Рыжков.

— Нет его.

— Как же нет, когда нужно?

— Странно, — промолвила она и пожала плечами. — У Черепанова свои дела...

— Надо мне его, — упрямо повторил Рыжков.

— Я понимаю, но его нет. Он на Среднем прииске.

Ее спокойствие рассердило Рыжкова. Тут такой горячий момент, а она сидит не шелохнется.

— Слушайте, барышня, я забой бросил в рабочее время. Некогда мне разговорами заниматься.

— Вы на меня не кричите, вы не на шахте, а в советском учреждении, — обиженно сказала девушка.

Рыжков невольно отступил.

— А чтоб тебя рассыпало! — пробормотал он смущенно. — Шахта ведь тоже советское учреждение, — и просительно добавил: — Барышня, вы позвоните куда-нибудь. Может, найдете!

Девушка сняла трубку телефона. Пока она звонила, Рыжков тоскливо смотрел на свои большие узловатые руки и думал: «Сколько время пропадает! Как еще посмотрят, может и мне не сдобровать?» Рыжков вспомнил о восьмидесяти золотниках, тайком проданных им Потатусеву здесь, на Орочене, в двадцать шестом году. Ему стало не по себе. «Ответишь по всей строгости закона», — вспомнил он слова Потатусева. «Взгреют меня, пожалуй. Может, и путевку обратно отберут. Фу ты, оказия какая! Еще и в газеты пропечатают: был, мол, ударник Афанасий Рыжков, а оказался подлец и жулик. Золото перепродавал... Была ли тогда государственная монополия? Была уже. Раньше

можно было золото иметь, а в двадцать шестом году — ни-ни». Рыжков совсем было смутился, но вспомнил злорадные слова Потатоева о Пролетарской шахте, и лицо его снова стало суровым. «Пускай пропечатают. Так тебе и надо, старому дураку».

— Говорите, — прервала его размышления девушка и подала ему трубку.

Рыжков бережно взял трубку, наклонив голову, приложился к ней ухом. Голос Черепанова он узнал не сразу, а когда узнал, страшно заволновался.

— Мирон Устиныч, приезжай скорее! С шахты прибежал, вот до чего нужно. — Рыжков убедительным жестом прижал к груди свободную руку и повторил: — Приезжай скорее!

Успокоенный обещанием Черепанова приехать, Рыжков положил трубку на стол и, почти торжествуя, посмотрел на секретаршу, точно хотел сказать: «Для дельного человека время у всякого найдется».

Черепанов приехал через час. За это время Рыжков, сидя на крылечке, выкурив целый кисет махорки.

— Что у тебя приключилось? — спросил Черепанов, привязывая лошадь к перилам.

— Паршивое дело, Мирон Устиныч.

— Ну, пойдем поговорим.

В кабинете Черепанова Рыжков, едва успев притворить за собой дверь, сразу бухнул:

— Потатоев с умыслом вредил. Обманул он нас на Пролетарке. Помимо россыпи, шахту забил, а главное — золото в стороне осталось.

Лицо у Черепанова стало точно каменное. Отвердели и взгляд, глубже залегли морщины на лбу и по сторонам рта. В голосе Рыжкова чувствовалось волнение.

— «Вы, говорит, со своей дурацкой канавой мимо прошли». Так и сказал — «с дурацкой». А ведь сам ставил на работу-то...

Черепанов жестко усмехнулся:

— Все-таки проморгали мы!! Как это он открылся тебе?

— Из-за Быкова. Быкова ведь я поймал сегодня в забое, хотел он меня в распыл пустить. Патрон у него динамитный был. Только не успел он.

Черепанов слушал, весь подавшись вперед.

— А что у тебя с Быковым?

— С тем ничего не было. Потатуев его подослал, чтобы я не донес насчет золота. — Рыжков увидел удивление, промелькнувшее в лице Черепанова, и заговорил, заливаясь багровой краской смущения:

— Золото он скупал всегда. И в старое время, и в двадцать четвертом году, и здесь... — Сразу охрипнув, Рыжков сообщил: — Я ему сам перепродал в двадцать шестом году восемьдесят золотников! Много он, наверно, напратал. А я все молчал... Думал, не по-таежному, мол, это, стуком-то заниматься. Я и насчет Забродина еще утаил: убийство за ним со старого времени числится. По больному месту тебя быю, прости, Мирон Устиныч. У самого душа горит. Когда я сюда шел, догонял ведь меня Быков, с ножом кинулся. Схватил я каменюгу. «Ну, говорю, подходи, мокро от тебя останется». Обробел он, отстал.

— Сейчас я позвоню в ГПУ, — сказал Черепанов, протягивая руку к телефону. — Расскажешь все там. Я сообщу, что ты придешь.

— погоди, Мирон Устиныч. — Рыжков положил руку на локоть Черепанова и спросил: — Здорово мне отольется за те золотники?

— За которые?

— Ну, что я продал Потатуеву в двадцать шестом году?

— А после было такое дело? Нет? — Черепанов задумался, потом сказал: — Дело прошлое, что о нем толковать! Уполномоченному скажешь, а больше можешь никому не говорить, чтобы зря не болтали.

Черепанов посмотрел на повеселевшее лицо Рыжкова и снял с аппарата телефонную трубку.

Когда Быков вернулся, Потатуев все еще сидел под кустом, апатичный и вялый. Он молча вскинул на Быкова тускловатый взгляд. Быков криво усмехнулся, кинул на землю нож. Нож перевернулся в воздухе,

воткнулся в мягкий дерн. Глядя, как вздрагивала его резная, из мамонтовой кости, рукоятка, Быков сказал:

— Ушел.

— Куда?

— Туда ушел... на стан.

Потатугев тяжело вздохнул, взял нож и, вытерев его рукавом, всунул в ножны. Голос у него был глуховат, но спокоен:

— Заберут нас сейчас.

— Меня не возьмут. Я уйду, — заявил Быков.

— Никуда ты не уйдешь, дурья голова. Везде найдут. — Глаза Потатугева оживились, но тут же потухли, и он сказал: — Э-эх ты-ы, балда деревенская!

Потатугев встал и пошел по тропинке к прииску.

— Куда вы, Петр Петрович? — спросил беспокойно метнувшийся к нему Быков.

— Домой.

Быков, пришибленный странным спокойствием Потатугева, тоскливо посмотрел ему вслед, потом круто повернулся и пошел в другую сторону.

А Потатугев, придя домой, лег на кровать, не снимая пыльных сапог, и с полчаса лежал неподвижно и ждал. Но за ним не шли. И вдруг страшное волнение овладело им, сбросив его с кровати. Нужно было действовать, и он в тревоге заметался по комнате. Теперь каждый шум извне заставлял его вздрагивать. Громко разговаривая, под окнами проходили люди, проехало несколько верховых. Так же проходили и проезжали вчера, но сегодня в обычной жизни прииска была враждебность. Еще проехали конные. Прошуршала легковая машина.

Потатугев с лихорадочной поспешностью рылся в чемоданах, ломая ногти, открывал непослушные замки, отыскал какие-то письма и, пока они горели на полу, рассовывал по карманам паспорт, пачки денег, служебные документы. Губы его были сжаты, усы встопорщились, глаза безумно сверкали. Толкнув ногой чемодан, он отшвырнул половичок, открыл подполье... Он пробыл там не больше десяти минут, но когда вылез, ли-

цо его посерело, руки оказались в земле, и он заметно потолстел в поясе. Одернув рубаху, он надел и застегнул плащ и быстро вышел из дому.

Было солнечное тихое утро. В теплом прозрачном воздухе стоял запах осени, запах умирающей травы и тлеющих листьев. Шумный прииск оставался позади. Потатуев поднимался на перевал к Лебединому. Он брел по кустам, сам не зная куда. Нужно было скрыться, но он знал: скрыться невозможно. Никого бы не видеть и не слышать. Но что он будет делать в тайге один?

Тайга готовилась к зимнему сну. Голые ветки кустарника цеплялись за ноги Потатуева, за полы его плаща. Во всем чуялась ему смертная грусть. Вот бурндук, блестя на солнце шелковистой полосатой шкуркой, выскочил из норы. Скоро и он ляжет в свое подземное гнездо и уснет до весны...

— Счастливый ты, сволочь этакая! — прошептал Потатуев, взглянув на веселого зверька. — Лечь бы вот так же в берлоге и заснуть до лучших времен. Господи боже мой! — Потатуев взглянул в голубое печально-задумчивое небо и яростно погрозил кулаком невидимому врагу.

С перевала он спустился в долину, пересек шоссе и по тропинке направился к фабрике. Несколько минут он простоял возле работающей чаши. В погромыивании кружащихся бегунов, в скрежете растираемого ими камня ему послышалось: «Уходи, уходи! Беги, беги!»

— Куда бежать? — спросил он тоскливо.

«Куда-нибудь! Куда-нибудь!» — грохотали бегуны, и мутно-желтая вода с плеском вскипала под их серыми боками.

Веселые работницы начали шутливо задирать Потатуева. Невольно завидую их беззаботным улыбкам, он невпопад отшутился и пошел вон. Около фабрики он столкнулся с большеголовым рудничным запальщиком. Лицо запальщика было помятое, красноватые веки набрякли.

— Пьешь? — спросил Потатуев.

— Пью, — меланхолично отозвался запальщик.

Может, одолжите на похмелку? Сегодня я на работе, сегодня трезвый, а голова гудит еще с выходного...

— Палил? — спросил Потатуев, кивая на сумку, висевшую у бедра запальщика.

— Девять шпуров забил, — гордо сказал запальщик.

Потатуев помолчал, что-то соображая.

— Капсюли есть у тебя? — спросил он негромко.

— Имеются.

— Дай мне один.

Запальщик отступил на шаг, несколько удивленный, сморщил бабковатый нос и сказал с важностью:

— По инструкции не полагается передавать шнур и взрывчатые вещества в другие руки.

— Ты же знаешь меня, чудак? — просительно сказал Потатуев.

— Это точно, Петр Петрович, но в случае чего отвечать придется.

— Не бойся. Жилку я одну нашел на перевале... — голос у Потатуева осекся. — Хочу подорвать и посмотреть.

Запальщик в нерешительности переминался.

— Разве что жилка. Только у меня заделанных не осталось...

— Ну, давай, давай, — торопил его Потатуев.

Запальщик вытащил из другой сумки небольшой сверток в толстой бумаге, передал Потатуеву капсюль, вытянул из кармана метровый шнур и боязливо оглянулся.

— Весь шнур мне не надо, — сказал Потатуев, отрезая небольшой кусок, и пошел в гору, где находилась штольня рудника.

Запальщик смотрел вслед Потатуеву. Сначала ему показалось, что Потатуев пошел к штольне, и он тоже метнулся было туда.

«Черт его знает, что у него на уме! Какой-то он смутный сегодня».

Но Потатуев круто свернул в сторону верховой сопки, и запальщик успокоился. «Видно, вправду жил-

ку ищет. Короткий шнур взял. Не успеет отбежать, — подумал он тревожно. — Ну, да пес с ним! Старый горняк, опытный. Сам знает, что нужно».

А Потатуев поднялся на гору, сел на рыжую вялую траву и стал смотреть вниз.

Ветер шарил по кустам, шелестел сухими метелками горного вейника. Острый запах поднимался от узких листиков свиного багульника, росшего по склону. Отщипнув веточку, Потатуев задумчиво пожевал ее. Черная коринка повисла на его отвисшей губе. Он наблюдал.

Внизу, среди кустов можжевельника и редких пней, раскатились бревна разрушенного старателями барака. Выше по ключу чернел пустотой оконных проемов другой брошенный барак, приземистый, с провалившейся кровлей, заросшей бурьяном. Новый поселок лепился большими домами на дальнем склоне горы. Свежие тесовые крыши казались золотыми под лучами солнца. Ярко блестели, горели, отсвечивая, широкие стекла окон. Строятся и строятся. И народ... везде народ. Только-только плотник вобьет последний гвоздь, печник закончит и протопит печи, еще сыровато, еще пахнет деревом, глиной, краской, а жильцы уже тут как тут. Идут с цветами, сундучками, ребятишками. Шумно, весело. Котенок уже играет оставшейся у порога стружкой. Всем весело...

Потатуев крепко выругался: «Старатели! И как все перевернулось на свете! Не думал, не гадал, что на старости лет буду бирюком рыскать по лесу».

Он вдруг вспомнил, как, будучи мальчишкой, продал отцовские золотые часы, а потом четыре дня прятался на чердаке. Сын кучера, тоже Петька, приносил ему хлеб и яблоки. Потатуев вздохнул.

«От своего человека укрывался, — подумал он, и лицо его сморщилось. — Гордость свою укреплял — отцу родному не хотел покориться. Каково же теперь всякую тварь обходить и жаловать! Нет в жизни ни смысла, ни радости!»

Потатуев понурился, потом быстро вскинул голову и посмотрел вниз. По шоссе в долину спускалась легковая открытая машина. Рядом с шофером сидел чело-

век в сером плаще и зеленоватой фуражке. Второй, в такой же одежде, сидел сзади.

У Потатueva пересохло во рту. Он пошевелил губами и медленно поднялся: прячась меж кустов, пошел по горе, следя за машиной. Она остановилась у конторы. Люди вышли из нее и надолго исчезли. Проходил и проезжал народ. Потатув снова сел, положил подбородок на кулаки и притих. Горечь бессильной ненависти наполняла его. Он молчал, но мысленно посылал самые страшные проклятия всему, что окружало его в последние годы.

Голоса приближающихся людей заставили его приподняться. Те, в защитном, неторопливо поднимались в гору к штольне. Впереди них шагал коротконогий запальщик. Потатув посмотрел на них и обессиленно закрыл глаза. Он понял, что все время еще надеялся на что-то. А теперь стало ясно — его искали.

«Собаку надо было захватить!» — злобно, издеваясь над собой за свою смутную надежду, прошептал он, быстрым движением расстегнул ремень, придержал подбородком подол рубахи, развязал и снял широкий тяжелый пояс. Минуту в каком-то забытии глядел он на него, потом достал нож и вспорол тугую кожу пояса. С шелестом потекло из него золото. Сыпалось на колени Потатueva, приминало траву, на которой он сидел. Золото! Последнее золото! Потатув зачерпнул его горстью и метнул в сторону. Он расшвырял все, затоптал в землю и, пригибаясь в кустах, пошел по нагорью. У ельника в лощинке он остановился: хрупнуло что-то под ногой, посмотрел — целый мост поздних ядреных груздей! Потатув отодрал моховую пластину, сунул под нее пустой пояс. Грузди сидели дружными, веселыми семьями. «Такие вот соленые к водке хороши», — почти успокоенно подумал Потатув и вынул из кармана динамит. Он зажал зубами шнур в капсюле, неторопливо отвернул промасленную бумагу на патроне. Капсюль легко вошел в мягкий, как сырая глина, динамит. Потатув положил заделанный патрон под фуражку, поджег короткий шнур и сел на пенек.

«Один сантиметр в секунду, — подумал он, приступившая к легкому шороху внутри шнура. — Один

сантиметр... Всей жизни осталось тридцать секунд... Некого пожалеть, не о ком вспомнить». Ему хотелось подумать о чем-нибудь важном, но в голове путались только мелкие обрывки мыслей. Шорох слышался уже у самого уха. «Скорость горения бикфордова шнура равна одному сантиметру в секунду...» — совершенно точно вспомнил он фразу из учебника.

Люди в защитной одежде поднялись наверх. Запальщик остановился и показал по направлению к верховой сопке.

— Туда он ушел!..

Запальщик хотел сказать еще что-то, но в это время ниже, в ложине, гулко раздался взрыв. Все трое вздрогнули и прислушались. В ельниках глухо шумел ветер.

— Он это, — уверенно сказал запальщик. — Жилку свою подорвал!

1937—1940

О Г Л А В Л Е Н И Е

Часть первая	3
Часть вторая	143

Редактор В. Солнцева

Переплет и титул
художника И. Литвишко

Гравюры на дереве
художника В. Ростовцева

Худож. редактор И. Царевич

Техн. редактор С. Симонов

Корректоры Е. Краснюк
и В. Картали

А00980. Сдано в набор 18/IX 1952 г.
Подп. к печати 18/XI 1952 г. Бум.
л. 4,81=печ. л. 15,78. Авт. л. 14,36.
Уч.-изд. л. 14,56. Форм. бумаги
84×108^{1/2}. Зак. 1516. Тир. 30 000 экз.
Цена 5 р. 35 к. по прейскуранту 1952 г.

Тип. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

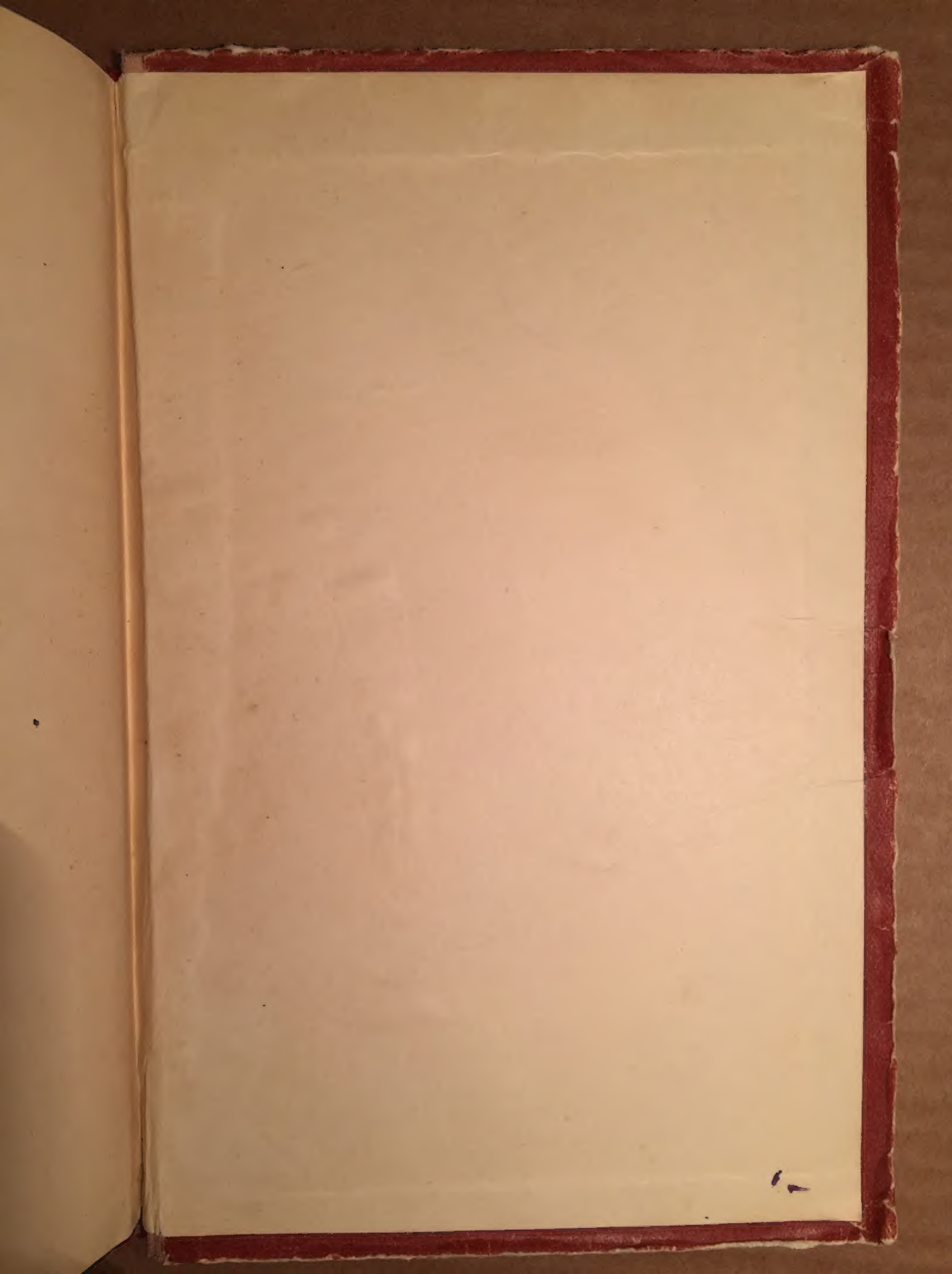
Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 10, издательство «Советский писатель».

дать отзыв как
оформлении ее,
ессию и возраст.
ельство просит
у и сбор чита-

дресу: Москва,
издательство



5p.35к.

